

ИНКВИЗИЦИЯ

Хоффман Никерсон

The Inquisition:

A Political and Military Study of its Establishment.

by

Hoffman Nickerson

The cover image was created by the transcriber and
is placed in the public domain.

The Project Gutenberg eBook of The Inquisition.

Эта электронная книга может быть использована любым человеком в США и большинстве других стран мира бесплатно и практически без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законодательством страны, в которой вы находитесь.

Название: The Inquisition

Политическое и военное исследование ее создания

Автор: Хоффман Никерсон

Автор введения и т.д.: Хилер Беллок

Дата выхода: 16 марта 2023 года [eBook #70304]

Язык: Английский

Оригинальное издание: United Kingdom: John Bale, Sons & Danielsson, Ltd, 1923

Кредиты: Бобу Тейлору, Тиму Линделлу и команде онлайн-распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных Интернет-архивом/канадскими библиотеками).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE INQUISITION ***

ИНКВИЗИЦИЯ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ВОЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ СОЗДАНИЯ

ХОФФМАН НИКЕРСОН

С предисловием Хилаира Беллока

JOHN BALE, SONS & DANIELSSON, LTD.
83-91, ВЕЛИКАЯ ТИТЧФИЛД-СТРИТ
ЛОНДОН, W. 1.

СДЕЛАНО И НАПЕЧАТАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТРАНИЦА
Посвятительное письмо	iii
Предисловие г-на Илера Беллока	v

Глава I. -Восстановление цивилизации в эпоху Медиеваля	1
" II. -Лангедок и альбигойцы	28
" III. -Предварительная подготовка крестового похода	70
" IV. -Альбигойский крестовый поход - начало войны	106
" V. -Альбигойский крестовый поход - Мурет и его продолжение	145
" VI. -Мендикантские ордена и инквизиция	191
" VII. -Эпилог о запрете	220
Библиография	253

Две карты в кармашке в конце книги.

(1) Лангедок и прилегающие земли в 1209 году.

(2) (a) Город Мюре, 1213 г.; (b) Битва при Мюре, 11 сентября, 1213 года, 1 этап; (c) Битва при Мюре, 2 этап; (d) Битва при Мурете, 3-й этап; и (e) Примерное восстановление Тулузы в 1217-1218 гг. для иллюстрации ее осады де Монфором.

ПОСВЯЩЕНИЕ.

Р. К. Н.

Моя дорогая.

Эта книга по праву принадлежит вам за вашу неизменную помощь и поддержку. Посвящая ее, я лишь вношу плату по счету.

Она была начата во время работы в законодательном собрании штата Нью-Йорк, когда я терпел лоббистов запрета и искал что-нибудь, что могло бы послужить историческим прецедентом в деле религиозно-политического угнетения в столь широких масштабах.

Вскоре я обнаружил, что традиционное христианство больше подходит для инквизиторов, чем для запретителей, так что параллель с запретом была вынесена в эпилог.

Я благодарен многим общим друзьям. Среди них - месье Жозеф Пу, архивариус департамента Ауде; отец Астрюк, куратор церкви Святого Винсента в Каркассоне; отец Виллемань, куратор Кастельно; профессор Жозеф Англад из Тулузского университета; месье Галаберд, архивариус и библиотекарь города Тулузы, и месье Жюль Шаланд, также из Тулузы и из Археологического общества Средней Франции. Для ученого человека Франция - это своего рода рай, поскольку местные ученые принимают вас с энтузиазмом и выкладываются по полной, чтобы продвинуть вашу работу.

Наш добрый друг Беллок, мастер тех, кто хотел бы прославить Средневековье на английском языке, помимо любезного предисловия, с удовольствием прочитал рукопись и сделал несколько полезных предложений.

Наконец, хотя здесь и избегались все богословские дискуссии, все же я уверен, что вы предпочли бы, чтобы я был откровенен со своими читателями и сообщил им, что по рождению я епископальный, как мы называем англикан в Америке, а по выбору - член так называемой англо-католической партии в этом сообществе.

Хоффман Никерсон.

*34, West 54 Street,
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
Январь, 1923.*

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Почти вся историческая работа, которую стоит делать в настоящее время на английском языке, - это работа по разгребанию куч мусора, унаследованного от ближайшего прошлого.

История Европы и мира страдала, пока речь шла об английской литературе, от двух жизненно важных недостатков, возникших в конце восемнадцатого века и продолжавшихся до конца девятнадцатого, когда началась здоровая реакция.

Во-первых, она не была основательной.

Во-вторых, она слепо следовала континентальной антикатолической традиции и особенно немецкой антикатолической традиции.

То, что историк не должен быть скрупулезным, что он должен портить свою работу, - это очевидный недостаток. Мы страдали от этого в Англии, особенно два наших старых университета - Оксфордский и Кембриджский, которые не ставили перед собой задачу быть местами обучения, а были социальными и аристократическими институтами.

Но второй недостаток был еще хуже. История может быть обрывочной и поверхностной, но в целом правильной; но если вся ее направленность искажена неверной оценкой прошлого,

то, какой бы подробной и насыщенной ни была исследовательская работа, она хуже, чем бесполезна; она вредна, и лучше бы ее вообще не писали.

Эти предварительные замечания относятся к истории Европы в целом и особенно к истории Европы между огрублением основополагающей римской административной системы в пятом веке и подъемом современной культуры в семнадцатом.

Они не применимы к поздней локальной истории. Поздняя (после 1600 года) местная история *была* сделана очень хорошо. История самой Англии, если иметь в виду только ту Англию, которая возникла в результате завершившейся Реформации века (еще больше местная история Соединенных Штатов), была подробной и точной. Что важнее точности в деталях, так это соответствие духу описываемой вещи. Писатели по обе стороны Атлантики, но особенно по американскую сторону, понимали материал, с которым имели дело. Здесь, в Англии (где я пишу это предисловие), работа по *поздней* истории также была национальной и хорошо сделанной, хотя и страдала от небольшого недостатка в том, что первоначальная католическая Англия (которая была как чужая страна для писателей, о которых идет речь) оставалась в качестве уменьшающегося меньшинства по крайней мере до 1715 года и несколько нарушала картину; так что наши современные английские историки никогда не чувствуют себя по-настоящему дома, пока не доберутся до Ганноверской династии. До этого им приходится иметь дело с остатками энергичного католического духа, и они озадачены и сбиты с толку этим, так что это портит их выводы. Вот почему они не могут писать о поздних Стюартах, и особенно о Якове II, с должным чувством меры. Они не могут представить себе, насколько сильной и даже распространенной была поддержка национальной династии, потому что эта поддержка была смешана с (для них и в наше время) совершенно чуждой католической идеей.

Я говорю, что главная задача историка, пишущего на английском языке, - разгребать мусор; и это особенно верно в отношении мусора, который накопился за период Темного и раннего Средневековья (500-1000 гг. н.э.; 1000-1500 гг. н.э.).

С самого начала дела популярная история была искажена духом насмешки (творение Вольтера, распространенное на английском языке учеником Вольтера Гиббоном) над становлением христианства и той грандиозной историей определения за определением, собора за собором, из которой в конце концов возникло полное христианское вероучение. Решающие конфликты Никеи и Халкидона были превращены в глупую шутку, а поколения мальчиков и юношей были приучены считать самые глубокие вопросы, когда-либо разрешенные человеческим разумом, словесной чепухой и непонятной глупостью.

Далее постепенное превращение нашей католической цивилизации из величественного порядка языческого происхождения в великолепную весну двенадцатого века было представлено с невероятной недостаточностью как завоевание Запада варварами-германцами, которые, хотя и были варварами, обладали неизвестно каким запасом силы и добродетели. Институты, которые, как мы теперь знаем, имеют римское происхождение, были благочестиво отнесены к этим голодающим пустошам Балтики и центрально-европейским диким местам. Их жители были наделены всеми хорошими качествами. Все, чем мы гордились в своем наследии, относили к пустой дикости внешних земель, не считаясь с мучительными гипотезами и смелыми изобретениями. Этому искажению истины потворствовали потому, что северная часть Европы представляла собой (в XIX веке, когда эта ложная "тевтонская" школа имела наибольшую популярность) успешную оппозицию остальному христианству и раскол в теле цивилизованных людей.

Но худшей из всех ошибок, хуже даже, чем поверхностная глупость традиции Гиббона в нашем отношении к великим христианским основам, и хуже, чем тевтонская бессмыслица, было непонимание тех четырех великих веков, в которые наша раса достигла вершины своего счастья и стабильной культуры - двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого. И самый великий из них, тринадцатый, был особенно проигнорирован.

Люди действительно (отчасти потому, что это позволяло им "перевернуть" положение истинной истории, уступив, отчасти из-за неизбежного эффекта роста исторических знаний) оказывали в Англии в конце девятнадцатого века похвальную службу величию истинного Средневековья. В ранний период Рёскин являет собой яркий пример писателя, который, нисколько не понимая, какими были Средние века, ненавидя и не зная веры, которая была самой их душой, не мог оставаться слепым к яркому внешнему эффекту их выражения. Даже Карлайл, куда более невежественный, чем Рёскин, и куда более играющий на галерке, не смог полностью избежать сильного дуновения реальности, которое веяло от тех времен.

Но эти уступки, эти частичные признания лишь углубили слепоту таких историков и их читателей в отношении формирования и кульминации нашей расы; в отношении Темных и Средних веков история, написанная на английском языке, была искажена до неузнаваемости.

Затем наступила реакция на историческую правду: она уже далеко продвинулась, и книга, к которой я имею честь написать предисловие, является ярким примером этого прогресса.

"История" (сказал великий Мишле в фразе, которую я не устаю повторять) "должна быть воскрешением плоти". Что нужно для настоящей истории - это ни в коем случае не согласие с философией того времени, которое вы описываете (вы можете быть полностью против этой философии), но, по крайней мере, полное ее понимание и понимание того, что те, кто творил человеческие дела, были людьми, в основе своей такими же, как мы сами. Человечество ничем принципиально не отличалось от начала записанного или, более того, геологического времени. Человек как человек (единственное, что касается истории, или, более того, морали и философии человечества) был тем же самым с тех пор, как впервые появился на земле в полном развитии. Но в случае с Западной Европой в Средние века дело обстоит куда более интимно. Мы имеем дело с людьми, которые принадлежат не только к нашему роду, но и к нашей семье; полностью нашей крови, наших собственных отцов, нашей собственной семьи. Более того, этими предками мы должны гордиться больше всего. Ведь никогда наша раса не работала лучше и тщательнее, никогда она не была более верна себе, чем в годы между Первым крестовым походом и последствиями Черной смерти: 1100-1350. Эти три долгих периода стали самой вершиной европейской истории.

Теперь я говорю, что для правильного рассмотрения этого дела вовсе не обязательно соглашаться с философией этих людей, то есть с их религией. Не обязательно соглашаться с деталями их поступков, например, с их жестокостью, с одной стороны, или с их яростным чувством чести, с другой. Мы можем быть более низкими, или более разумными, или более мягкими, или более вялыми, чем они, и при этом оставаться их истинными историками. Но что необходимо иметь, если хочешь быть историком вообще, а не просто популярным писателем, повторяющим то, что хочет услышать публика "бестселлеров", - это знание духа наших предков *изнутри*.

А это можно получить только одним способом - точными, подробными, конкретными записями. Выясните, *что* произошло, и расскажите об этом. Пропорции, конечно, важны; , но для честного человека пропорции придут сами собой при достаточном чтении, и только

нечестный человек после достаточного чтения исказит пропорции и сделает краткое изложение, выделив особые моменты.

Проблема в том, что в прошлом этот период рассматривался без тщательного исследования. Было много претензий к таким исследованиям, но большинство из них были шарлатанскими.

Позвольте мне привести конкретный пример:

Огромный том Фримена о Нормандском завоевании долгое время считался серьезной классикой. Он притворялся, что читал то, чего не читал. Он притворялся, что изучал то, что не изучал. Он писал то, что, как он знал, будет продаваться, потому что это было созвучно тому, что было популярно в то время. Он слепо нападал на универсальную католическую религию той эпохи, с которой имел дело, потому что ненавидел эту религию. Но ученым он не был и не пытался им быть; однако ученым он притворялся и на мнимой учености основывал свое ложное представление. Я приведу три примера.

Он называет битву при Гастингсе "Сенлаком". Он нашел этот термин не там, где притворяется, - у Ордерика Виталиса, а у Лингарда, который первым совершил эту ошибку. Лингард был той великой каменоломней, из которой поколение донов Фримена вычерпывало свою историю, никогда не признавая ее источник. "Сенлак" не мог быть саксонским географическим названием, но Фримен так мало понимал в том времени и был так невежественен в гениальности языка, что принял его за англосаксонское. Возможно, ему казалось, что он каким-то смутным образом восстанавливает "тевтонское" название; более "тевтонское", чем сам Гастингс!

К этому религиозному мотиву, несомненно, добавился мотив новизны и желания покрасоваться. Как первоначально назывался хребет Бэтл у жителей этого места до норманнского вторжения, мы не можем сказать. Возможно, это был "Сэндлег" (что вполне соответствовало бы Сассексу), или "Сенхангер", что тоже похоже на Сассекс, или что-то, оканчивающееся на кельтское и латинское "озеро". Но "Сенлак" - это точно не могло быть; и то, что Фримен претендовал на ученость в подобном вопросе, проклинает его.

Второй момент гораздо более поразителен и может быть проверен каждым, кто посетит места, упомянутые в пяти основных современных источниках. Он желает уменьшить число участников битвы; отчасти из глупого предубеждения против всего, что написано монахом, отчасти из желания принизить действия раннего Средневековья и всей его цивилизации, отчасти (в основном, возможно) из желания быть новатором. Он выдумывает оценки из головы, сильно преуменьшая реально задействованные силы.

Мы располагаем современными свидетельствами, которые позволяют говорить о более чем 50 000 человек со стороны герцога Вильгельма и о чем-то подобном со стороны Гарольда. Это доказывают не только свидетельства тех, кто видел, как собирались войска Вильгельма, и кто, должно быть, занимался составлением списков с нормандской стороны, например, секретаря герцога Вильгельма из Жюмьежа, но и топографические данные. Певенси, гавань, в которой пришвартовался великий норманнский флот из 3 000 судов, представляла собой огромное водное пространство, сравнимое с современным Портсмутом; его границы до сих пор можно достаточно точно очертить по контуру нынешнего болота. Оборонительная позиция, которую занимало в Гастингсе командование Гарольда, имеет длину чуть меньше мили и является одной из самых четко определенных позиций в Европе, абсолютно безошибочной. Фримен, не имеющий никакого представления о военной истории, считает, что эту линию длиной в милю (удерживаемую людьми, тесно сцепленными между собой и стоящими в плотном строю, способном выдержать ураганные кавалерийские атаки в

течение девяти часов) удерживала горстка людей! Это дичайший бред, и все же он стал историей для целого поколения.

И наконец, как пример предвзятости и шарлатанства вместе взятых, приводится уверенное заявление о том, что папа Сильвестр передал герцогу Вильгельму буллу в поддержку вторжения. Здесь у Фримена, по крайней мере, хватило благородства не давать фиктивную ссылку в сноске, поскольку она совершенно ложная. Если бы Фримен взял на себя труд или имел науку поискать булларий или даже письма и документы Сильвестра в Migne, он мог бы быть избавлен от презрения всех компетентных критиков. Как бы то ни было, он предпочел легендарную чепуху в популярном стихотворении точной истории.

Мотив, по которому Фримен придумал эту "Быль", был мотивом его места, времени и поколения: ненависть к католической церкви, то есть к религии людей, с которыми он имел дело, и желание удовлетворить вражду своих викторианских читателей к папству.

В противовес подобной чепухе, бессистемной, непроверенной и выдуманной истории, обратите внимание на восхитительное описание битвы при Мурете, которое вы прочтете на следующих страницах.

Здесь присутствует реальное знание местности и, что еще важнее, *тщательная оценка времени и движения*. Я не знаю ничего лучшего в реконструкции средневекового сражения, чем это первоклассное сведение воедино доказательств здравого смысла по фланговому внезапному удару Симона де Монфора по дивизии противника Фуа при Мурете. Это неразрывная цепь расчетов и в то же время полное объяснение того, что произошло. Эта работа, представленная читателю в пятой главе тома, настолько хороша, насколько это вообще возможно, и является прекрасным представителем той новой, современной, точной работы, которая сейчас избавляет нас от пустого хлама, обременявшего историю на протяжении последних двух поколений. Это способ реконструировать средневековую битву в отсутствие подробных свидетельств, чтобы увидеть движения такими, какими они были на самом деле.

Я сделал акцент на этом конкретном разделе книги в качестве контраста с недостаточностью такого типичного имени, как Фримен. Пожалуй, лучше обратиться к книге в целом, а затем к некоторым другим конкретным моментам, которые меня поразили.

Исследование мистера Никерсона в основном посвящено объяснению природы ранней инквизиции; кстати, он дает нам очень четкое представление об Альбигенской войне, и что особенно примечательно в ясности его взгляда, так это расположение эпизодов. Я отмечаю, что автор сделал то, что имеет первостепенное значение во всех военных хрониках, а именно: разделение эпизодов *не* по равным временным мерам, а по их отдельным военным характеристикам.

Этот принцип слишком часто забывают даже профессиональные военные историки. Война может длиться двадцать лет, или пятьдесят, или один. Она может случайно разделиться на два или три достаточно равных по продолжительности эпизода или по стечению обстоятельств попасть в эпизоды, более или менее соответствующие последовательной череде лет (например, кампании Мальборо во Фландрии в начале XVIII века). Но гораздо большая часть военной истории связана с эпизодами, не имеющими отношения к таким более или менее равным временным отрезкам. Общее правило заключается в том, что три или четыре последовательные фазы кампании (или сражения) занимают самые несопоставимые отрезки времени. Правильный способ обращения с *военной* историей - это

придание капитальным эпизодам их относительной *военной* важности, а не, как в случае с гражданской хроникой, взвешивание этой важности по затраченному времени.

Например, никто не может прочесть ясный отчет, каким бы коротким он ни был, о великой европейской войне, не видя в ней осады; поэтому она, как и всякая осада (не поднятая и не переросшая в блокаду), в основном делится на три эпизода: а) предварительные действия.

(а) Прелиминары сдерживания, то есть война движения до установления осадных условий.

(b) Сама осада.

(c) Штурм осадной линии и крах осажденных.

Если мы разделим Великую войну на *годы* - 14, 1915, 1916, 1917, 1918, - то получится, что мы не знаем, что делать. Если мы разделим ее на главы более или менее равной продолжительности, то получим запутанную, бессмысленную картину, подобную той, которую дают нам почти все опубликованные популярные истории этого великого события. Как бы ни удавалось этим историям угодить каждой своей национальной аудитории, они проваливаются как истории, потому что считают, что месяц войны должен быть в тридцать раз важнее дня, и о нем нужно рассказывать в тридцать раз больше. Как только мы делим Великую войну по ее *военному* значению, схема становится понятной и ясной. У вас есть три раздела, из которых можно составить, если хотите, три тома или три главы. Первая - абсурдно короткая по сравнению с длиной всей книги. Он серьезно начинается с великого потрясения 20 и 21 августа 1914 года в Лотарингии и Фландрии и заканчивается, когда немцы легли на землю менее чем через месяц на Эсне. С этого момента война стала осадой.

Далее вы получаете вторую дивизию, завершение осадных линий на западе до моря (которая закончилась до середины ноября, еще два месяца), а затем целых три с половиной года усилий со стороны осажденных, чтобы прорваться большими вылазками, и со стороны осаждающих, чтобы сломить оборону осажденных.

По продолжительности этот эпизод является огромным и включает в себя все наиболее известные истории войны. Он длится более сорока четырех месяцев и включает в себя крах России, первые вылазки осажденной Пруссии через Польшу, огромные усилия союзников по прорыву осадных линий противника в Шампани, на Сомме и во Фландрии, на плато Азиаго и на ужасном плато Карсо перед Триестом. Он видит провал атаки на осадные стены на мысе Дарданеллы и даже в далекой Месопотамии, а также на Балканах. Он видит дальнейшие великие вылазки, особенно яростную борьбу осажденных в конце, чтобы вырваться из сети: Капоретто, Сен-Кантен, Шемин-де-Дам. Второй дивизион заканчивается 15 июля 1918 года, когда последняя попытка осажденных вырваться была предпринята против Гуро и разбита им перед Реймсом. 18 июля 1918 года, три дня спустя, начинается третья дивизия, которая длится ровно четыре месяца, вплоть до перемирия 11 ноября. Это не что иное, как последовательное разрушение обороны, крушение осадной стены и крах осажденных.

Посмотрите на Великую войну с этих позиций, и вы увидите ее такой, какой она была. Попробуйте написать о ней по годам, и вы получите лишь туман.

Теперь мистер Никерсон сделал именно то, что нужно для Альбигойской войны. Он четко разделяет борьбу на *военные* эпизоды; первый великий порыв; долгую борьбу де Монфора; любопытный, но неизбежный плод всего этого дела после смерти де Монфора - отпадение Юга к короне Франции, то есть к Северу.

В этой связи нельзя не похвалить простую и ясную манеру, в которой автор представил читателю реальную природу средневековых войн. Есть два момента, в которых, как мне кажется, он добился неизменного успеха. Во-первых, читатель должен понять, насколько узкими были временные рамки, в которые тогда упиралась любая эффективная масштабная работа мощной армии. Во-вторых, контраст между феодальными силами, которые были как бы нормальными для того времени, и теми дополнительными наемными силами, которые, хотя и не считались в то время нормальными, были реальной основой всех непрерывных военных усилий на Западе. Эту идею можно развить во многих эпохах военной истории, помимо Средневековья. Снова и снова определенная форма набора считается нормальной и после использования в течение нескольких поколений начинает по причинам, присущим ей самой, давать недостаточные результаты; тогда дополнительная форма набора, которая долгое время продолжает считаться исключительной, становится, как может обнаружить внимательный наблюдатель, основой новой боевой силы, например, вспомогательные войска и легионы после, скажем, 180 года, и особенно после 312 года.

Кстати, одним из преимуществ англичан в позднее Средневековье было то, что трудности с транспортировкой крупных феодальных войск по морю привели к раннему развитию наемных войск и появлению высококвалифицированных профессиональных стрелков из лука, ставших знаком Столетней войны.

Мистер Никерсон также прав, говоря о том, насколько значительной была степень военной организации в начале XIII века.

Слишком часто в военной истории все, что раньше семнадцатого века или середины шестнадцатого, рассматривается ненаучно писателем, который, кажется, воображает, что если он заберется достаточно далеко назад, то сможет рассматривать армии как стада, движущиеся наугад. Истина, конечно, заключается в том, что ни одно большое тело людей никогда не двигалось и не могло двигаться без высокой степени организации, и что, когда вы имеете дело с *быстрым движением* очень большого тела, организация должна быть почти такой же детальной, как сегодня. Существует определенный минимум организации, ниже которого нельзя опуститься, не разрушив его, когда речь идет о быстром движении больших тел; и этот минимум настолько высок, что не очень сильно варьируется между самыми первыми эпохами записанной истории и самыми последними.

Следующий момент, на который я должен обратить внимание, - это представление мистером Никерсоном инквизиции как *идеи* и контраста между ее *методами* и методами современности. Поставленная задача - самая трудная из всех, стоящих перед историком; но она же и самая важная. Неправильный способ работы с далеким прошлым, когда оно представляет действия или состояния ума, совершенно незнакомые и даже отталкивающие нас, - это выразить ужас или насмешку и оставить все как есть. Так, мистер Дэвис в своем типичном оксфордском учебнике по Анжуйскому периоду насмехается над резней в Безье как над "благочестивой резней"; так, другой типичный оксфордский учебник, мистера Омана, посвященный более раннему периоду, насмехается над благочестием Гильдаса; и так, у нас есть еще один учебник - на этот раз из Кембриджа, в котором профессор истории Региус, доктор Бьюри, насмехается над видением собора Святого Патрика как результата "свиного ужина".

Такой способ написания истории, который, к моему сожалению, все еще распространен в наших английских университетах, ничего не стоит. Ваше дело писать о прошлом - сделать его понятным. Более того: вы должны, как я уже цитировал в начале этой статьи, заставить его восстать из мертвых; а это, конечно, невозможно, если вы настолько мало способны

проникнуться его духом, что все, что в нем отличается от вас, кажется вам незначительным, отталкивающим или абсурдным. Любой человек, каким бы невежественным он ни был, может обнаружить отталкивающее и абсурдное в стандартах, отличных от его собственных; и все его обучение, каким бы подробным оно ни было, проходит впустую, если он не идет дальше этого. Все искусство истории состоит в том, чтобы устранить этот шок непонимания и заставить читателя почувствовать то, что чувствовали люди прошлого.

У нас есть очень хороший пример той же трудности в случае с книгами о путешествиях. Все мы знаем, как невыносимо скучна книга о путешествиях, в которой писатель не может продвинуться дальше порицания или смеха над иностранцами, и все мы знаем, как очаровательна книга о путешествиях, когда она объясняет нам, ставит перед нами как живую и понятную вещь, какую-то цивилизацию, которая на первый взгляд казалась нам непостижимой.

Точно так же обстоит дело и с историей. В случае с инквизицией современному читателю особенно трудно понять суть дела, потому что все термины были, так сказать, транслитерированы; но я думаю, что мы можем прийти к вполне удовлетворительному результату, если переведем термины на знакомые современному человеку понятия. Например, вместо физических пыток - перекрестный допрос и публичный позор; вместо жертвования всеми гражданскими гарантиями ради преобладания интересов единой религии - аналогичное жертвование всеми подобными гарантиями ради преобладания интересов единой нации; вместо использования офицерами-церковниками всех средств (или почти всех средств) для сохранения религиозного единства - гражданские офицеры, использующие все средства для сохранения национального единства во время опасности. Если вы сделаете это, думаю, современный человек сможет понять. Если бы вы представили в начале XIII века зрелище всего мужского населения, подвергнутого медицинскому обследованию, регистрации и принудительному призыву к жизни, где случайная ошибка может быть немедленно наказана смертью или другим ужасным наказанием; если бы вы показали ему людей, сомневающих в своей верности нации, осужденных на годы вечного молчания, уединенных от своих собратьев после того, как они были выставлены на всеобщее позорище в судах; Если бы вы даже набросали для него нашу универсальную систему шпионажа, при которой сильное современное центральное правительство держит всех своих подданных так, как ни одно правительство древности, каким бы тираническим оно ни было, никогда их не держало - если бы вы показали человеку XIII века все это, он бы почувствовал то же отвращение и ужас, которые большинство современных людей испытывают при чтении об инквизиции, ее объектах и методах.

Человек, который должен так объяснить современную жизнь человеку XIII века, чтобы сделать ее *понятной* для него (трудная задача!), несмотря на его отвращение и ужас перед нашими жестокостями, богохульствами и тираниями, был бы хорошим историком. Верно и обратное.

В книге есть много особых моментов, на рассмотрении которых я бы задержался, если бы позволило место. Поэтому мои собственные знания о времени и месте позволяют мне высказать некоторые соображения. Я вижу, что автор склоняется к маршруту Сердань для похода Педро Арагонского. Я не просто склоняюсь, а морально уверен в этом - по крайней мере, на основании имеющихся у нас доказательств; и это несмотря на присутствие Педро в Ласкуарре в августе. Если, что очень маловероятно, появятся новые свидетельства, нам, возможно, придется согласиться на саллент Сомпорт или даже на Валь-д'Аран, но чем больше я думаю об этом, тем больше последний вариант кажется мне недопустимым. Мне известны крутые и опасные подходы к с обеих сторон, особенно с арагонской. Я считаю, что

очень трудно достичь их из пункта сосредоточения в Лериде. Сердань - единственная действительно открытая дорога. Это был единственный удобный проход, представлявший тогда ценность для больших армий; что касается второго прохода, Пуйморенского, в долину Арьежа, то он совершенно прост, это просто подъем земли. Я пересекал его дюжину раз при любых погодных условиях. И снова мне кажется очень интересным сравнить процедуру даже поздней инквизиции с современной гражданской процедурой, например, процедуру Торквемады с процедурой судей Генриха VII в суде по делу о государственной измене. Это говорит в пользу первых. А еще лучше - суд над Филиппом III и судьями Сесила в его тщательно вынашиваемом пороховом заговоре.

Но столь подробное обсуждение сотни исторических вопросов, затронутых в этой книге, неоправданно затянуло бы и без того слишком длинное вступление к произведению, к которому читателю не терпится обратиться.

H. Belloc.

*Королевская земля, Шипли,
Хоршем.*

ИНКВИЗИЦИЯ:

Политическое и военное исследование ее создания.

ГЛАВА I. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Каким было общество, в котором инквизиция, эта великая атака на человеческую свободу, увенчалась успехом? Чтобы ответить на этот вопрос, в случае другого великого нападения, несчастными зрителями которого мы являемся, необходимо оценить, во-первых, главные силы, действующие в мире, и, во-вторых, их изменение под влиянием местных обстоятельств в Америке. Сделав это, человек сможет получить справедливое представление о запрете. Он должен получить представление о великом развитии цивилизации в XIX веке и о том, что это развитие в значительной степени было обусловлено усилением контроля над материальной природой с помощью того, что мы называем "наукой". Вместе с этим он должен видеть стремительный упадок протестантизма, его отказ от теологии и концентрацию на табу. Затем в его сознании должно сложиться четкое представление о том, какое огромное значение наше общество придает власти над материальными вещами, в которой оно так явно превзошло все другие известные общества, и вытекающее отсюда значение, придаваемое мнениям мастеров этой "науки", совершивших столь прекрасные дела (хотя с моральной, а значит, и с политической точки зрения такие люди могут быть, а часто и бывают, вопиюще невежественны и глупы); Далее, если дать верную оценку нашей искаженной протестантской

морали, состоящей теперь в основном из дикарских табу, то такой человек сможет справедливо оценить движение "Запрет".

Каковы же были силы, которые привели к очень похожему движению "Инквизиция"?

Прежде всего, время почувствовало себя сильным и уверенным. Мы склонны думать о мире, в котором была создана инквизиция, как о слабом и слабоумном, окутывающем себя тщательно продуманной бесполезной театральностью. Но это ошибка, отчасти вызванная нашей увлеченностью собственным веком и римским временем, которое из всех прошлых эпох наиболее похоже на нашу по высокой энергии, строгому управлению, частому общению, позитивистскому взгляду на жизнь и, как следствие, отсутствию какого-либо определенного общего кодекса морали. На самом деле большинство фантастических атрибутов относится к позднему Средневековью, Средневековью на закате, и только потому, что мы не видим застойные "Темные века" достаточно ясно, мы не понимаем высоты и внезапности подъема Средневековья. В первые годы тринадцатого века люди справедливо ощущали себя обществом, растущим и расширяющимся (как мы говорим на нашем современном жаргоне "прогрессирующим") со всех сторон так быстро, что у них, должно быть, почти кружилась голова от столь внезапного и масштабного успеха. Пожалуй, даже в начале нашего собственного двадцатого века только что преодоленный склон не казался таким высоким, таким крутым, а будущее - таким полным обещаний дальнейшего подъема. Ведь, как и в первые годы двадцатого столетия, не было никаких признаков того, что расширяющееся движение достигло своего предела. Оно все еще продолжалось, полное обещаний дальнейших достижений, и вряд ли люди имели право не надеяться на это.

Хотя двенадцатый век напоминал девятнадцатый по масштабам достижений, он отличался от девятнадцатого по качеству этих достижений и по природе сил, которые сделали их возможными. Разумеется, в обоих случаях главной движущей силой является сила человеческой воли. В двенадцатом веке люди чувствовали, что их сила возросла не столько благодаря новым процессам, давшим им возможность управлять физической природой, сколько благодаря моральным силам, внезапно заставившим их осознать нежданную силу внутри себя. Я не хочу сказать, что девятнадцатый век считал, что не обладает новыми элементами моральной силы. Это так. Идеи Американской и Французской революций глубоко взволновали его; в меньшей степени его затронуло ограниченное, но все же острое, новое сочувствие к тем самым Средним векам, о которых мы говорим. Я также не хочу сказать, что Средние века обладали не большей властью над материальными вещами, чем простые и детские Темные века, непосредственно предшествовавшие им. Я хочу сказать, что в двенадцатом веке, по сравнению с девятнадцатым, ощущение новой власти над физической природой играло меньшую роль, а уверенность в новых силах внутри самой природы человека - соответственно большую.

Две причины привели к тому, что моральные факторы власти стали более важными по сравнению с физическими. Во-первых, успехи двенадцатого века во всех внешних и светских аспектах были не более чем частичным восстановлением римского порядка, о котором, как водится, люди еще помнили. В то время как девятнадцатый век, вместо того чтобы частично восстановить то, что было, а затем было утрачено, покорила природу и варварство в тех регионах, где такое завоевание никогда не пытались осуществить. Поэтому двенадцатый век в полном расцвете своих достижений был менее подвержен гордыне и иллюзиям, которые подстерегают гордецов. Во-вторых, моральная (и интеллектуальная) жизнь двенадцатого века вращалась вокруг одного многогранного института - Церкви, которая влияла на все сферы человеческой жизни.

Задача этой главы - подготовить почву для последующих событий. Читатель должен иметь представление о вялом и погруженном в себя веке Герберта (великого папы 1000 года), затем о бодром боевом веке Гильдебранда и великих норманнских вождей, о Первом крестовом походе и Песне о Роланде, то есть о конце одиннадцатого века. Далее следует сам двенадцатый век, Абельяр, преподавание римского права в Болонье, обогащение и утонченность жизни, рыцарство, "феминизм" и продолжающаяся борьба центральной и всепроникающей церкви с развивающимися гражданскими правительствами. Наконец, к концу века он должен оценить зарождение готики, подъем сильных и бурных городов и гильдий, а также обещание долгого и плодотворного брака правительства с идеей национальности.

Здесь не будет места для чего-то большего, чем самый скромный набросок - как если бы человек задался целью нарисовать собор с помощью полудюжины росчерков пера. Анализ по необходимости должен быть небольшим. Я постараюсь сделать его справедливым. Особенно необходимо уловить влияние Церкви, а также (что часто упускается в описаниях того времени) ограничения этого влияния.

Прежде чем приступить к такой работе, я не могу не предупредить читателя о необходимых ограничениях и несовершенствах истории.

Скудость записей, предвзятость и присущие человеческим свидетельствам недостатки, тенденция поразительных и исключительных фактов попадать в отчет и тем самым разрушать средние показатели (к этому я вернусь при рассмотрении баронских и частных войн и сравнении их с нашими ударами); все это заставляет нас видеть прошлое не четко, а сквозь дымку.

Наконец, мы должны остерегаться слишком хорошо понимать прошлое, когда мы не можем понять даже настоящее. Какие злые чары наложены на современного мужчину, чтобы держать его в такой уродливой и зачастую неудобной одежде? Педанты, бывало, торжественно притворялись, что разбираются в самых сокровенных мотивах великих людей древности (которые были лучше их и, вернись они на солнечный свет, чтобы разобраться с этими самыми педантами, надули бы их в ближайшем углу пруду за их назойливость). Они продолжали делать это, я говорю, примерно до 1905 года, когда Честертон спросил их, кладут ли они сами цветы на могилу мертвеца, полагая, что их мертвые могут пахнуть^[1]. С тех пор они стали немного тише.

И все это, похоже, забыто большинством писателей и практически всеми читателями истории. Неважно. Когда жалкие историки призывают имя "науки", этого современного идола, перед которым мы все должны склониться, давайте сохраним самоуважение честных людей, оттопырив нос и оттопырив пальцы от таких глупых суеверий. Они все в одном ряду с почтенной идеей, провозглашающей непогрешимость прессы и заставляющей людей верить в то, "что они видят это в печати" - ага!

Так давайте же избавим себя от греха гордыни. Средние века начались с упадка Рима. Эта высокая и сложная цивилизация (которая, как я уже говорил, при всех своих расхождениях соответствовала нам больше, чем цивилизация любой другой прошлой эпохи) увидела, как ее великая энергия ослабевает. Она уснула. Сегодня мы меньше, чем раньше, слышим о пороке как симптоме этого упадка, и больше признаем экономический крах, вызванный подавлением среднего класса системой налогообложения, которую в наше время называли бы социалистической. Во всяком случае, процесс был чрезвычайно постепенным. Он

сопровождался, скорее как следствие, чем как причина, медленным отсеиванием сравнительно небольшого числа варваров, сначала в профессиональную армию, которая была единственной военной опорой империи, а затем, когда они стали доминировать в этой армии, неизбежно и на политические должности. Способы и этапы этого упадка (увлекательные темы, которым только начинают уделять должное внимание) не являются предметом данного исследования. Важно уловить глубину деградации, которая была достигнута.

Чтобы судить о том, насколько низко пало христианство, давайте посмотрим на свидетельства по трем основным пунктам: сокращение населения, утрата способности строить и замена простого безрассудства судебным взвешиванием доказательств в вопросах права.

В качестве примера огромного сокращения населения со всеми вытекающими отсюда последствиями мы можем взять два города - Лондон и Париж. Лондон был одним из главных городов римской Британии, центром, к которому сходилась вся дорожная система острова. С начала пятого до начала седьмого века этот город не упоминается ни в одном известном документе, так что (вопреки всему) некоторые глупые ученые смогли утверждать, что в этот промежуток времени Лондона вообще не существовало. Как и Лондон, Париж был столицей, и по сей день почерневшие останки его римского дворца, которые смотрят вниз на приходящих и уходящих из Латинского квартала на "Буль-Миш", находятся далеко от центрального "острова города", на котором он начинался. Амфитеатр находится еще дальше, за Пантеоном, и каждый может понять, насколько необходимо, чтобы место общественных развлечений не находилось слишком далеко от центра событий. И все же в конце девятого века, когда пираты-викинги осаждают это место, против них остается только маленький центральный остров. Признавая, что ни Лондон, ни Париж не значили для Британии и Галлии того, что они значат сегодня, все же, повторяю, оба они были очень значительными городами, и использовать их в качестве тестов совершенно справедливо. Города западного христианства были "срублены и низведены".

Во-вторых, что касается утраты способности строить. Эта потеря была почти полной. Любая история архитектуры Англии представит читателю жалкие реликвии англосаксонского строительства. В Париже есть несколько таких вещей, как грубая башня Сен-Жермен-де-Пре и несколько сомнительных камней в низкой маленькой церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. В Италии "плотоядный" ломбардский стиль, который Рёскин так ярко отождествляет с горсткой "ломбардских" вольноотпущенников седьмого века, по мнению ученых, полностью принадлежит одиннадцатому и двенадцатому векам, когда Европа возродилась, начались крестовые походы и было заново открыто римское право. Кроме восьмиугольника Карла Великого в Эксе, трудно вспомнить хоть один значительный памятник, безусловно относящийся к четырем застойным столетиям между 600 и 1000 годами. Повсюду люди укрывались в углах великолепных сооружений, пришедших из имперского прошлого, как ласточки в карнизах здания. Обычно они даже не могли уберечь их от обветшания. Даже ремонт был им не под силу.

По каким законам решались гражданские споры в этих уменьшившихся городах, архитектура которых становилась все грубее, слабее и приземистее? Эти люди, наши собственные предки, чьи предки снова пользовались римским правом, решали споры между тяжущимися сторонами с помощью ряда испытаний или "ордалий", которые представляют собой каталог банальной глупости. Достаточно привести их список, чтобы читатель мог

судить о них. Существовало "пари на бой", которое было не поединком чести, а преднамеренным судебным испытанием; истец и ответчик сражались, и победитель выигрывал свое дело. Возможно, величайший человек Темных веков, Карл Великий, стремился бороться с этим обычаем. В своем завещании он оговаривает, что споры между его наследниками о правах на землю не должны решаться таким образом. Вместо этого он заменяет мягкую форму испытания, пользующуюся большой популярностью при решении земельных споров, - крест. Спорящие вытягивали руки горизонтально, и тот, кто выдерживал дольше всех, получал землю! Были и испытания кипятком, раскаленным железом или огнем - все три способа ошпаривали или сжигали виновных и щадили невинных. Иногда тянули жребий, а иногда истинность или ложность утверждения проверяли по тому, не повредило ли принятие освященной евхаристии тому, кто утверждал это. Разумеется, все эти испытания сопровождалось религиозными церемониями, и считалось, что они особенно подвержены прямому вмешательству Бога. Но умственное развитие тех, кто их проводил:...

"Non ragionam di lor, ma guarda, e passa".

(Мы не будем говорить о них, но посмотрим и пройдем дальше).

Упоминание о прямом вмешательстве Бога естественным образом подводит нас к сверхъестественному уклону того времени. Здесь судить не так просто. Можно представить замену старого позитивизма образованных древних (сверхнатурализмом и трансцендентальными формулами верочений) как часть общего упадка. В равной степени можно представить его как единственную закваску в неудовлетворительном комке. Конечно, разрыв между мыслью (в основном позитивистской) образованного класса наших дней и мыслью населения, ныне (как и всегда) полного либо религиозных, либо политических суеверий и небрежно относящегося ни к философской теории, ни к научным фактам, - этот разрыв, говорю я, безусловно, является злом. Но в Темные века народное суеверие буйствовало без всяких оговорок и поправок.

То, что церковные чиновники сохраняли организованность и дисциплину, когда гражданское правительство разваливалось на куски, что церковь была центральным институтом того времени и что большинство ее выдающихся деятелей были церковниками, - это общее место. Что не всегда осознается, так это чрезвычайная важность института монашества. Ученые-монахи, которых приютила только Церковь, могли, по крайней мере, передать знание великих книг прошлого, хотя, когда они писали, то могли делать лишь огромные, скучные комментарии к этим книгам.

Как же в такое время вообще можно было заниматься какими-либо делами? Экономически - путем возвышения раба до крепостного; политически - путем усиления власти на местах.

При упадке коммуникаций и полиции раб мог просто сбежать, и его нельзя было вернуть. Очевидно, что для того, чтобы получить от него хоть какую-то работу, необходимо сделать так, чтобы он был заинтересован в том, чтобы остаться. Для этого от него требовали только фиксированную и сравнительно небольшую часть его продукции в качестве платы за обрабатываемую землю и позволяли ему пользоваться излишками, которые он мог увеличивать до предела своих сил. Такая схема в определенном смысле "работала". Давая рабочему больше достоинства и независимости, она имела тесную (хотя, по-видимому, совершенно неосознанную) связь с церковным учением о равной ценности всех душ в глазах Бога.

В политическом плане финансовое истощение центральных правительств и ослабление коммуникаций, поскольку великие римские дороги не поддерживались в рабочем

состоянии, способствовали тому, что все больше власти и инициативы переходило к местным губернаторам; в конце концов, вместо назначенных чиновников они стали почти местными королями, которые могли передавать свои должности своим сыновьям, как и свое имущество. Это последнее капитальное изменение произошло только в середине девятого века, второго из трех столетий нападений извне, которые обрушились на деградировавшее римское общество и почти уничтожили его.

Я говорю об обществе как о деградировавшем римском, потому что считаю, что вся масса доказательств свидетельствует против идеи завоевания цивилизации грубоватыми благородными "тевтонами", которые затем оживили разлагающуюся римскую систему. Дело в том, что приход маленьких варварских военных отрядов, которые вовсе не были "тевтонцами", а состояли из смешанных кровей, был лишь шагом, хотя и важным, в долгом и постепенном процессе разложения изнутри. Ни один современный писатель, за исключением святого Иеронима, похоже, не увидел ничего особенно значительного или поразительного в событии, когда варварские "вспомогательные войска" (которые в течение ста лет составляли основную часть императорских армий) разграбили сам город Рим. Это были "колониальные войска" того времени, которые время от времени устраивали разборки с другими отрядами вспомогательных войск или с обедневшим правительством, заключившим договор на их оплату. На протяжении большей части Империи они, кажется, никогда не мечтали об организованной кампании против цивилизации, хотя время от времени и предавались грабегам и беспорядкам. У меня нет места, чтобы бороться со смутным представлением о внезапном разрушении и последующем явно "тевтонском" обновлении. Достаточно сказать, что здесь нет ни одного общего для всех первобытных людей института, такого как совет воинов или старейшин племени. Узы личной преданности и верности вождю, которые они принесли с собой, присущи не только каждому варвару, но и каждому школьнику.

Другая линия рассуждений, которая подтверждает постепенный характер упадка и отсутствие определенного разрыва с прошлым, заключается в том, чтобы проследить значительное зарождение в "нижней" или более поздней Империи тенденций, признанных особенно характерными для Темных веков. Обезлюдение, строительство из обломков более древних и лучших произведений, в письмах замена любой критики жизни гламуром и чудесами - все это восходит к четвертому, а иногда даже к третьему веку. На этом список не заканчивается. В четвертом веке кавалерия заменила пехоту в качестве основной опоры армий, а в третьем веке мудреца уже считали скорее магом, чем философом.

На это деградирующее римское общество обрушился тройной бич - магометане, викинги и мадьяры. Пожалуй, лучшим ответом на утверждение, что "тевтоны" вдохнули новую жизнь в западное христианство, будет заметить, что оно едва выдержало бурю. Ведь большинство из этих нападений были не более чем большими грабительскими набегами. Магометане больше других повлияли на южную часть Франции, о которой мы сейчас говорим. Но именно викинги довели наше христианство до самого низкого предела. Все трое одинаково ненавидели и презирали ослабленную римскую цивилизацию, которую они разорили, и особенно религию, которая стала ее связующим звеном. Особенно они презирали святыни, где было сосредоточено огромное количество движимого богатства того времени в виде золота, драгоценностей и ценных вещей. Именно они, а не "тевтоны" V и VI веков, совершали настоящие варварские вторжения. Однако они потерпели неудачу. До конца восьмого века мусульманство в целом отступало. К 900 году худшее из страшных нашествий викингов было пройдено, а чуть более чем через пятьдесят лет были взяты мадьяры. С тех пор внутренние районы христианства были защищены от набегов. Борьба так долго казалась безнадежной,

что бесплотный дух, вззирающий на происходящее свысока, вполне мог бы назвать окончательную победу чудом.

После отпора и (в случае с викингами и мадьярами) обращения "raunim" наступила пауза. Подлое и жалкое время, едва отбившееся от язычников, теперь могло подвести итоги. В конце концов, оно добилось трех успехов. Первое из этих достижений было негативным. Ведя свою ничтожную жизнь среди колоссальных обломков Рима, они сохранили драгоценные фрагменты того, что было душой его цивилизации: его письма, права и философии. Эта живая память о Риме была разбросана тут и там, почти вся она была спрятана в монастырях, как бы под землей, не имея возможности воздействовать на окружающий полузвериный мир. И все же она была там и ждала времени, которое могло бы ею воспользоваться, в глубоком сне, но не мертвая, как принцесса в сказке. Второе и третье достижения были положительными, и из них второе было самым полезным и, возможно, самым очевидным. Темные века, как мы уже видели, поставили власть на самую широкую основу. Она больше не была доверием; она была владением, и поэтому ее нужно было упорно удерживать и (в основном) умеренно использовать, как это делают с имуществом. Концепция законного права уступила место концепции привилегии. Возьмем грубую иллюстрацию: мы знаем, что многие наши государственные деятели думают о правительстве не как о чем-то, под чем можно жить, а как о чем-то, за счет чего можно жить, то есть как о средстве добычи своих собратьев. Мы называем это "системой добычи". Предположим, что политическая организация, состоящая из такого рода людей, получает полный контроль над выборами на время, достаточное для того, чтобы ее местные лидеры могли передать власть своим сыновьям. Очевидно, что после первых беспорядков, которые вызовут эти изменения, наступит время, когда каждый "лидер" общины, каким бы тупым он ни был, не сможет не понять, что для его личной выгоды важнее всего процветание его владений. Для времени, подобного нашему, такие перемены были бы катастрофой; для времени, с трудом пытающегося сохранить хоть какие-то остатки цивилизованной жизни, они были спасением. Наконец, как мы уже видели, был сделан великий шаг - отменено старое рабство в пользу крепостного права, и средний рабочий стал более чем наполовину свободным человеком.

Эти примитивные механизмы возникли без всякой цели, а в силу потребности того жалкого времени в гарантиях хоть какой-то защиты и производства. Люди, установившие их (или, скорее, попавшие в них), не были самосознательными, у них не было никакой "политической теории". Их действия были спонтанными, и все их упрощения проникали в римский порядок и распространялись по нему, как сорняки, растущие на развалинах.

Отсутствие самосознания также не позволило четко порвать с прошлым. Местные вельможи, каждый из которых был всего лишь маленьким королем, продолжали называться титулами императорских чиновников; граф по-прежнему был "приходящим". Поскольку у них не было политической теории, и они жили в мире, который не помнил времени без королей и императоров, им не приходило в голову предложить, чтобы королей и императоров не было вовсе, хотя почтение местного лорда к владыке было бы гораздо более слабым, чем почтение их собственных маленьких нуждающихся вассалов к ним.

Светские правители - и императоры, и короли, и дворяне - стремились сделать из церковных служителей орудия и функционеров своей власти. Местный дворянин хотел выбрать сельского священника, его владыка желал "инвестировать" епископа. Что бы произошло, если бы эта тенденция не была остановлена, мы не можем сказать. Мы знаем, что только Церковь стояла за сохранение великого прошлого через науку, за нравственный идеал и, прежде всего, за единство Европы. Поэтому справедливо называть усилия светских властей, направленные против ее независимости, дезинтегрирующей тенденцией.

Однако был и протест против верховенства мирян, исходивший в основном от монахов и особенно от нового ордена Ключи, так что все эти усилия получили название ключийского движения. Тем временем викинги, обосновавшиеся в Нормандии (единственные из всех варваров, пришедших в Империю и затем исчезнувших, канувших в Лету почти бесследно), скрещивались с местным населением, чтобы породить новую сильную расу, которой предстояло сражаться и управлять. В 1000 году монашеский протест и норманнская энергия только прорастали над землей, и в целом время было анархическим, бесформенным.

Великий Герберт, папа Римский в 1000 году под именем Сильвестра II, является символом. Великий как интриган, для нас он еще более велик как ученый. Он изучал математику и "алгебру" (слово арабское) у арабов в Испании и, как всякий ученый, достойный этого имени, любил классику. За его математические способности его боялись как волшебника, а когда он писал другу в Италию за нецерковными латинскими книгами, мы видим, что он просит "достать их тихо", обещая, что никому не расскажет об оказанной ему услуге.

Я назвал Герберта символом своего времени. Назвать это время "Темными веками" справедливо в той степени, в какой справедливы немногие эпитеты нашей школы. Это были трясины, из которых начался подъем Медиеваля.

Ибо после сомнительной паузы, о которой я говорил, возникла Европа. Норманны завоевывают Англию и Сицилию и создают системы управления и администрации, которые могут служить образцом для всего Запада. Реформы Гильдебрандина освобождают церковь от феодальной анархии, и церковь в своей новой силе наполняет христианство новым чувством единства и общей цели. Эта общая цель бросает Европу против Азии в приливной волне Первого крестового похода, который разрушает барьер между Востоком и Западом и начинает новый день.

Важно отметить, насколько коротким был этот норманно-гильдебрандский период и насколько многогранными были его свершения.

Самое большее, что он охватывал по времени, - это менее пятидесяти лет. Первый удар церкви по независимости от государства приходится на середину столетия. Норманны завоевывают Англию в знакомом нам 1066 году. Крестовый поход мобилизуется в 1096 году и возвращается в 1099-м. Таким образом, если брать Церковь, то крестоносцы по времени были чуть ближе к тому периоду, когда она была покорным созданием светского правительства, чем американец времен Великой войны к войне за отделение. Они были далеки от завоевания Англии примерно так же, как мы (1920 год) от первого избрания М'Кинли и наступившего с ним процветания. Конечно, подготовка была. Вильгельм Завоеватель застал Лондон уже настолько большим, что его войска не могли даже блокировать его. Итальянские морские республики уже в начале века одерживали верх над сарацинами в Средиземноморье. Тем не менее, фаза первых великих битв и великих свершений укладывается в выделенный мной небольшой промежуток лет. Это удивительное время.

С точки зрения моральных целей, как сказали бы в сегодняшней бессистемной речи "идеалисты", этот короткий период занимает первое место во всей нашей долгой традиции. Первый крестовый поход доказывает это. Хороши ли были сами по себе новые настаивания Гильдебранда на безбрачии священников и на частной, конкретной исповеди, нам не нужно обсуждать. Во всяком случае, ни до, ни после, даже во время только что закончившейся великой войны, христианство не предпринимало таких усилий, как Первый крестовый поход.

И эти усилия исходили от Европы, которая вдруг вспомнила, как думать, управлять и строить. Вместо того чтобы тупо нагромождать отрывки, как их предшественники пять медленных веков назад, мы теперь находим лучших монахов-ученых, таких как Ансельм, ясно рассуждающих на величайшие темы: как мы можем доказать, что Бог существует, и почему Он стал человеком. И этот итальянец из Южных Альп, в котором мысль заменила педантизм, мог наблюдать из своего нормандского монастыря за новыми политическими операциями, происходящими вокруг него, столь же сильными и поразительными, как и размах его собственного разума. Новая норманнская раса управляла, взимала налоги и вершила правосудие с таким порядком и методом, каких не было на Западе со времен Юстиниана. В войне, этом важном подразделении политики, они могли сочетать огневую мощь пехоты с ударной силой конницы в кольчугах[2]. В военном строительстве они могли укреплять завоеванные ими земли огромными квадратными башнями из каменной кладки, которые стоят и по сей день. Кроме замков, они строили великие церкви, и в их строительстве они заново открыли для себя высоту, способность возводить огромные каменные своды и эффект величественности. Тем временем итальянцы тоже строили прекрасные церкви. Сант-Амброджио в Милане (вот лишь одна из них, которая приходит на ум) может сравниться с любой норманнской церковью. Во всем это грубоватое мощное время возвышалось и творило так, как европейские люди не творили уже полтысячи лет. Темные века ушли, началось Средневековье.

Каков был дух этих людей в их новом могуществе? Мы можем попытаться почувствовать его в их постройках и письменах, но ответы на такие вопросы неуловимы и озадачивают не меньше, чем все, что человеческий разум может задать сфинксу истории. Парадокс в том, что это время, с его неистовой энергией и яростью созидания, кажется, оставило нам в своих зданиях не только выражение силы, но и самодостаточной завершенности и покоя. Простые круглые арки, тяжелые колонны, декор, одновременно грубый и суровый, вызывают чувство сдержанности, равновесия и солидности, которых никогда не было у готики. Они кажутся сродни "Песне о Роланде" с ее

"Язычники неправы, а христиане правы".

непоколебимые, как взмах большого меча. Из одиннадцатого века до нас не дошло ни малейшего сомнения или неуверенности в вере. В то же время это был жестокий век сильных appetитов и страстей. Энергия, а не утонченность - вот его нота; война, а не любовь. Воображение того времени, когда оно бралось за резьбу по камню, часто играло с дикими и невозможными чудовищами, которые бросали сильный отсвет на строгие, четкие линии архитектуры. В этом тоже есть своя экстравагантность, ведь именно гордость Роланда, отказавшегося вовремя подать сигнал в свой рог, чтобы вызвать помощь, приводит его и его сверстников к гибели.

Тем временем искусство и ученость оставались монашескими. Архитекторы были монахами, а соборы принадлежали больше монахам и священникам, чем законникам. Из мирян почти универсальным типом является воин.

В 1099 году, перед самым началом века, крестоносцы вернулись. Они собрались со всей Европы, вместе повидали мир и совершили свои великие подвиги. Их возвращение ознаменовало новое время - двенадцатый век.

Я говорил о крестовом походе как о приливной волне. Это выражение справедливо в той мере, в какой оно указывает на его огромные усилия. Оно также справедливо в том смысле, что это было разрушение барьеров, не только барьеров между подразделениями христианства, которые оно объединило в едином порыве, но и барьера между Европой и

Востоком. Однако выражение "приливная волна" неверно, поскольку предполагает нивелирующую и разрушительную силу. Ведь то, что последовало за этим, было продолжением и расширением того, что сделал норманнско-гильдебрандский XI век, с большим богатством, сложностью и утонченностью. Появляются и новые силы, но сознательного разрыва с ближайшим прошлым не происходит.

Повинуясь новому чувству власти вернувшихся крестоносцев, росли торговля и связи, население и богатство. Таким образом, правительство и администрация, достойные этого названия, которые были созданием XI века, продолжают укрепляться и становиться все более централизованными. Но к ним добавляется новое - знание римского права с его масштабными рассуждениями и великим чувством государства.

Так же продолжалось и строительство, и основы дизайна не меняются, но строгость старых работ начинает теряться в инкрустированных массах скульптурных деталей. Большая часть резьбы кажется нам грубой; значительная часть ее призвана быть гротескной, а большая часть - гротескной непреднамеренно. Но в ней есть энергичность и эффект богатства за счет кропотливого повторения простых мотивов. Это богатство декоративной скульптуры естественным образом связано с новой общественной тенденцией к утонченности манер.

С утонченностью манер мы приходим к первому резкому контрасту с тем, что было раньше. Вильгельм Завоеватель, раздраженный тем, что его жена постоянно бросала ему в лицо свои бастарды, как говорят, облегчил свои чувства, привязав ее за волосы к хвосту своей лошади и утащив в соседний пригород. Теперь мы видим жену правнука Вильгельма, Элеонору Аквитанскую, главной фигурой в совершенно новом виде "высшего общества" среди правящих кругов того времени, где стало модным заботиться об утонченно учтивом поклонении идеализированной женщине. Не то чтобы женщина XI века была никем. Графиня Матильда Тосканская была опорой для Хильдебранда в его неустанной политической борьбе. Но теперь мы видим, что дворянки берут на себя ведущую роль в соблюдении общественных норм (и в оценке литературы) примерно так же, как это происходит в Соединенных Штатах в наши дни. Правда, светская часть движения имела свой центр, как мы увидим в следующей главе, на юге Франции. Но оно было общим для всего общества того времени, и вместе с мирским движением возник новый культ Девы Марии.

Это новое религиозное чувство возникло так же внезапно, как и соответствующие изменения в светском обществе. Если раньше Роланд молился Богу-отцу, то теперь все, даже боевой рыцарь и строгий религиозный реформатор вроде Сен-Бернара, предпочитали молиться Богородице. То, что они видели в ней, едва ли могут почувствовать те, кто воспитан в протестантской традиции. Она отстаивала нелогичную, ласковую сторону религии. Она любила всевозможную лесть и внимание, и все любили ее и оказывали ей знаки внимания, которые она любила. Она также любила красивые и милые вещи и, по-женски, всю декоративную сторону жизни, так что ее культ сыграл большую роль в строительстве собора. В стихах и рассказах о ней можно хотя бы слабо почувствовать тот огромный поток преданности, который она вызывала. В двенадцатом веке она стала одним из богов нашей западноевропейской семьи.

Большинство мужчин, достойных этого имени, не приемлют феминизм. В нем есть что-то неестественное и натянутое. В цивилизованные времена, ставшие возможными только благодаря высочайшей человеческой энергии, вечной загадкой является то, что на первый план выходит пол, менее энергичный как телом, так и разумом. Поэтому многие мужчины называют феминизм эпохи Цезарей-Августов в Риме, а также современности, признаком социального упадка. Но это не подходит к феминизму двенадцатого века. Если феминизм -

это болезнь общества, то, похоже, иногда это растущая болезнь. Кажется, что во времена быстрого распространения цивилизации энергия мужчины настолько поглощена укрощением диких земель, отбиванием варваров и производством богатства, за счет которого живет общество, что он превосходит женщину в знании всех искусств и занятий, которые делают жизнь богатой и красивой, короче говоря, всех тех вещей, которые современный деловой человек презирует под названием "общая культура". Тогда женщина, видя, что она превосходит его во многом, мысленно ставит себя выше него и наполовину признает его таковым. Но современный мужчина может утешить себя мыслью, что в феминизме есть что-то вынужденное и порочное, и что в прошлом его избыток никогда не длился долго.

В то время, когда короли были укреплены римским законом, когда в новой утонченности богачей преобладала знатная дама, а все классы мужчин и женщин поклонялись Деве Марии, появился и новый дух гражданской свободы. Растущие города стали создаваться как "коммуны", практически самоуправляющиеся корпорации. Когда они могли, они покупали свою свободу в виде хартии у феодала; когда они не могли договориться, они с радостью боролись с ним. Они были беспокойны, постоянно бунтовали по тому или иному поводу, и те отрывочные сведения, которые мы получаем об их муниципальных финансах, говорят о том, что современные градостроители могли бы поучиться у них. Тем не менее, они сосредоточили в себе большую часть сумбурной, но счастливой и победоносной энергии того времени. В политическом плане они, сами того не ведая, наполовину воплотили в жизнь идеал античного свободного города. Через них и их независимость мы прикасаемся к Афинам, которых они совсем не знали. В экономическом плане они вывели искусство и промышленность из монастырей, организовали ремесленников и мастеров в гильдии, которые в значительной степени сдерживали конкуренцию между своими членами. Таким образом, они гарантировали рабочему независимость и безопасность настолько хорошо, что наши профсоюзы и сегодня преследуют их, как слепые гиганты. Вскоре, то тут, то там, они почувствовали необходимость в новой архитектуре, которая (как мы увидим) должна была стать готикой. Все эти вещи они делали не в силу каких-то правил или предписаний, а спонтанно, ради них самих, как вещи, которые должны быть сделаны.

В то время как горожанин становился свободным горожанином, деревенский крепостной превращался в практически свободного крестьянина. Сложилась договоренность, что до тех пор, пока определенная семья крепостных исправно платила господские подати за обрабатываемую землю, члены этой семьи могли свободно уходить в города, становиться "гильдсменами" (то, что мы называем "профсоюзными людьми"), вступать в церковь или делать все, что им заблагорассудится. Недовольный крепостной мог сбежать в какой-нибудь город, где его лорд не имел юрисдикции, так что лорды должны были облегчить жизнь крепостным. Великая традиция XVIII века, из которой вышла наша политическая мораль, делает идею феодальных повинностей зловонной в наших ноздрях. Тем не менее, мы должны признать, что новый статус крепостного сословия представлял собой существенную свободу. Бессознательные, а потому неприступные свидетельства современной литературы неопровержимо доказывают, что крестьянин был теперь, по сути, свободен. Независимые "холопы" из "Аукассин и Николетта" или "Робин и Марион" - это, по сути, свободные французские крестьяне наших дней.

Пожалуй, самым резким контрастом с тем, что было раньше, было то, что мысль, как и искусство и ремесла, вышла из монастыря в город. Ансельм в своей обители рассуждал так ясно, как не рассуждали церковники до него. Великий ученый нового времени через веру потянулся к метафизическим основам всего знания. Его звали Абельяр; он "пробудил великое

любопытство от тысячелетнего сна..." (как говорит Беллок с изящным придыханием), и его слава, его любовь и его несчастья стали легендой. Как бы ни был он велик сам по себе, картина того, как он, едва достигший двадцати лет, предстает перед публикой перед величайшим профессором своего времени и одерживает над ним верх в споре, еще более велика как притча. Было бы не совсем верно утверждать, что с его поколением наука стала секуляризованной, но она определенно стала публичной. Сверху донизу вера (которую ученые, в большинстве своем, продолжали хранить) стала предметом обсуждения и должна была оправдать себя рациональной демонстрацией. Студент, хотя и оставался, по крайней мере, в малых орденах, перестал быть монахом и бродил по своему усмотрению. Он любил мысль ради нее самой и объединялся в сообщества, которые уже были, по сути, университетами.

Я уже говорил, что это время было спонтанным, и в целом это верно. Становление крепостного как практически свободного крестьянина происходило тихо, само собой. Даже шумные коммуны мало беспокоились о более серьезных последствиях своих действий. Но один человек, по крайней мере, Арнольд Брешианский, ученик (или, по крайней мере, последователь) Абеяра, привнес новые знания в поддержку новых коммун. Он порвал с Церковью, его успех был недолгим, и вскоре он сошел на нет; но слава его была так велика, что после казни его тело сожгли, а пепел бросили в Тибр из опасения, что его кости будут беречь как реликвии, и некоторые еретики называли себя "арнольдистами" вплоть до следующего века.

Так шло время, повсюду создавая все новое: дороги, здания, философии; радуясь, как юный бог, созданию и, подобно богу, видя, что его дела хороши. Его города быстро росли. Даже в Центральной Европе он вырубал леса, пока их площадь не сократилась почти до сегодняшнего уровня.^[3] Ни один новый процесс прядения ткани, выплавки стали или производства паровых машин не давал ему власти над материальной природой. Его ученые мужи были слишком глубоко увлечены поисками смысла и конца нашей человеческой жизни в Боге, чтобы экспериментировать в области физики. Его материальные завоевания были одержаны благодаря прыгучей энергии его собственной сильной воли.

Во второй половине века появляются новые элементы художественной и интеллектуальной мощи, готика и заново открытые труды Аристотеля. Во Франции начинается смутно вырисовываться новая великая идея национальности. С падением Иерусалима, впервые после набегов языческих викингов в девятом веке, христианство ощущает великое бедствие.

Готика была совершенно новой и являлась порождением нового светского духа того времени. Тысячу раз писалось о том, как остроконечная арка решала конструктивные трудности и давала людям, нацеленным на высоту, возможность строить еще выше. Ломаная линия дала им, как мы увидим через некоторое время, новое выражение их собственного духа. Однако пока изменения только начинались, и здания показывали ломаную арку в содружестве с круглой.

В то время как остроконечная арка начала появляться в строительстве, из Испании приходили тексты Аристотеля. Во времена Абеяра об Аристотеле знали только его "Логику". Теперь же ученые могли читать на латыни (в переводе с арабского) "Физику", "Метафизику" и "Этику". Таким образом, эти люди с их острыми и активными умами внезапно оказались лицом к лицу с одним из величайших, если не самым великим, интеллектом всего человечества. На толпы студентов, полные дискуссий и споров, уверенно верящие в то, что

они могут построить себе логическую башню, которая достигнет небес, это произвело электрический эффект. Для таких людей получить в свое распоряжение огромный диапазон мысли Аристотеля, почувствовать его светящийся здравый смысл означало дать им больше, чем мечтала их юность, - открытие нового мира.

Между тем за бесконечными политическими дрязгами уже вырисовывалась огромная идея национальности, слабая и тусклая, но огромная. Она напоминала о тех тусклых, доисторических силах, которые породили слова "Галлия", "Британия", "Италия" и "Испания". Такие слова никогда не были представлены правительствами. Они всегда обозначали только идеи. Но во Франции, где идеи имеют силу, некая основополагающая сила в сознании людей выстраивала за королем нацию. Эта сила действовала через римское право, которое освещало активный интеллект того времени, но душой его был слепой инстинкт.

Это растущее и энергичное время, сделавшее и совершившее так много нового, забыло, что такое чувствовать сдерживание, пока в конце века Саладин не разбил сирийских франков при Хаттине и не взял Иерусалим. Катастрофа не казалась безнадежной. Христианство сразу же начало гудеть, готовясь к новому крестовому походу. Тем не менее, этот первый большой опыт неудачи бросает в глаза, так сказать, оживленность времени и дает нам, таким образом, точку, с которой мы можем наблюдать за его свершениями и пытаться определить его дух.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть прямоту, откровенность этого духа. Правда, Суды Любви проповедовали надуманные доктрины, но они были сознательным бунтом против грубости нравов, своего рода контрэксцессом. За этим исключением, время нигде не пыталось проявить экстравагантность. Продуманная скульптура его зданий обрамлена структурными линиями, твердыми и даже суровыми. Пока готика (которая должна была стать выражением средневекового нрава в его завершенности и упадке) лишь местами дает намек на свое появление. Попытки возвышения действительно предпринимаются, но везде общие линии зданий остаются квадратными и цельными. Там, где архитектор выразил свою собственную мысль, изменив унаследованное расположение римских колонн и арок, изменение стремится к откровенности и логике. Каждая часть стремится выразить свою функцию, структурную или декоративную, по отношению к целому. Классические формы начинают рационализироваться, чтобы быть не фасадом, а живой частью структуры; колонна начинает скрепляться с аркой. Как в архитектуре, так и в других искусствах и ремеслах. В целом одежда кроилась по простым и удобным линиям, без намека на театральность или излишества, либо прилегалась к телу, либо спадала простыми и изящными складками. Оружие, и особенно доспехи, оставались легкими и простыми. Во второй половине века на смену открытому коническому шлему с носовым щитком приходит цилиндрическая каска, полностью закрывающая лицо. Еще до появления новой моды на шлемы у почтовой рубахи удлинили рукава до запястья, а теперь в обиход вошли рукавицы и отдельные почтовые покровы на ногах. Но тяжелые пластинчатые доспехи, которые должны были обременять воинов последующих веков, были неизвестны. Конское снаряжение тоже было простым, сделанным для использования, а не для парада. Во всех вещах время наблюдало простоту и, как бы, естественную и непринужденную логику в очертаниях того, что оно создавало.

Кажущееся противоречие между простотой, к которой повсеместно стремились люди двенадцатого века, и неразберихой их общества было естественным и неизбежным результатом условий, ограничивавших их действия. Они, с их остротой ума, почти помнили предков, которые были наполовину варварами. Материал, с которым им приходилось работать, был до боли скуден. Дело было не только в том, что время, с его текучестью, быстротой и масштабами социальных изменений, еще не нашло формулы, которая могла бы

приблизиться к определению его глубинного духа. Эта трудность была решена поколением позже, в середине XIII века, с Аквиной, Сен-Луи и кульминацией готики. Основная проблема заключалась в том, что даже в лучшие свои времена Средневековье не обладало достаточным накоплением ни знаний, ни материальных ресурсов. Из-за отсутствия упорядоченных и детальных знаний сложность проблем не могла быть осознана, а из-за отсутствия ресурсов материальные катастрофы XIV века должны были стать роковыми для средневекового эксперимента. Тем не менее, около 1200 года синтез и такое близкое приближение к совершенству, которое позволительно человеку, находились в процессе достижения. Не было никаких мудреных современных иллюзий о необходимости благотворности перемен под названием "прогресс". Люди чувствовали, что у них есть основания надеяться, потому что новое, что они создали, было безусловно хорошим.

В наших книгах чрезмерно подчеркиваются недостатки Средневековья по сравнению с нами. Но это правда, что они не могли полностью преобразовать бесперспективный материал, который был у них под рукой.

Примеры их ограниченности можно перечислять бесконечно, и все они проистекают из одной или другой, или из обеих этих причин. Так, вопреки римскому праву, продолжалось безрассудство мытарств и судебных поединков. Новая логика еще не до конца проникла в это население, полное естественного человеческого упрямства и извращенности. Там, где строился новый город, его улицы были такими же прямыми и регулярными, как в современном американском или южноафриканском городе. Виолле-ле-Дюк собрал доказательства этого факта, и они убедительны. Но большинство их городов дошли до них из Темных веков в виде клубка кривых улиц, возникших в результате многовековой слабости правительства, а значит, безнаказанного посягательства на общественные дороги. Сегодня, угнетенные регулярностью, многие из нас находят такие кривые улочки очаровательными. Дело в том, что они, похоже, нигде не пытались выпрямить линии своих старых городов, чтобы привести их в соответствие с прямыми улицами новых городов, которые должны были быть более точным выражением их вкуса. Париж теперь был значительным городом, и король Франции мог обнести его стенами и вымостить улицы. Но выпрямить их, даже если бы у него были деньги, он не имел права, и, похоже, у него даже не возникло такой идеи, так же как и идеи масштабного водоснабжения или дренажа. Как и с улицами городов, так и с дорогами, которые их соединяли. Не было продуманной системы коммуникаций, подобной той, что была у Рима, или той, что есть у нас сегодня. Не было и регулярной и достаточной защиты со стороны государства для путешественников по неухоженным дорогам. Отсутствие безопасности не было вызвано "войной баронств" между дворянами. Обычно такие вельможи воевали между собой и своими ближайшими последователями. Не в большей степени, чем наши собственные забастовки (часто сопровождающиеся насилием в таких масштабах, которые заставили бы средневекового человека задуматься, не наступил ли конец света), такие беспорядки были направлены против всего общества. Но чтобы защитить общество от бродячих грабителей или банд разбойников, правительство не предпринимало никаких усилий, не больше, чем на нашем "диком Западе" до появления шерифа. Отсутствие полицейской защиты, похоже, воспринималось как нечто само собой разумеющееся, и никто, кажется, не пытался разобраться в этом и найти решение. Точно так же, когда поздние средневековые армии XIV века выходили на поле боя, они иногда блуждали по театру военных действий и встречались друг с другом случайно, исключительно из-за отсутствия какой-либо организованной системы разведки, которая давала бы командиру некоторое представление о положении и передвижениях врагов.

Повторимся, что все это были лишь пробелы, незавершенные части четко очерченной логической структуры, которую время пыталось выстроить как выражение своего сильного и жаждущего духа.

В отличие от нас, двенадцатый век обладал нравственным единством. Один из всех великих эпох роста и перемен, его движение было практически лишено реакционеров, потому что в нем не было разрушительных моральных изменений. Какой контраст с кесарево-августовским веком, эпохой Возрождения и Реформации, Французской революцией и нами самими! То тут, то там до нас доносится монашеский ропот на действия новых сил. Сами новые силы отнюдь не были приспособлены друг к другу. Но во всех спорах того времени никто не оглядывается на прошлое как на Аркадию. При всех своих разногласиях люди двенадцатого века были согласны с тем, что нужно идти вперед без сожаления.

Это нравственное единство с его неизменной надеждой было обусловлено корпоративным телом Церкви, которая занимала центральное место в обществе и пронизывала его. Принято считать, что Церковь объединяла обучение и образование, общественный уход за больными в больницах, все виды "организованной благотворительности" и помощи бедным, что монастырь служил гостиницей для путешественников и что те путешественники, которые не были заняты мирскими делами, почти наверняка были паломниками к святыне какого-нибудь святого. Ни один человек не был слишком низок для жалости Церкви или слишком высок для ее действенного исправления. Ее доктрина о равной ценности душ перед Богом, а также общее соблюдение ее богослужений способствовали дружелюбию и доверию между сословиями. Ее универсальность, космополитичность официальной власти и использование латыни способствовали пониманию и общности чувств между местными жителями. Таким образом, она дала тому времени, с его принятым разделением людей на классы и плохими коммуникациями, большую меру братства, чем та, которой мы обладаем сегодня со всеми нашими разговорами о "равенстве" и всеми нашими приспособлениями, позволяющими людям встречаться или говорить вместе. Она сделала это не с помощью какой-то принудительной, механической схемы объединения, а представив свод учений, который все приняли, и, приняв, связали себя общей дисциплиной, чтобы быть членами друг друга.

Мы никогда не сможем до конца понять, каков был дух тех веков, когда Церковь была непререкаемым центральным институтом и пронизывала все общество. Человеку, не имеющему возможности путешествовать и погружаться в атмосферу старых городов и сельских пейзажей (фотографии в лучшем случае дают лишь несвязанные кусочки их), лучше подолгу рассматривать итальянские картины XIV века или снова и снова перечитывать первую и одну из самых счастливых английских комедий: "Иголка Гаммера Гуртона", которая есть во многих школьных учебниках. До "революции" путешественник в России мог почувствовать, что такое страна, в которой люди никогда не разрушали своих святынь, в которой общество опиралось на непререкаемую религию, и люди чувствовали, что вселенная дружелюбна. Россия до сих пор остается средневековой в том смысле, что русский человек не может так, как мы, испытывать страдания, он попеременно злобен и невинен.

"Наполовину дьявол, наполовину ребенок..."

Даже дореволюционная Россия была посредственной только на вид, а в действительности раскачивалась, как доказали события, под действием тех же сил, что и наши индустриальные общества с их возвышением власти и опасной нестабильностью. Но

внешне она все еще представляла путешественнику из западного христианства нечто вроде мира наших предков.

Тот факт, что Церковь рассматривала свое учение прежде всего как ответ на загадку человеческой жизни, а не как свод "Ты не должен", делал ее терпимой ко многим вещам. Поскольку она была не столько отдельным учреждением, сколько частью атмосферы, которой ежедневно дышали все, она не испытывала страха. Так, она разрешала ежегодное издевательство над своими службами в "праздник дураков", когда мнимый священник, покрытый ослиной головой, бурлескировал мессу перед самым алтарем под аккомпанемент всеобщей народной игры в лошадки. Кроме того, она, по-видимому, разрешила много разводов, по крайней мере среди высшего сословия, посредством "аннулирования". Наконец, когда так много людей давали те или иные обеты, не могло быть и речи о том, чтобы ожидать, что все обеты будут строго соблюдаться, и язык реформаторов изнутри самой Церкви доказывает, что в целом она была покладистой. Некоторые путешественники по Латинской Америке говорят нам, что в тех странах, где протестантов мало, Римская церковь все еще покладиста, но то ли их подталкивает к этому религиозная оппозиция, то ли они являются истинными свидетелями, я не знаю. Во всяком случае, до того, как Тридентский собор военизировал ее против протестантизма, Церковь многое разрешала. Как и в России, религиозная одежда покрывала многих святых, а также многих грешников, грубых и утонченных.

Я уже говорил, что в целом Церковь была бесприкословна. Тем не менее, обязательно существовали силы, работающие против ее учения и ее дисциплины, так же как в любом обществе всегда должны быть силы оппозиции, работающие против сил, которые контролируют это общество. Когда время затихает, как в Темные века, и силы хозяина, и силы оппозиции будут вялыми, а когда время острое, как в рассматриваемом нами двенадцатом веке, и те, и другие будут активными. Соответственно, мы видим, что моральные и интеллектуальные силы, противостоящие Церкви, четко определены.

В великой ссоре за инвеституру между папством и светскими правительствами, начиная с Империи, вера и мораль Церкви не были поставлены на карту. Но в то же время притязания ее поборников в благом стремлении освободиться от феодализма были столь экстравагантны, что наводили на мысль об откровенной теократии, фактическом правлении служителей культа, что всегда было ненавистно людям нашего европейского происхождения. Кроме того, человек двенадцатого века, так много воевавший с неверными, узнал, что его враг в конце концов не такой уж плохой человек. По крайней мере, один правитель, Генрих Плантагенет, в пылу ссоры с Бекетом заявил, что он скорее обратится в магометанство, чем уступит церкви! И эта вспышка, похоже, не ослабила его позиции. Очевидно, мир в его время двигался быстро. Благородный человек, настолько превзошедший своих отцов в богатстве, роскоши и утонченности, часто не мог встретиться глазами с церковником. История того времени полна разорений Церкви и последующих отлучений. То и дело какая-нибудь община в разгар политической борьбы со своим епископом физически расправлялась с ним (или даже убивала его) и впадала в короткие приступы пустой иррелигиозности.

Более того, у Церкви были враги или, по крайней мере, очень вялые слуги в ее собственном доме. Мы уже видели, что ученик, как правило, все еще находился в незначительном подчинении. Но теперь он уже не сидел под строгим контролем в монастыре, а мог свободно странствовать по своему усмотрению. Не имея никаких ограничений и пресыщенный классической образованностью с ее прославлением всех страстей и appetites, он беззаботно перебирал ногами монашескую интерпретацию христианской этики и нередко

совсем сходил с ума от какого бы то ни было контроля над своими желаниями. Джон Аддингтон Саймондс собрал и перевел на английский язык с латинского оригинала несколько песен этих студентов под названием "Вино, женщина и песня". Они часто очаровательны, но я не могу представить себе литературу, лучше рассчитанную на то, чтобы разгневать монаха или вообще кого-либо пуританского склада ума.

Даже профессор студента, да и сам студент в серьезные моменты жизни, были не совсем христианами. Арабские версии Аристотеля преподавали образный пантеизм, полный идей о "душе мира", которые были несовместимы с верой в какого-либо определенного бога. Отвращение к подобным фантазиям иногда приводило к легкому всеобщему скептицизму. Шептались о том, что мир знал трех великих самозванцев - Моисея, Иисуса и Магомета. Гордость новой логикой у некоторых людей равнялась нашей современной гордости за физическую науку. Мишле рассказывает историю об ученом профессоре Парижского университета, который восхитил своих слушателей полной демонстрацией божественности нашего Господа, а затем повернулся и сказал, что, если бы он захотел, его логика могла бы опустить "маленького Иисуса" так же низко, как только что подняла его высоко. Простые люди сочиняли грубые "басни", сказки и рифмы о священнике и его женщинах-прихожанках, которые звучат грубовато даже для уха современного скептика.

И наконец, в обществе сверху донизу царило ощущение, что богатство и могущество церкви чрезмерно искушают ее служителей в гордыне, которой они обязаны противостоять как первому из грехов. Пишущий, чтобы возвеличить работу орденов мендикантов, Данте заходит так далеко, что говорит, что незадолго до их прихода (то есть в рассматриваемое нами время) "Армия Христа"... была... "вялой, грозной и малочисленной"[4].

Мишле говорит о Папе в 1200 году, вознесенном на головокружительную высоту на самый верхний пинакл великого сооружения Церкви, но видящем оттуда армии, идущие со всех сторон на приступ. Возможно, Данте и Микеле преувеличивают, но ситуация была напряженной.

И все же Церковь одержала победу. Отбрасываемая то туда, то сюда стремительными новыми течениями, она избежала кораблекрушения и сохранила свой курс. И этот курс определялся ее решимостью оставаться центральной фигурой в обществе и объединять всех людей под своим началом. Сила ее позиции заключалась в том, что из всех сил, которые, как мы видели до сих пор, работали против нее, ни одна прямо не отрицала ее учение и не подменяла его другой, враждебной доктриной.

Только в одном месте существовала организованная, фундаментальная оппозиция. Она находилась в районе Южной Франции, который впоследствии образовал провинцию Лангедок. Эта оппозиция представляла собой доктрину, которую обычно называют альбигойством (поскольку одним из ее главных центров был город Альби). Какова была природа этого кризиса и какие прецеденты имела Церковь для его преодоления, мы рассмотрим в следующей главе.

ССЫЛКИ:

[1] "Еретики", Г. К. Честертон, глава xi, "Наука и дикари". Copyright, John Lane and Co., London, 1905.

[2] Под "огнестрельным оружием" я подразумеваю, конечно, стрельбу из лука, а не огнестрельное оружие.

[3] "Леса и человеческий прогресс" Рафаэля Зона, опубликованная в "Географическом обозрении" в Нью-Йорке в сентябре 1920 года: "В Центральной Европе период наибольшей расчистки лесных земель под поселения был практически завершен к концу тринадцатого века".

[4] "...tardo, suspiccioso, e raro." - "Paradiso", canto xii, строка 39.

ГЛАВА II. ЛАНГЕДОК И АЛЬБИГОЙЦЫ.

Я решил назвать этот район "Лангедоком", потому что литература, которая была признаком его самобытной культуры, была написана на "языке д'Ок" (в отличие от северофранцузского языка д'Ойль, который позже стал основным идиомом), и потому что реальные боевые действия, которые будут описаны в четвертой главе, происходили на территории (или за ее пределами), позже известной как провинция Лангедок при французской монархии, пока старые административные деления не были стерты революцией. Я отказался от различных более определенных названий, данных недавними историками еретическому движению, о котором идет речь, потому что слово "альбигойцы" является общеупотребительным, и потому что я считаю, что общеупотребительность не должна нарушаться легкомысленными пристрастиями отдельных ученых, не заботящихся о том, чтобы не вызвать недоумения у читателя-неспециалиста.

Итак, сначала об общих физических характеристиках страны, о которой мы говорим. Южная половина Франции четко ограничена большими горными цепями. Альпы отделяют ее от Италии, Пиренеи - от Испании. Правда, в Руссильоне и вокруг Ниццы, где Пиренеи и Альпы соответственно подходят к Средиземному морю, есть небольшое пространство для сомнений, но в целом естественные границы достаточно четкие, и современная Франция, устанавливая их, возобновила естественные границы древней Галлии, одного из тех основных делений Европы, которые уходят корнями в глубь истории. Эта южная часть Франции, помимо ограничивающих ее гор, содержит внутри себя меньший горный массив, занимающий центральное положение, - Севенны. В ней находятся два основных речных бассейна: на востоке - Рона, которая течет почти на юг к Средиземному морю, осушая страну между Севенами и Альпами; на западе - Гаронна, которая течет в общем направлении на северо-запад к Атлантике, осушая страну между Севенами и Пиренеями. Кроме того, она содержит изогнутую полосу прибрежной равнины от устья Роны на запад и юг до восточных Пиренеев, а между Севенами и Пиренеями - область умеренных возвышенностей, разбитых единственной выемкой, настолько низкой, что самая высокая точка ее водораздела между Атлантикой и Средиземноморьем лежит ниже 200-метровой линии.

С верхним бассейном Роны это исследование имеет мало общего. Нижняя Рона вошла в нашу историю, хотя и не как главный театр, где происходили события. В основном нас интересует бассейн верхней Гаронны, полоса средиземноморской прибрежной равнины, изгибающаяся от нижней Роны к Пиренеям, горные склоны, граничащие с этими двумя регионами, и соединяющий их Каркассонский проход или брешь. Ибо на этом пространстве (примерно сто на сто пятьдесят английских миль) была решена неудача первой попытки нарушить моральное единство средневекового христианства. И в этой борьбе впервые определенно появляется инквизиция.

Даже на этом небольшом участке страны наблюдаются большие различия в климате и внешнем облике.

Ландшафт прибрежной равнины между Роной и Пиренеями - типичный средиземноморский, который почти не меняется вокруг внутреннего моря. Само море интенсивно синее, а лодки на нем оснащены тонкими латиновыми парусами, заостренными, как акульи плавники. В пределах видимости от моря - горы, огромные суровые скальные массивы, словно голые кости мира. Лесов нет, но между морем и горами простирается полоса земли, систематически возделываемой до последнего квадратного дюйма, на которой повсюду растут виноградная лоза и оливы, и которая выстраивается террасами везде, где есть уклон. Эта полоса земли всегда узкая - из города Безье, например, горы и море видны полностью. Когда идет дождь, он льет яростно, как в Америке, в отличие от мягких туманных дождей в Англии и Северной Франции. Обычно воздух настолько прозрачен, что все очертания вырисовываются четко и ясно - вспоминаются строгие латинские фразы и четкие линии классических колонн. Солнце ослепительно и сильно, а дороги полны белой пыли. Дома каменные, с плоскими или почти плоскими крышами, покрытые красной черепицей.

Люди, как и подобает наследникам древней и все еще энергичной цивилизации, громкоголосы, оживлены в жестах, церемониальны в комплиментах, и одновременно легки и величественны в покое.

К западу от Нарбонны резко очерченная долина, глубокая и правильная, как обширная траншея, кажется, открывает путь к Атлантике. Человек, идущий на восток или запад, упирается в эту долину; покинуть ее - значит попасть в глубокие неровные ущелья Монтань-Нуар (это самый южный выступ Севенн) к северу от долины или в столь же безнадежные ущелья Корбьер (это северо-восточный выступ Пиренеев) к югу от нее.

Кульминацией этой долины является то, что можно назвать Каркассонской пропастью, поскольку в окрестностях этого города она наиболее глубока и четко выражена, хотя на самом деле водораздел между Атлантикой и Средиземноморьем находится несколько западнее.

Монтань Нуар, северная граница пропасти, хорошо названа, так как вся она состоит из темных сланцевых пород. Корбьер, напротив, состоит из белого известняка, и человек, стоящий немного выше дна долины, может увидеть за ними снежные вершины высоких Пиренеев.

К западу от Каркассона холмы ниже, но разрыв между ними не уменьшается, и Монреаль и Фанжо, каждый на выдающемся контрфорсе холма, стоят часовыми на его южной стороне. Монреаль выделяется на фоне горизонта, когда смотришь на запад от Каркассона, и, в свою очередь, скрывает Каркассон, когда смотришь на восток с высоты Фанжо. К западу от Фанжо холмы превращаются в простые спуски, а пейзаж совсем теряет свой средиземноморский облик и становится тулузским.

В самом Каркассоне пейзаж занимает промежуточное положение между средиземноморским и тулузским. Между голыми холмами все еще можно увидеть оливу, но уже реже, чем на средиземноморской стороне, и (как и в Тулузене) зерновые поля начинают чередоваться с виноградниками.

Тулузен, хотя и является полностью южной страной, отличается от средиземноморских склонов. Прежде всего, это не просто полоса земли между морем и горами, а широкое, веерообразное расположение долин, проходящих в непосредственной близости от Тулузы, и

разделенных лишь хребтами или понижениями, правильными по очертаниям и не имеющими большой высоты. Как и на средиземноморской стороне, земля тщательно и интенсивно обрабатывается, но все же здесь можно увидеть больше деревьев и кустарников, растущих свободно, хотя и не так много, как в Северной и Центральной Франции. Тип культивации также отличается. Больше не встретишь оливы, а виноградники уступают место зерновым полям. Кроме того, возделываются не только долины, но и плоские или пологие вершины гор.

Хотя люди те же, их дома отличаются от средиземноморских тем, что их материал - кирпич. Действительно, в Тулузене не встретишь скальных массивов, а куски камня в больших зданиях привозят из-за пределов района.

Несмотря на эти физические различия между странами, мужчины трех регионов обладают собственным характером. Северный француз скажет вам, что они шумны и хвастливы, любят украшения и всевозможные демонстрации, больше подходят для политики, чем для солдатской службы. И все же и Жоффри, и Фош - выходцы с Пиренеев. Конечно, кожа южного француза темнее, а речь не совсем такая, как у северянина; она ближе к старой латинской речи, поскольку и гасконцы, и провансальцы вслед за итальянцами и испанцами сохранили великие широкие гласные, которые делают южные языки особенно приспособленными для песен. В раннем Средневековье на этом их языке, *langue d'oc*, говорили вплоть до Женевы на востоке и Пуату на западе (первый известный нам трубадур был графом из Пуатье, недалеко от центральной Луары), но королевская провинция, названная впоследствии Лангедоком, была гораздо меньше и включала, по сути, только земли, уже отмеченные как театр Альбигенской войны.

Цивилизация там была очень древней. Еще до начала письменной истории, когда Рим был неясной деревней, берега Средиземноморья уже были покрыты высокоорганизованными маленькими городами-государствами, построенными из прочного камня, обладающими правом, пластическим искусством и интенсивным местным патриотизмом. Галльское побережье Средиземного моря стало одной из самых ранних римских провинций. Оно уже было таковым более полувека, когда Сезар, обремененный долгами, но полный амбиций, начал те походы на север, которые должны были сделать цивилизацию не столько средиземноморской, сколько европейской. Школьник помнит, как в "Комментариях" постоянно говорится о призыве кавалерии из "Толосы и Нарбона". Эту страну стали называть "Провинцией", *par excellence*; название сохранилось в современном слове "Прованс".

Кстати, интересно отметить, что "Провинция" не ограничивалась землями Средиземноморья. Едва заняв их, римляне двинулись дальше, через Каркассонскую брешь, седловину между Севенами и Пиренеями, где сегодня проходят железная дорога и канал. Они заняли верхнюю часть Гаронны, как тогда, так и сейчас, с центром в Тулузе как главном городе, и соединили ее для управления со средиземноморской прибрежной равниной от Роны до Пиренеев.

Этот порядок, просуществовав пятьсот лет при римлянах, вновь появляется в Темные века при графах Тулузских и, сначала при них, а затем при королях Франции, сохраняется еще восемьсот лет. Удивительно видеть, насколько близко римское административное деление под названием "Нарбоненсис Прима" 100 года до н. э. соответствует провинции Лангедок французской монархии 1790 года.

Везде, куда бы ни ступала нога Рима, он накладывал на землю печать своей постоянной формы. Но нигде, за пределами самой Италии, она, кажется, не "романизировалась" более основательно, чем в "Провинции". До сих пор "берега долины Роны... хранят большую массу

имперских останков, чем сам город [Рим]"[5], а в церквях Тулузы можно увидеть круглые арки и маленькие римские кирпичи.

Когда империя стала христианской, Тулуза, как и по сей день, группировалась вокруг своего муниципального здания, "Капитолия". Это здание и площадь Капитолия по-прежнему занимают центральное место в городе. Церкви Тулузы вписаны в план города как бы последовательно. Они не доминируют над всем, как соборы в старых городах Северной Франции, как Нотр-Дам, должно быть, доминировал в средневековом Париже. Это различие в градостроительстве[6], похоже, сопровождается большей преемственностью в муниципальных институтах: средневековая Тулуза называла своих главных магистратов "консулами".

В эпоху упадка, когда римские вспомогательные войска вели свои бесцельные гражданские войны (подобно тому, как если бы современные "колониальные войска" стали доминировать в армиях и назначать своих европеизированных лидеров главнокомандующими), Тулуза некоторое время была столицей одного из их переменчивых суверенитетов - вестготов, чья власть, в период своего наивысшего могущества, простиралась от Луары и Альп вплоть до Гибралтара. Через несколько лет другая небольшая группа вспомогательных войск, франки, разгромила вестготов, вытеснила их из юго-западной Галлии вплоть до Пиренеев и взяла Тулузу. Но хотя франкские вожди время от времени совершали грабительские набеги на саму Испанию, им так и не удалось вытеснить готов с прибрежной равнины от Роны до восточных Пиренеев. Так обстояли дела, когда на Европу обрушился первый из трех великих бичей Темных веков - магометанские сарацины.

В своем первом набеге на север из Испании магометане пронеслись по средиземноморской прибрежной равнине. Нарбонна оказала им сопротивление и подверглась жестокой резне, но некоторые города, похоже, сдались (как и многие испанские города) при условии соблюдения их законов. Вестготское государство было хлипким. Та часть Галлии, которая покорилась сарацинам, почти полностью соответствовала той, которую удерживали готы. В Каркассоне, Безье, Агде, Магелоне, Лодеве и Нисме стояли магометанские гарнизоны. К востоку от Роны они вышли за пределы готских границ и в течение трех-четырех лет, опираясь на поддержку местных повстанцев, удерживали Арль и Авиньон.

Тулузу они так и не смогли взять. Однажды они совершили набег вверх по Роне и Саоне и сожгли Аутун, но, оставив Тулузу в руках христиан, они не могли надеяться на то, что смогут много сделать в центральной части долины Роны. Именно успешная оборона Тулузы, равно как и победа Карла Мартела, пресекла их величайшие усилия в знакомом 732 году. Перейдя через западно-центральные Пиренеи, они повернули на северо-восток, чтобы атаковать Тулузу, вынужденные (подобно Веллингтону в 1814 году) расправиться с таким центром населения и коммуникаций, чтобы обезопасить свой правый фланг для продвижения на север. Поэтому, когда Тулуза устояла, их удар, взявший Бордо и потерпевший неудачу при Карле Мартеле под Пуатье, был уже не регулярной кампанией, а всего лишь грабительским набегом большого масштаба.

На сопротивлении Тулузы магометанским нашествиям стоит остановиться, чтобы подчеркнуть важность этого города. Но хотя неверный не смог взять Тулузу, он удерживал Нарбонну, расположенную в восьмидесяти милях от нее, в течение сорока лет. В Сарагоссе он пробыл чуть более четырехсот лет, до 1119 года, а Сарагосса, великий город и центр дорог к югу от Пиренеев (соответствующий Тулузе к северу от них), находится всего в 250 милях от Тулузы по полету ворона. Иногда из любого города можно увидеть гребень горной цепи. Эти два города противостояли друг другу: Тулуза - несокрушимый стержень христианской

обороны, Сарагосса - бастион долгой, но в итоге безуспешной обороны ислама. Примерно столько же времени, сколько отделяет американцев 1920 года от смерти Христофора Колумба, Сарагосса стояла за Азию перед лицом христианской Европы.

Естественно, Лангедок всячески ощущал на себе мусульманское влияние. Два других врага Темных веков, викинги и мадьяры, появлялись и опустошали страну, но не оставляли после себя никаких следов, кроме руин. Один из трех магометан долго оставался рядом, и он отличался от двух других тем, что знал, что города предназначены не только для того, чтобы в них жить, но и для того, чтобы их сжигать, а также тем, что у него были свои идеи. Постоянно воевать с ним было слишком хлопотно, и в мирное время его идеи просачивались через границу, на север и на юг. Вслед за ним, как водится, пришел и еврей; уже в начале VIII века архиепископ Лиона был обеспокоен "агрессивным процветанием" евреев в Южной Галлии.

Напрасно мы спрашиваем себя, сколько от всех этих войн и грабежей осталось институтов страны, и насколько они были разрушены. Позже мы видим, что города управляются выборными магистратами под именем "консулов", в то время как аналогичные магистраты во французских городах за пределами Лангедока носят другие титулы. На первый взгляд, это говорит о том, что римская муниципальная организация сохранилась. Но так ли это на самом деле, мы сказать не можем. Весомое мнение Брутайса говорит против идеи преемственности. Он указывает на то, что в Руссильоне до нас не дошло ни одного документа, подтверждающего право собственности до магометанского нашествия. Он напоминает, что отец и дед Карла Великого, изгнав сарацин, разграбили страну с не меньшим усердием, чем любой неверующий. Тем не менее, Руссильон, о котором он пишет, был последним плацдармом сарацин в Галлии, тогда как Тулуза, как мы видели, никогда не принадлежала им. Поэтому вопрос остается сомнительным.

Внезапный подъем одиннадцатого века из сонных Темных веков в настоящее Средневековье показывает нам графов Тулузы среди величайших лордов Европы. Должность стала наследственной примерно в середине девятого века, в то же время, что и многие имперские должности. Граф Раймонд IV, шестой по счету от первого графа, передавшего Тулузу своему сыну, был самым богатым из вождей, принявших крест в Первом крестовом походе. Между "провансальскими" южанами и северофранцузами, которых по-прежнему называли просто "французами", уже существовали недобрые чувства, по крайней мере со стороны последних. Один "французский" летописец, похоже, объединяет бургундцев, овернцев, гасконцев и "готов" (то есть людей с прибрежной равнины Роны и Пиренеев) под именем "провансальцев" и говорит, что они прекрасно умели выискивать продукты и, соответственно, были очень полезны во время голода, но у них было мало живота для сражений. Антагонизм показателен. Был ли он оправдан или нет - другой вопрос; обвинение в трусости не находит четкого отражения в записях о боевых действиях и, похоже, не повлияло на положение Раймонда. Можно предположить, что в такую эпоху его богатство не позволило бы ему войти в полудюжину лидеров крестового похода, если бы его провансальцы XI века действительно были отъявленными трусами. Конечно, предубеждение северофранцузов против "меридионального" солдата сохранилось и по сей день.

Еще до появления графов Тулузских как одной из богатейших семей Европы мы можем проследить начало поэзии трубадуров. Это, пожалуй, самый заметный вклад земель, ныне являющихся южной Францией, в мировую историю. Слово "трубадур" сегодня означает поэта лирической любви.

Двенадцатый век был его золотым веком, хотя мы можем услышать его ноты, начинающиеся в одиннадцатом и угасающие в тринадцатом.

Языком поэзии трубадуров был "langue d'oc" (в отличие от северофранцузского "langue d'oïl" или "langue d'oui"). На нем говорили на территории, гораздо более обширной, чем позднее провинция Лангедок. Так, трубадуры жили в центральном горном массиве Оверни и на широкой атлантической прибрежной равнине от Пиренеев до Луары. Тем не менее Тулуза оставалась его центром.

Первое, что бросается в глаза читателям, - это знакомость многих ритмов. Греческие и латинские классические ритмы приходится заучивать. Песнь о Роланде, при всей ее силе, непривычна для современного уха. А вот поэзия трубадуров спустя семь веков поет так, словно была написана вчера, в таких строфах, как эта у Бернара де Вентадура: - "Quan la douss avadour".

"Quan la douss avra venta

Deves vostre pais

M'es vejaire qu'ev senta

Odor de paradis".

Несмотря на английский пустой стих XVI века, несмотря на жалкие попытки современной команды "свободных версификаторов" невежественно вернуться к нерифмованным ритмам, которые знали древние, несмотря на все это, я утверждаю, что провансальская строфа, с ее рифмой и регулярными ударениями, по-прежнему представляет собой именно тот вид лирического ритма, который мы используем. Что касается формы стиха, то трубадуры, вне всякого сомнения, были первыми из современных поэтов по легкому мастерству и разнообразию их мер, некоторые из которых были простыми, а некоторые такими же сложными, как и все когда-либо написанные стихи. Данте почитал их на втором месте после Вергилия.

Для нас важнее всего то, какую картину они дают о своем обществе. Прежде всего, они представляют, что главной целью мужчины является поклонение женщине. В прошлой главе мы видели, что феминизм в религии, то есть культ Девы Марии, был одной из главных страстей двенадцатого века. В Италии в конце XIII века поэты переплели любовь с философией, как до них это сделали платоники. Трубадуры вообще не занимались философией и мало интересовались религией. То тут, то там они привносят религию в качестве соуса, чтобы придать более пикантный вкус своей любви к даме, совсем как наши современные декаденты. Так, поэт может заявить, что любит свою даму "больше, чем Бог любит Богоматерь из Пюи-де-Дом". Кстати, преданность поэтов почти всегда связана с чьей-то женой.

Главное во всей этой "учливой любви" то, что она безошибочно можно назвать самой культурной и цивилизованной из всех, что были с тех пор, как уснул Рим.

Кроме того, появление поэзии трубадуров в Южной Галлии - еще один факт, доказывающий, что Темные века были не убийством, а сном. Глупые историки прошлого поколения, приписывавшие энергичность и рыцарскую романтику Средневековья вливанию "тевтонской" крови, получили крепкий удар, когда Беллок[7] заметил, что после Темных веков сравнительно высокая цивилизация, выразившаяся в поэзии, полной "романтической" идеализации женщины, возникла именно в одном из районов, наименее пострадавших от горсток варварских вспомогательных войск в пятом и шестом веках. Душа Европы не была

вылеплена заново варварами северных лесов. Эта душа засыпала, так сказать, от усталости, а потом, выпавшись, просыпалась и пела.

Придворная мода, заложенная трубадурами, распространилась по всему христианству. Действительно, она стала характерной чертой позднего двенадцатого века, как мы видели в последней главе. У Трейчке есть интересный отрывок о "рыцарском, изысканном" времени Гогенштауфенов в Германии, "веке галантности и миннезингеров, совершенно отчетливо женственном в своей всеобщей попытке украсить себя женскими грациями"[8], в отличие от более сурового времени, которое ему предшествовало. Но то, что новая мода так быстро стала европейской, не должно ослеплять нас тем фактом, что она началась в Лангедоке. Поэзия трубадуров получила полное развитие уже при Вильгельме графе Пуатье и герцоге Аквитанском, который родился в 1071 году. Первый король Гогенштауфенов правил Германией только в 1138 году, и именно внучка графа Вильгельма Элеонора, королева Генриха II, впервые привезла культивирование Прованса в Англию примерно в середине двенадцатого века.

Однако даже в трубадурах почти дикость Темных веков была лишь наложена, но не уничтожена. Порой в них вспыхивали яркие воспоминания о времени, одновременно слабым и грубым. Один поэт, тот самый Сорделло, чье имя Данте и Браунинг объединили, чтобы сохранить жизнь, воспевая смерть храброго рыцаря, дружелюбно предлагает длинному списку трусливых принцев съесть сердце мертвеца, чтобы улучшить их мужество! Эта идея была знакома нашим краснокожим индейцам.

К сожалению, как показали события, их общество, которое все еще сохраняло что-то от основного духа дикаря, теряло дух солдата. Это утверждение нуждается в уточнении, особенно в случае с одним из величайших трубадуров, Бертраном де Борном, который никогда не был счастлив без драки, если только он не рифмовал о ней. Но, хотя он и был ярким исключением, он был всего лишь исключением. Даже если бы не сохранилось ничего из поэзии трубадуров, мы могли бы доказать, что "провансалец" был менее воинственным, чем северофранцуз или даже чем большинство христиан того времени, тем фактом, что местные войны приходилось вести с большей долей наемников, чем в других местах; настолько большой, что их бродячие банды стали серьезной "социальной проблемой", как мы увидим. Даже если предположить, что высокая доля наемников объясняется богатством Лангедока, все равно нам трудно представить себе героя песен или рассказов двенадцатого века за пределами Прованса, который бы настолько погрузился в дневные грезы о своей возлюбленной, чтобы попасть в плен к своим врагам, как Аукассин в "Аукассине и Николетте", не нанеся при этом ни одного удара в свою защиту.

Свидетельства богатства и утонченности этого культурного и невоинственного общества не ограничиваются письменными отчетами летописцев и поэтов. Их здания свидетельствуют о том же. По широте композиции и изяществу деталей портики таких церквей, как Сен-Трофим в Арле или великая церковь Сен-Жиль, не имеют себе равных в романском стиле. Часто их детали в точности соответствуют античному миру, на который они оглядывались через промежуточные низины Темных веков.

Кроме того, мы видели, что общество, для которого пели трубадуры, было близко к мусульманскому, и его двигали азиатские по своему происхождению течения, как мусульманские, так и еврейские. Там свободно обращались мусульманские монеты. Этот факт подтверждается не только научными трудами, но и такими неосознанными свидетельствами, как, например, фраза одного трубадура: "...

"... Как ребенок, которого человек заставляет перестать плакать с помощью "маработина"..."

Поэт не считает нужным останавливаться и объяснять, что маработин - это мавританский пенни, и, будучи бессознательным, его свидетельство не может быть оспорено. Если в Болонье изучали право, а в Париже - теологию, то в Лангедоке, в его величайшем университете, Монпелье, изучали медицину. Этот факт еще раз доказывает ее общение с "пайнимами", ведь общепринято, что арабы Испании были великими врачами Средневековья. Сарацинские рабы и негры, привезенные сарацинами из Африки в качестве рабов, продолжали содержаться там спустя столетия после того, как рабство исчезло во всем христианстве. Что касается евреев, то их было так много и они занимали столь видное место, что некоторые летописцы называли Лангедок "Иудеей секунда".

Было бы странно, если бы в таком обществе не действовали различные силы, направленные против Церкви. Из Лангедока XII века до нас не дошло ни одного столь дерзкого слова, как от Генриха II Английского, когда он в гневе на Бекета пригрозил перейти в мусульманство. А Генрих был наполовину аквитанцем, то есть юго-западным французом, по крови. Все враждебные Церкви силы действовали на Юге. Именно Юг оставил нам вспышку Аукассина: "Что мне до рая?"

"Что мне делать в раю? Я не хочу туда идти, если только у меня не будет Никоветты, моей милой подруги, которую я так люблю. В рай попадают только те люди, о которых я вам расскажу. Туда попадают старые священники, старые калеки и увечные, которые весь день и всю ночь скрючиваются перед алтарями и в старых склепах, одетые в старые изношенные плащи и старые рваные лохмотья, голые, безногие и болезненные, умирающие от голода, нужды и страданий. Они попадают в рай; с ними мне нечего делать. А вот в Ад я готов пойти, ибо в Ад идут и прекрасные ученые, и прекрасные рыцари, которые умирают на турнирах и в славных войнах, и добрые воины, и хорошо рожденные. С ними я пойду с радостью. Туда же отправляются и прекрасные учтивые дамы, у которых есть две или три подруги помимо их господ. И золото, и серебро идут туда, и горностаи, и соболя; и арфисты, и жонглеры, и короли мира. С ними я пойду, только бы со мной была Никоветта, моя милая подруга"^[9].

Понятно, что идея "рая для климата и ада для компании" не нова. Сам Ницше нигде не выразил ее лучше. И, пожалуй, знаменательно, что из всей этой блестящей компании служителей похоти плоти, похоти очей и гордости житейской в первую очередь выходят церковники - "тонкие ученые".

Конечно, все эти вещи не являются ересью. С точки зрения логики все могло бы закончиться простым отрицанием. Эти непостоянные южане с их завистью к богатствам Церкви и презрением, часто вполне заслуженным, к ее служителям - вместо того чтобы сказать, как большинство христиан: "Чем делать то-то и то-то, я бы стал евреем", они говорили: "Я бы предпочел быть священником", - могли бы идти своей дорогой, не беспокоясь о вещах не от мира сего. Тем не менее они жили в эпоху, которая почти не воспринимала природу и ее тайны всерьез, настолько ее мыслители были поглощены природой Бога и человека и их отношениями друг с другом. Потусторонний мир сверхъестественного был для них таким же реальным и ярким, как и для пуритан Новой Англии. Независимо от их собственного темперамента, течения их времени уносили их прочь от секуляризма и простого отрицания.

Как и практически все острые и яркие времена, двенадцатый век был полон религиозных дебатов. Среди ученых дискуссия в значительной степени касалась философии. Умозрительные и трансцендентные доктрины Церкви могли быть поставлены под сомнение. Таким образом, ересь, то есть религиозное заблуждение среди тех, кто называл себя христианами, могла возникнуть в результате интеллектуальных рассуждений на

интеллектуальные и философские темы. Таким образом, ранняя Церковь в эпоху Империи, предшествовавшую Темным векам, считала ересь прежде всего ошибочными рассуждениями. Но богословие и мораль не разделены и никогда не могут быть разделены. Сама идея их возможного разделения могла возникнуть только в эпоху, настолько увлеченную "наблюдениями", что презирала разум. Теология и мораль - просто взаимонеобходимые разные стороны религии, поэтому следует, что спекулятивные еретики, как правило, становились моральными еретиками. В Средние века, как мы уже видели, ученые всегда состояли во второстепенных орденах. По крайней мере, за пределами Италии ученые еретики были редкостью. Поэтому большое количество спекулятивных и близких к ним ересей могло существовать и существовало, не причиняя особого вреда Церкви как институту. Ученый, преступивший авторитет в отношении какого-либо пункта веры, конечно, наказывался, но его наказание было лишь вопросом внутренней церковной дисциплины, о которой "широкая публика" обычно мало что знала или заботилась.

Совсем другое дело, когда раскольник, не ограничиваясь философией, шел дальше и делал следующий логический шаг - "будоражил народ", нападая не только на доктрину Церкви, но и на нравственное поведение ее служителей. Сегодня, когда человек нападает на идею собственности как таковую, мы улыбаемся. Но когда он нападает на чрезмерное неравенство в ее распределении, это уже серьезнее, потому что, какими бы ложными ни были некоторые из его выводов, часть его основной предпосылки неоспоримо верна. Так и в двенадцатом веке Церковь осознала, что ее богатство открыто для зависти, а дурное поведение многих ее служителей вызывает скандал. Ее истинные лидеры, те, кто наиболее ревностно заботился о ее чести, потратили много сил на то, чтобы добиться более широкого распространения морали в рядах ее собственного духовенства, точно так же, как сегодня тем, кто верит в идею частной собственности, не мешало бы поработать над ее более широким распространением. Соответственно, ересь в Средние века, хотя и неизбежно возникала, как и всякая ересь, в спекуляциях, основывала свою пропаганду на моральном протесте.

Неутомимый Леа составил длинный список проповедников, которые то и дело выступали против богатства и пороков духовенства. Иногда они выступали против грубого злоупотребления христианскими символами как склонного к идолопоклонству. Иногда они учили, что таинства не имеют силы, если их совершает священник, не освобожденный от смертного греха. Эта идея, как бы сильно она ни взывала к естественному чувству, была абсолютно анархичной. Например, брак был таинством и, следовательно, полностью находился в руках Церкви, а гражданский брак был неизвестен. Что за прелесть, если брак может быть признан недействительным, если обнаружится, неважно, через сколько лет, что священник был в состоянии смертного греха, когда совершал церемонию! Сегодня мы знаем, насколько широка "ничья земля" между деструктивными и конструктивными реформами. Мы знакомы с типичным шумным евангелистом, чьей основной профессией является оскорбление устоявшихся церквей. Крикуны начала двенадцатого века выступали в роли одиночек, как наш Билли Сандей и его соплеменники. Их бурная карьера не оставила особых следов. В лучшем случае они привели в движение общую критику богатства и гордости Церкви по сравнению с бедностью ее основателя и смирением, которому она учила.

Через некоторое время эти спорадические реформаторы, каждый из которых создавал свой собственный маленький водоворот или вихрь, стали сливаться в различные течения, каждое из которых текло в определенном направлении. В третьем десятилетии века мы начинаем слышать о "вальденсах", членах религиозного объединения, названного так по имени его основателя Вальдо, богатого, но неученого купца из Лиона. Вальденсы начали с реформы, а закончили ересью. О них можно услышать в основном в Лангедоке, на северо-востоке Испании и в Ломбардии. Они были слабо организованы, поэтому их учение было разным; но в целом они ценили букву Евангелия и сводили к минимуму различия между духовенством и мирянами. Они перевели Писание на жаргон, ревностно читали его и неукоснительно соблюдали заповеди, запрещающие ложь и клятвы любого рода. Запрет даже на "белую" ложь, конечно, достаточно безобиден, хотя, если довести его до крайности, он приобретает характер невозможности и эксцентричности, которых Католическая церковь всегда избегала. Но в обществе, скрепленном феодальной клятвой верности, утверждение, что христианин не должен давать никаких клятв, пахивает нигилизмом и анархией. Так же и вальденсовское расширение функций мирян. Если допустить, что даже в те времена было бы разумно расширить роль мирян в деле христианского учения, то все равно от вальденсовской идеи, что "любой добрый человек" может совершать таинства, нельзя было ожидать ничего, кроме вредных нарушений. Например, возьмем их практику исповеди мирянину. Личная и частная исповедь дает тому, кто ее слышит, огромную силу для добра или зла в семьях и общинах. Если его тайна не может быть гарантирована самыми сильными средствами, мы должны признать (независимо от нашего отношения к исповеди в целом), что это опасно. Кроме того, вальденсы, похоже, пошли дальше даже квакеров, поскольку у них были сомнения в моральном праве судей наказывать. Тем не менее, вальденсиянство имело значительный импульс.

Сначала они упорно утверждали, что являются добрыми католиками и пришли не разрушать, а исполнять. После того как архиепископ Лиона запретил им проповедовать, они смело обратились к Латеранскому собору 1179 года. Когда этот собор запретил им проповедовать без разрешения местного епископа, наступил переломный момент. Вальдо, их лидер, предпочел собственное частное мнение послушанию официальной власти и отказался подчиниться решению Собора. В фразе, которую многие использовали впоследствии, он сказал, что предпочитает повиноваться Богу, а не человеку.

Тем не менее они не спешили полностью порвать с Церковью. Только в 1184 году, через пять лет после Собора, папа Луций III окончательно отлучил их от Церкви. Это было сделано на Веронском соборе, о котором мы еще услышим. Уже тогда иногда проводилось различие между ними и более пагубными формами ереси. Тот факт, что в 1218 году, на девятом году Альбигойского крестового похода, в Бергамо собрался своего рода Вальденский собор, включавший делегатов с севера и запада от Альп, может служить доказательством покладистого отношения к ним властей. Сегодня протестанты с любовью вспоминают, что их провансальский перевод Писания, или, по крайней мере, Нового Завета, был первым переводом Библии на простонародные языки Западной Европы, а воинствующий римский католик может сказать об их системе лишь то, что это была "тусклая деградация религии"^[10] Но "тусклая деградация" не порождает великих войн вроде Альбигойского крестового похода или великих систем преследования вроде созданной после него инквизиции. Со своей стороны я убежден, что, если бы вальденсы были единственным еретическим телом на местах, не было бы ни крестового похода против ереси, ни, возможно, инквизиции.

Движение, вызвавшее такое сопротивление со стороны тех, кто повторял древнее вероучение Европы, было иного рода. С негативной стороны оно повторяло те же обвинения,

которые выдвигались против Церкви отдельными еретиками и вальденсами, причем повторяло их настолько точно, что некоторые поверхностные протестантские ученые в свое время утверждали, что это был не более чем протест против римских злоупотреблений. Даже Лимборх, чья образованность заставляет его признать, что это было нечто большее, наивно замечает об их гениальном обычае уморить себя голодом в качестве наивысшего возможного акта веры: "...

"Скорее стоит удивляться, что в столь варварский век они отбросили столько заблуждений, чем тому, что они сохранили некоторые"[11]. Теперь кажется несомненным, что это движение основывалось на философии, в корне враждебной христианству и тошнотворной для нас, которые не дышали другим воздухом, кроме воздуха христианства.

Прежде чем рассматривать природу этой философии и ее логическое развитие в сфере морали, давайте откажемся от различных имен, которыми ее называли современные ученые, и назовем ее "альбигойским" движением. Правда, "манихейское", "неоманихейское" и "катарское" (по привычке секты называть себя "катарами" или "чистыми") - более описательны. Слово "альбигойцы" санкционировано обычаем, а обычай должен преобладать над благородством педанта.

Нехристианское вероучение "альбигойцев" начало просачиваться в Западную Европу вскоре после 1000 года. Оно было очень старым, так как представляло собой один из немногих принципиально иных взглядов на жизнь, и, вероятно, оно будет нерушимо, пока существует мир. Ее центральная идея заключается в том, что Вселенная двойственна и была создана двумя богами, или, если хотите, двумя принципами, примерно равными по силе, - Добром и Злом. Попытка примирить эту идею с христианством столь же стара, как и Манес, живший в Месопотамии в третьем веке и основавший еретическую секту манихеев. После Манеса, в самом начале истории, мы находим персов с дуалистической религией, которую они приписывали теневому пророку Зороастру, или Заратустре. Сегодня на ум приходят три ярких примера ее выживания. Во-первых, дуализм с его презрением к материи как к злу по своей сути находится недалеко от "Христианской науки" миссис Эдди. Во-вторых, в 1909 году Пол Элмер Мор, один из выдающихся американских ученых и критиков, который мог бы войти в число великих критиков всех времен, если бы не обладал даром яркого выражения, опубликовал книгу "Исследования дуализма", на титульной странице которой приводится следующая цитата из другого достойного современника, сэра Лесли Стивена: - "Манихейство можно разоблачить.

"От манихейства можно отречься на словах. Его нельзя изгнать из реальной веры человечества"[12].

В-третьих, в 1917 году, под влиянием войны, Г. Г. Уэллс (которого я не решаюсь назвать своего рода прозаическим Шелли, "тщетно бьющим в пустоте своими светлыми крыльями", или золотой арфой, на которой может играть почти любой попутный ветер доктрины) так излагает мысли своего воображаемого англичанина, оплакивающего смерть своего сына-солдата: - "Его мысли уносились вдаль.

"Его разум снова вернулся к древним ересям гностиков и манихеев, которые считали Бога мира абсолютным злом. На какое-то время его душа погрузилась в непроглядную тьму этих верований отчаяния.....

"Неужели вся схема природы - зло? Неужели жизнь по своей сути жестока?"[13]

Спешу добавить, что манихеи, вслед за малоизвестными гностиками, сделали материю злым принципом в природе, в противоположность духу, принципу добра.

Мы видели, что эта идея пришла с Востока. Сам Манес, еще в третьем веке, был месопотамцем, а в четвертом веке его ученики, похоже, были широко распространены от Персии до Атлантики. Их ненавидели. "Только манихеи и математики (то есть колдуны) были исключены из общей веротерпимости Валентиниана в четвертом веке."^[14] Они вновь появляются под именем паулианцев в Восточной Римской империи в десятом веке, а затем переходят в Болгарию. Позже в Западной Европе их часто называли булгарами, "буграми" или "баггерами". Из Болгарии они распространились на запад, на территорию нынешней Боснии, а из Боснии - на запад, в Северную Италию. К середине одиннадцатого века они были многочисленны и влиятельны по всей Ломбардии и особенно в Милане.

Ли предполагает, что без импульса, который эти люди давали крайнему аскетизму, и особенно их презрения к браку, папа Григорий VII не смог бы добиться выполнения своих указов, запрещающих браки священников, в Северной Италии.

"Вернон Ли"^[15] приводит... "очень любопытный анекдот, раскопанный эрудированным церковным историком Токко и помещенный в его чрезвычайно интересной книге о средневековых ересьях. Некий миланский священник стал настолько почитаем за свою святость и образованность, а также за чудесные исцеления, которые он совершал, что народ настоял на том, чтобы похоронить его перед главным алтарем и прибегать к его могиле, как к могиле святого. После смерти святой стал еще более несомненным святым, а перед лицом чудес, творимых его заступничеством, возникла необходимость приступить к его беатификации. Церковь уже собиралась установить его чудесную святость, как вдруг в ходе официального сбора необходимой информации выяснилось, что предполагаемый святой - еретик-манихей, *катар*, верующий в нечестивого Демидурга, творящего сатану, поражение духовного Бога и бесполезность пришествия Христа. Вполне вероятно, что он плюнул на распятие как на символ торжества дьявола; вполне возможно, что он совершил мессы в честь Сатаны как истинного творца всей материи. Как бы то ни было, полуистлевшие кости священника были публично сожжены, а их пепел развеян по ветру. Этот анекдот показывает, что манихейские ереси, одни аскетичные и нежные, другие жестокие и нечистые, проникли в самые святые места. И действительно, если вдуматься, уже не удивляясь столь необычному откровению, христианство во второй раз рисковало стать дуалистической религией - религией, подобно некоторым своим азиатским соперникам, пессимизма, трансцендентно духовной или цинично низменной в зависимости от конкретного верующего. Неудивительно, что такие взгляды, идентичные взглядам трансцендентальных теологов IV века и эквивалентные философскому пессимизму наших дней, в частности, изложенному Шопенгауэром, должны были найти поддержку среди лучших и наиболее вдумчивых людей раннего Средневековья. В те суровые и свирепые, но нежные и сомневающиеся времена, должно быть, было что-то логически удовлетворительное, а также удовлетворяющее измученные симпатии, в убеждении, если не в догме, что душа человека не была создана создателем мерзкого и жестокого мира материи; и что страдания всех добрых человеческих сердец соответствовали страданиям, унижению таинственно свергнутого Бога Духа. И какой свет, должно быть, пролила, полностью разрешив все ужасные вопросы, история мученичества Христа, столь постоянно занимавшая мысли и чувства средневековых людей!"

Тот же автор, отмечая, что итальянская скульптура двенадцатого века (или, как она выражается, дофранцисканского периода) кажется нарочито безнадежной, отталкивающей

и ужасной, далее утверждает, что "кошмарный пессимизм пропитал итальянский ум двенадцатого века". О том, насколько неопределенным было популярное различие между ортодоксальным и еретическим аскетизмом, свидетельствуют многие юмористически-патетические истории, подобные истории миланского священника. Каким было это различие на самом деле, вполне возможно, будет рассмотрено позже в связи с доминиканским орденом.

Человек европейского происхождения не может не задаваться вопросом, почему любой христианский народ, особенно переменчивые провансальцы, мог принять столь дикое вероучение. Возможно, людей, готовых "...перепрыгнуть грядущую жизнь", привлекла бы моральная свобода, которую альбигойские "верующие" допускали при жизни, и они, тем временем, изгнали бы мысль о смерти, как это делают многие современные люди, или же надеялись бы получить "утешение" даже при последнем вздохе. Но это лишь предположения. Что несомненно, так это то, что секта процветала.

Мы видели, что средневековье, хотя и слабее нас в наблюдении за природой, сильнее верило в логику, а значит, смелее применяло формально обоснованные, логические, жизненные идеи. Соответственно, те из них, кто был одержим дуалистической идеей, доходили до всевозможных совершенно логических крайностей в проявлении своей ненависти и презрения к материи.

Таким образом, их полностью посвященные члены, или "Совершенные", поклялись никогда не есть мясо, яйца, молоко, сыр или что-либо, что является результатом полового размножения. Рыба была разрешена, потому что они считали, что рыба не размножается путем слияния самца и самки! Употребление в пищу любых продуктов, полученных от теплокровного животного, могло быть убийством, поскольку они верили в переселение душ, а значит, такое животное могло быть местом обитания человеческой души. Это, опять же, было совершенно логично; возрождение после смерти в другом теле было, согласно этой теологии, правильным и необходимым наказанием за грех. Все половые акты, которые могли бы привести к появлению потомства, были запрещены для "Совершенных"; они должны были очистить себя постами и сложными церемониями, если бы даже случайно прикоснулись к женщине. Размножение человеческих существ с их греховными, материальными телами, несомненно, было худшим из преступлений. Поэтому "Совершенные" иногда говорили беременной женщине, что в ней сидит дьявол. Брак был вечным состоянием греха; он был хуже прелюбодеяния и блуда, потому что женатые не испытывали стыда и, следовательно, чаще продолжали сожительство. Даже шептали, что, подобно тому как внебрачные половые связи лучше половых связей между женатыми людьми, потому что женатые не испытывают стыда, так и любая неестественная форма совокупления, от которой невозможно зачать детей, лучше естественного сожительства. И наконец, ужасным и совершенно логичным завершением всего этого было то, что самоубийство - это поступок, который больше всех других угоден Богу.

Одно из обвинений против секты состояло в том, что исповедуемая ими ненависть к жизни и ее удовольствиям сопровождалась беспорядочными сексуальными оргиями. В подобных обвинениях нет ничего неправдоподобного: они относились к отдельным еретическим течениям с самых ранних христианских времен до Распутина и некоторых современных русских сект. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что подобные сексуальные оргии когда-либо регулярно практиковались или официально поощрялись сектой. Весомые свидетельства скорее доказывают их крайний аскетизм, из которого, естественно, вытекали эпизодические эксцессы самообольщения со стороны "слабых братьев".

Естественно, что при таком *режиме, какой был* установлен для них, альбигойцев "Совершенных" было мало. Секта пополняла свою численность за счет "верующих", которые принимались в секту по одному лишь обещанию отречься от католической веры и принять альбигойское "Consolamentum" или посвящение "Совершенных", хотя бы в час смерти, как многие первые христиане принимали крещение. Жизнь "верующих" была столь же необузданной, сколь и строгой у "совершенных". Кроме "почитания" или почитания "Совершенных" в соответствии с определенными предписанными формами и церемониями, когда они встречались, их религия, похоже, не накладывала на них никаких предписанных обязанностей. Им разрешалось жениться и есть мясо. Конечно, они не могли быть окончательно спасены без прохождения "Консоламентума", и, когда он был получен, челюсти системы сомкнулись на них с такой необычайной жестокостью, что мы содрогаяемся при виде этого, как содрогаяемся при виде ярких ужасов, воображаемых По. Но эта уродливая возможность была ничтожна по сравнению с легким отсутствием какого-либо морального кодекса для повседневной жизни. Очевидно, что альбигойство стремилось удовлетворить любой вкус.

Если мы спросим, почему такая жизнь, как жизнь альбигойского "Совершенного", когда-либо привлекала кого-либо, мы должны сделать еще один шаг назад и спросить, почему аскетизм, лишения ради них самих, всегда имел такую власть над человечеством. Это одна из неразрешимых загадок человеческой души, почему люди так часто чувствовали, что их Бог или боги были бы рады видеть, как их поклонник добровольно подчиняется лишениям, дискомфорту и боли. Утверждается, что ограничение в удовольствиях необходимо для физического, умственного и духовного благополучия и что аскетизм (это слово происходит от тренировок греческих атлетов) просто освобождает человека для безраздельного труда. Но это не соответствует действительности. Дело в том, что в человеке всегда присутствует тенденция осуждать удовольствие ради него самого, как зло само по себе, как будто в самом состоянии лишения или дискомфорта есть что-то святое. И это любопытное состояние ума в наши дни так же сильно, как и раньше. Свидетельство тому - необычайная жестокость кампании, которую ведут сегодня в Америке религиозные организации, которые англичане назвали бы "несогласными", против любых удовольствий или развлечений, которые кажутся им "греховными". Наконец, многие, кто и не мечтал бы отказать себе в определенном количестве физического удовлетворения разного рода, будут аплодировать аскетам. Таким образом, альбигойская система обращалась к фундаментальному инстинкту человеческой природы.

Наконец, следует помнить, что альбигойцы утверждали, что очищают, а не разрушают христианство. Так и современные гуманитарии сводят христианство к "социальному служению" и полностью отбрасывают сверхъестественное учение. В большинстве случаев альбигойская система имела определенное внешнее сходство с католической. Их различие между "совершенными" и "верующими" было чем-то похоже на католическое различие между духовенством и мирянами, или на различие между монашествующими и людьми, "живущими в миру". Форма их обещания отречься от "сатаны" (то есть католической церкви), по которому человек становился альбигойским верующим, немного напоминала крещение, а их "Consolamentum" был похож на причастие и экстрим-ункцию вместе взятые. Они утверждали, что являются истинными последователями Христа, особенно почитали молитву "Отче наш" и даже проходили через форму Вечери Господней. Посты "Совершенных", за исключением тех, которые продлевались до "Эндур", ничем не отличались от католических постов. Что касается пунктов, в которых они отличались от Церкви, то они делали обычные еретические заявления о следовании "более чистым" традициям. Некоторые современные ученые видят основания полагать, что они обладали апокрифическими писаниями,

относящимися к апостольскому или послеапостольскому периоду.[16] В своей пропаганде они делали акцент на негативной стороне, то есть на своем противостоянии "развращенности" католицизма, и таким образом обеспечили себе поддержку большей части преобладающего недовольства Церковью.

Почему их практика голодания до смерти, которую они называли "эндурой", не оттолкнула новообращенных, - самый трудный вопрос, на который можно ответить в их отношении. То, что "Совершенные" добровольно практиковали это, было достаточно плохо. Еще хуже было их отношение к верующим, которые принимали "Consolamentum", когда считалось, что они находятся на смертном одре, а потом им не повезло, и они начали выздоравливать. Вероятно, "Совершенные" на опыте узнали, что "верующие", получившие "утешение" на смертном одре и затем выздоровевшие, вряд ли будут следовать чрезвычайно строгим правилам для "Совершенных", как это должны были делать все "утешенные". Для них рецидив "утешенного" был величайшим из мыслимых ужасов. Поэтому, когда у "утешенного" больного появлялись признаки выздоровления, "Совершенные" запрещали семье давать больному еду, а если семья проявляла признаки ослабления, они становились у постели или уносили страдальца в безопасное место, где могли спокойно уморить его голодом до смерти!

Как такие милые люди могли увести за собой много людей - загадка. И все же, несмотря на ужасающие особенности их системы, в одиннадцатом веке манихейство прорастает то тут, то там по всей Западной Европе. Во второй половине одиннадцатого века мы находим его сильным в Северной Италии, особенно в Милане, но, похоже, оно не пустило глубоких корней к северу или западу от Альп до 1100 года. Мы слышим о манихеях в Тулузе в 1018 году, в Орлеане в 1022 году, в Камбрэ и Льеже в 1025 году и в Шалоне в 1045 году. К середине века они проникли на север Германии вплоть до города Гослар. Нигде мы не слышим об их появлении, не услышав также об их гонениях.

Один из самых глубоких инстинктов человека - защищать то, что он считает священным, а для человека, исповедующего религию, ничто не является таким священным, как его боги. Что может быть более естественным, чем желание наказать обидчиков богов? У Лимборха есть длинный рассказ о "Преследованиях среди язычников". Для нас будет достаточно вспомнить, что сами Афины предали Сократа смерти по обвинению в том, что он учил людей не верить в богов города. И это несмотря на то, что Бэкон правдиво говорит: "...религия язычников состояла скорее в обрядах и церемониях, чем в какой-либо постоянной вере; ибо вы можете представить, какой была их вера, когда главными врачами и отцами их церкви были поэты"[17].

Римская терпимость была порождена необходимостью управлять многими расами, ни у одной из которых, кроме евреев, не было исключительного, "ревнивого" Бога. Почти все остальные народы Империи были готовы принять чужих богов как отличающихся от их собственных только по имени. Естественно, когда одна причудливая история о боге или богине была не хуже другой, образованного человека мало волновал весь свод мифов. Как администратор, этот же образованный человек легко мог быть "терпимым" ко всем религиям, потому что его собственная религия его мало волновала, а то и вовсе не волновала, и в действительности он был безразличен, а значит, вовсе не "терпим" в строгом смысле этого слова. Галлион Святого Павла, которого так поносят глупцы, но так достойно прославил Киплинг, - прекрасный образец этого типа. Такой человек был предан исключительно общественным интересам. Его чувства не были бы такими четкими, как наши национальные патриотизмы: "Рим" - это почти весь цивилизованный мир, так что возможность его гибели была немыслима. Тем не менее, она все равно могла быть объектом привязанности; ее правительство представляло собой определенное благо порядка. Преданность ей не была

расплывчатым эмоционализмом, как у наших сегодняшних интернационалистов. В определенном смысле ей можно было поклоняться.

С другой стороны, когда какая-либо религия или религиозная практика, казалось, угрожала правительству, на которое опирался порядок, римский магистрат сразу же наносил удар. Вновь открытое римское право, напомним, должно было стать огромной силой, активно влияющей на двенадцатый век.

Приняв христианство, Европа променяла религию, в которой один бог или одна история о боге были ничуть не хуже другой, на религию, которая утверждала наличие определенного, исторического основателя, оставившего после себя корпоративный орган учения - Церковь. Для такого органа откровенный язычник или безбожник - открытый и, возможно, великодушный враг. В то время как тот, кто провозглашает себя единоверцем, но при этом фальсифицирует учение Церкви, искажая и изменяя его в угоду себе, - предатель, змей в траве, по сравнению с которым язычник - ангел света.

Если оставить в стороне все рассуждения о проклятии язычников, то факт остается фактом: христианская Церковь обязана сохранять свою веру и практику как неотъемлемое, более того, важнейшее условие человеческой жизни. В противном случае у нее вообще нет причин для существования. Поэтому она должна вести особую борьбу с еретиками, врагами изнутри, которые хотят изуродовать веру, которой она живет; и она это делает, начиная с "лжеучителей" и "еретиков", которых святой Павел так часто призывал избегать свою паству, и заканчивая несчастными существами, которые хотят низвести Спасителя до уровня "социального подъемника" или ходячего делегата профсоюза. Сохранение веры - это вечная борьба.

Что бы вы ни говорили об органе, уполномоченном толковать и определять христианскую доктрину, и о средствах защиты этой доктрины, когда она определена: необходимость в каком-то определении и авторитете будет существовать до тех пор, пока будет существовать христианское имя.

Итак, если допустить постоянную необходимость какой-то реакции против ереси, то каковы же будут прецеденты прошлого, на которые мог бы опираться ученый церковный деятель двенадцатого века, чтобы направлять свои действия? В самих Евангелиях он найдет жестокое осуждение фарисеев. Святой Павел пишет о "...Гименее и Александре, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать"[18] Позже он обнаружит, что христианские императоры (начиная с Константина, первого из них) принимали законы против победившей стороны на церковных соборах, которые в свое время заходили так далеко, что угрожали смертью тем, у кого были обнаружены арианские сочинения. В частности, манихейство постоянно находилось под запретом. Диоклетиан, один из последних императоров-язычников, а также его христианские преемники, включая тех, кто терпимо относился ко всем другим сектам, называвшим себя христианами, как он мог узнать, настойчиво нападали на манихеев. Конечно, он не найдет почти никаких смертных приговоров, и различные отцы и ранние врачи Церкви будут настаивать на том, что вера - это обязательно вопрос убеждения, и поэтому ее нельзя навязывать силой. Тем не менее, он узнал, что значительное число авторов, среди которых два великих имени - Святой Августин и Папа Святой Лев, зашли так далеко, что одобряли смертную казнь, когда государство применяло ее к еретикам. Даже в более близкие к нему времена, в Темные века, когда ересь и философские дискуссии были одинаково редки, наш воображаемый ученый двенадцатого века мог узнать, читая Алкуина, учителя Карла Великого, что главная польза философии в том, что с ее помощью "...святые доктора и защитники нашей католической веры победили

всех ересиархов"[19]. Даже в те сонные времена христианский ученый был горячо заинтересован в опровержении ереси.

Но, по всей вероятности, даже ученый двенадцатого века был больше озабочен Церковью как фактором общественной жизни, чем интеллектуальными "за" и "против" в отношении правомерности действий против ее врагов. Для средневекового человека не существовало другого центра организованной благотворительности, гостеприимства для путешественников и, прежде всего, образования. Если люди путешествовали, они отправлялись в паломничество к святыне какого-нибудь святого; если они вели войну, то предпочитали вести ее против "пайнимов". Ученый человек, который почти наверняка сам был в орденах, считал Церковь главной связью человеческого общества, а неученые миряне, будь то благородные или простые, чувствовали бы это столь же сильно, причем без квалификаций и различий, которые сопутствуют интеллектуальной жизни. Кроме того, разве сама Церковь не изложила в набивших оскомину фразах Афанасьевского Символа веры, что если человек не придерживается католической веры (как она определена), он не может быть спасен?

Наконец, мы должны попытаться представить себя в шкуре христианина тех дней, не привыкшего к открытому отрицанию веры. Такой мужчина или женщина вели бы грубую жизнь, лишенную многих современных физических удобств. Но эта жизнь будет поддерживаться верой в то, что Бог есть, что Он действует через Церковь и что благодаря таинственному служению Церкви человек со всей его грубостью и подлостью находится или может оказаться в безопасности и в конце концов посмеется над всеми дьяволами. Если прочитать одну за другой, а еще лучше посмотреть, как я однажды, две такие пьесы, как "Иголка Гаммера Гёртона" и затем "День рождения инфанты" Уайльда, то это может намекнуть нам на все, что они имели и что мы потеряли. В старой пьесе Вселенная известна и дружелюбна, в современной она бесконечна, неизведанна и жестока. Представьте себе, как подействует на такого человека манихейское учение о том, что все материальные вещи, и особенно все материальные удовольствия, полностью порождены дьяволом, но что до самой смерти обычные мужчины и женщины могут делать все, что им заблагорассудится, поскольку Богу нет никакого дела до соблюдения ими каких-либо заповедей, кроме запрета давать клятвы! Помните, что отрицание ценности клятв означало нападение на важнейшую феодальную клятву верности, единственную теоретическую основу светского средневекового общества. Это была поистине взрывоопасная смесь.

Но как бы мы ни пытались осознать разум наших предков в Западной Европе, мы не можем не содрогнуться от их немедленных и яростных действий. В Орлеане в 1022 году, когда манихеи впервые были обнаружены во французском "Королевском доме", король немедленно созвал собор епископов, чтобы решить, что делать. Тем временем народная ярость против еретиков так разгорелась, что возникло опасение, что их линчуют, когда их выведут из церкви, в которой они предстали перед судом. Чтобы предотвратить это, король приказал королеве стоять у дверей церкви, но когда она узнала среди них священника, которому привыкла исповедоваться, она так жестоко ударила его палкой, что выколола ему глаз. Еретиков вывели за стены, разожгли большой костер, в последний раз призвали покаяться и отказаться от своих заблуждений, а когда они отказались, их сожгли до смерти. Один из летописцев говорит, что они шли на смерть бодро, но когда они оказались в пламени, агония была слишком сильной для некоторых, и они кричали, что раскаиваются, хотя и слишком поздно, чтобы спастись.

Следует отметить следующие моменты: Во-первых, казнь по приказу короля, высшей власти в стране. Во-вторых, ярость королевы и толпы. Какую роль в разжигании этого чувства

сыграло духовенство, мы не знаем, как и не знаем, какие действия или рекомендации к действию исходили от собравшихся епископов. В-третьих, постоянство еретиков и, в-четвертых, страшный характер их наказания делают этот первый случай типичным. К способу наказания мы вернемся в ближайшее время.

С этого времени мы слышим о казнях еретиков то тут, то там по всей Северной Франции, Бельгии, Рейнской области и Ломбардии. Иногда власти действовали, хотя каноническое право было туманным в этом вопросе. Когда же они этого не делали, народ бросался в тюрьму и сжигал обвиняемых, вполне в стиле наших южных линчеваний. Когда высшее духовенство протестовало и пытались спасти их, как оно иногда делало, это ничего не меняло. Один раз в Германии их повесили, но в остальных случаях их сжигали.

Если кто-то спросит, почему сожжение считалось уместным для еретика, ответа не будет. Эти люди были доведены ересью до такой же степени ярости и мстили за нее точно так же, как современная толпа южан в случае изнасилования белой женщины негром. Разница проявляется в отношении властей. На протяжении всего двенадцатого века многие представители высшего духовенства продолжали выступать против суровых мер. Но другие церковники и неизменно гражданское правительство обычно были готовы сжигать по всей строгости закона, методично, как если бы они конфисковывали имущество за долги. С течением времени, когда закон по этому вопросу стал фиксированным, мы утратили атмосферу самосуда и ярости толпы. В начале XV века, когда бретонского дворянина Жилья де Раиса собирались сжечь, он раскаялся и попросил людей помолиться за него, после чего они устроили шествие по улицам, воспевая и молясь за душу чудовища, которого власти, с полного одобрения участников шествия, собирались сжечь на следующий день. По выражению Беллока, во всем этом была "...жестокость, которая нам, читающим о ней, кажется чем-то совершенно далеким от человеческих привычек и опыта.... Вы постоянно будете слышать энергичные протесты против справедливости того или иного приговора, но очень редко (если бы не страх перед таким отрицательным ответом, я бы сказал - никогда) встретите людей, говорящих: "Справедливо или несправедливо, но жестокость казни настолько отвратительна, что я протестую против нее". Люди верили в нечто, касающееся всей доктрины искупления, механизмов наказания, которые они нам не описали и которые мы не можем понять иначе, как через проблески, боковые линии и догадки через то, что они считают своими самыми ясными заявлениями. Так, в конкретном случае сожжения заживо... вещь, которую мы с трудом можем представить себе даже на словах... создатели законов, похоже, думали не об этой вещи как об ужасе, а как об особом виде казни, символизирующем полное уничтожение преступника. Это легко доказать на основании многочисленных примеров... Савонарола - один из них... что судьям часто было безразлично, живое или мертвое тело. Случайная жалость зрителей в одних случаях, приговор суда - в других, позволяли освободить страдальца задолго до появления пламени. Для нас удивительно, что такое отношение к такой боли могло существовать, но оно существовало"[20].

Можно пойти еще дальше, чем процитированный выше отрывок. Ведь если преступник умирал, считалось, что стоит выкопать его труп и хотя бы сжечь. Конечно, в таком случае кажется, что в сожжении еретика есть что-то почти сакраментальное.

Изучение обсуждения сожжения ведьм в "Золотой ветви" наводит на мысль, что еретиков сжигали, как и ведьм, потому что считалось, что огонь - единственное адекватное средство очистить общину от загрязнений, которые они на нее навлекли. Если это так, то сожжение

еретиков и ведьм связано с самыми примитивными суевериями, возникшими не только задолго до христианства, но и до возможности существования какой-либо систематизированной религии.

С другой стороны, сожжение живьем соответствовало мрачной моде, в соответствии с буквой старого изречения, что "Церковь не приемлет кровопролития".

Кардинал Ньюман оставил нам интересный отрывок, в котором сочетается крайняя ненависть к еретику, точнее, к ересиарху (то есть активному проповеднику ереси и развратителю верующих), с типичной современной чувствительностью к виду физической боли:

"Противопоставляя еретиков и ересиархов, я сказал: последний не должен встречать пощады; он принимает на себя роль искушителя, и в той мере, в какой он заблуждается, с ним должна разбираться компетентная власть, как если бы он был воплощенным злом. Жалеть его - ложная и опасная жалость. Это значит подвергать опасности души тысяч людей, и это немилосердно по отношению к нему самому. Я не могу отрицать, что это очень яростный отрывок; но Арий был изгнан, а не сожжен; и справедливости ради скажу, что ни в этот, ни в какой-либо другой период моей жизни, даже когда я был самым яростным, я не смог бы даже отрезать уши пуританину, и я думаю, что вид испанского авто-да-фе был бы для меня смертью"[21].

Это было бы само по себе исследование, чтобы собрать доказательства твердости средневекового ума в отношении неприятных идей и фактического причинения боли. Сегодня, в Америке, мы имеем наши линчевания, и мы имеем ужасные истории о пытках, применяемых в революционной России. Но, с другой стороны, у нас есть команда приверженцев смертной казни, и многие люди с трудом переносят мысль об аде. Как говорит Заратустра о Боге христиан: "Когда он был молод, тот Бог

"Когда он был молод, этот Бог с Востока, он был жесток и мстителен и построил себе ад для услады своих любимцев".

"Наконец, однако, он состарился, стал мягким, плавным и жалостливым, больше похожим на деда, чем на отца, но больше всего на дряхлую старую бабушку".

"Так и сидел он дряхлый в углу своего дымохода, изнывая от слабости в ногах, утомленный миром, утомленный волей, и однажды задохнулся от слишком сильной жалости"[22].

В то время как в Средние века

"Люди двенадцатого века" (как выражается Генри Адамс со своим неизменным инстинктом и сочувствием) "беспокоились о боли и смерти так же, как здоровые медведи в горах"[23].

Что касается ада, то в литературе было принято, чтобы любовник (например, Аукассин) заявлял, что ради любви к своей даме он с радостью рискует быть вечно поджаренным.

Что касается причинения боли, то Гюисманс следующим образом определяет контраст между средневековьем и современностью: - "Нервозность...

"Нервозность... ибо никто точно не знает, что это за болезнь, от которой все страдают; несомненно, в наши дни нервы людей легче расшатываются от самого незначительного потрясения. Вспомните, что пишут газеты о казни приговоренных к смерти; они сообщают, что палач работает робко, что он на грани обморока, что он страдает от нервов, когда обезглавливает человека. Какое несчастье! Если сравнить его с непобедимыми мучителями

былых времен. Они обматывали ноги людей мокрым пергаментом, который сжимался, когда его клали на огонь, и медленно разжимал плоть; или же вбивали клинья в бедра и таким образом ломали кости; Они разжимали большие пальцы в тисках, скрепленных винтами, сдирали полоски кожи граблями, сворачивали кожу на животе, как фартук, четвертовали вас, клали в страппадо, жарили, поливали горячим бренди, и все это с бесстрастным лицом и спокойными нервами, не поколебленными ни одним криком, ни одним стоном. Эти упражнения немного утомили их, но после операции они почувствовали прекрасную жажду и сильный голод. Они были полнокровными, уравновешенными парнями, в то время как сейчас...."[24].

Почему так происходит, мы не можем сказать. Мы можем считать, что средневековый человек жил в более примитивных условиях, поэтому его нервы были крепче; что он был сравнительно близок по времени к Темным векам, когда европейский разум лежал без движения и покоился в течение столетий. Кроме того, возможно, на образованных людей того времени повлиял тот факт, что пытки играли определенную, хотя и ограниченную, роль в римском праве. Но все это лишь предположения. Важно помнить, что миряне всех сословий и состояний были за сожжение еретика, законное, если это возможно, за самосуд, если это необходимо, в то время как некоторые представители высшего духовенства выступали за мягкие меры, но далеко не все.

В двенадцатом веке ситуация злоеще изменилась. В значительных районах Лангедока манихейство стало набирать обороты, и еретиков уже не линчевали, а защищали. В районе Тулузы и особенно в соседнем с ней городе Альби их стало так много, что их стали называть альбигойцами. Когда именно произошла эта перемена, сказать трудно. "В начале века, - рассказывает Леа, - жители Альби помешали епископу и соседнему аббату заключить в тюрьму некоторых "упрямых еретиков"". И все же в 1126 году толпа в Сен-Жилле линчевала Петра Брюйского, известного еретика-антисакердота, который взял на себя смелость демонстрировать свое презрение к христианской символике, сжигая в Страстную пятницу кучу крестов и поджаривая на огне мясо. Однако, похоже, это был единственный случай линчевания еретиков в Лангедоке. В 1119 году папа Каликст II провел в Тулузе собор, который объявил альбигойцев-манихеев отлученными от церкви. С этого момента начинается целая серия соборов. Папа Иннокентий II, председательствуя на втором Латеранском соборе в 1139 году, снова отлучил альбигойцев от церкви и пошел дальше, приказав гражданским властям преследовать их в судебном порядке. Всего девять лет спустя Евгений III через Реймский собор запретил кому бы то ни было оказывать им помощь и утешение. При Александре III Турский собор в 1163 году торжественно проклял всех, кто может оказывать помощь и утешение еретикам; а в 1179 году третий Генеральный Латеранский собор повторил это проклятие еще раз.

Необходимость пяти папских соборов в течение шестидесяти лет повторять друг друга показывает, что их последовательные декреты не имели большого практического значения. Ересь продолжала процветать. Ее миссионеры путешествовали от ярмарки к ярмарке по Гаскони, Альбигуа и Тулузе. Об их учении больше не говорили шепотом, его открыто излагали и редко отрицали, поскольку духовенство Юга было слишком занято развлечениями и ссорами с мирянами по поводу прав собственности, чтобы заниматься проповедями и теологическими дебатами.

Богатое, утонченное, любящее удовольствия общество, описанное ранее в этой главе, начинало видеть в альбигойстве средство ухода от четкой схемы веры и морали, которая его

раздражала. Большинству этих непостоянных и покладистых людей, с их незапамятными традициями цивилизации, уходящими корнями в начало истории, ересь вполне могла показаться благодарным туманом, сумерками, служащими для размывания и смягчения четких и безошибочных линий католического христианства. И если для такого народа жизнь альбигойского верующего казалась более легкой и естественной, чем жизнь католического мирянина, то, с другой стороны, его самооправдывающиеся эксцентрики находили в жизни альбигойского "перфекта" более строгие и жестокие, бесчеловечные правила поведения, чем в любом католическом ордене. Несмотря на соборы и анафемы, Церковь продолжала терять позиции.

К середине двенадцатого века величайший церковный деятель Европы, святой Бернар из Клерво, дает печальную картину церквей Лангедока, как безлюдных... "народ без священников, священники без должного им почтения, а христиане без Христа". Соглашаясь с тем, что святой Бернар любил жестокость высказываний и был в некотором роде профессиональным пессимистом, все же верно, что вместо того, чтобы сказать, как настоящие христиане за пределами Лангедока: "Лучше бы я был евреем", чем совершил такой-то и такой-то подлый или позорный поступок, меридиональный сказал бы: "Лучше бы я был священником". Когда сам святой Бернар, со всем своим престижем, приехал на юг проповедовать, ему не удалось даже добиться уважительного слушания по одному важному поводу.

Атмосфера некоторых из этих дебатов с юмором доносится до нас в истории о проповеднической миссии святого Бернара. Как рассказывает Леа, святой... "после проповеди перед огромным собранием... сел на коня, чтобы уехать, и один закоренелый еретик, думая сбить его с толку, сказал: "Милорд Эббот, у нашего еретика, о котором вы так плохо думаете, нет такой толстой и резвой лошади, как ваша". Друг, - ответил святой, - я этого не отрицаю. Лошадь ест и толстеет для себя, ибо она всего лишь скотина и по природе своей предана своим аппетитам, чем не оскорбляет Бога. Но перед судьейским местом Божьим я и ваш господин будем судить не по лошадиным шеям, а каждый по своей шее. Итак, посмотри на мою шею и увидишь, толще ли она, чем у твоего господина, и сможешь ли ты справедливо упрекнуть меня". Тогда он сбросил свой плащ и показал свою шею, длинную и тонкую, истощенную мацерацией и аскезами, к смятению неверующих"[25] У одного есть видение, как святые и еретики "сопоставляют шеи" перед вратами Рая, перед аудиторией восхищенных ангелов.

О силе ораторского искусства святого рассказывают и другие истории, некоторые из которых удивительно похожи на рассказы о современных возрожденческих собраниях. В Альби, после проповеди перед толпой, которая заполнила собор, он призвал всех кающихся поднять правую руку, и все сделали это. Но, подобно современным возрожденцам с их впечатляющими "обращениями", святой Бернар, похоже, не добился ничего определенного своей поездкой. После его отъезда ситуация в Лангедоке развивается точно так же, как если бы он никогда не приезжал.

В 1165 году в Ломберсе близ Альби католические священники публично дискутировали против представителей "альбигойцев" в присутствии Понса, архиепископа Нарбонны, и нескольких епископов, а также самых влиятельных вельмож региона, Констанции, сестры короля Франции Людовика VII и жены графа Раймонда V Тулузского, виконта Тренкавеля Безье и других. Когда вердикт был вынесен против еретиков, против них, похоже, не было предпринято никаких действий: это был просто словесный турнир, "вопрос общественного интереса", как мы должны сказать. Два года спустя еретики открыто провели совет в Сен-Феликс-де-Караман под Тулузой. Президент прибыл из Константинополя, чтобы

присутствовать на нем, присутствовали делегаты из Ломбардии, были избраны "епископы" на различные вакантные места, и был назначен комитет для урегулирования спорной границы между "епархиями" Тулузы и Каркассона. Очевидно, что здесь мы имеем дело с организованной религиозной организацией, явно "действующей", действующей бесстрашно и открыто.

В 1178 году мы получаем первый намек на активные прямые действия против ереси. Граф Раймонд V Тулузский написал своему шурину, Людовику VII Французскому, сожалея о распространении ереси и отказе от ортодоксальной религии на всей территории его земель и связывая это состояние с тревожным ростом разбойничества и общественных беспорядков. Король Франции только что заключил мир (или, скорее, перемирие) с Генрихом II Английским, так что долгая борьба между французской монархией и Анжуйским домом на время затихла, и оба короля могли объединиться для борьбы с ересью. Другой большой хронический политический спор, между папством и "Священной Римской" империей, также был бездейственным: папа Александр III одержал верх над Фридрихом Барбароссой и его антипапой. Соответственно, папа мог свободно подстегивать королей к действиям. Сначала было предложено, чтобы Людовик и Генрих выступили в поход на Тулузу с объединенной армией. Но, в конце концов, было решено просто отправить в Тулузу миссию высокопоставленных духовных лиц, наделенных полномочиями действовать. Леа предполагает, что энтузиазм королей остыл за долгое время, проведенное в предварительных обсуждениях. Мать Дрейн считает, что Папа предпочел мирные меры.

Когда миссия достигла Тулузы, их оскорбляли на улицах. Тем не менее, они составили длинный список еретиков и, наконец, решили привести в пример богатого старика по имени Петр Мауран, который, похоже, был одним из первых жителей Тулузы. Против него возбудили дело в соответствии с каноном, обнародованным Турским собором, который предписывал осужденным еретикам тюремное заключение и конфискацию их имущества. После долгих пререканий и словесных ухищрений обвиняемого его признали еретиком. Чтобы спасти свое имущество, он отказался от своих слов и предложил понести наказание, которое могло быть наложено. Соответственно, "раздетый до пояса, с епископом Тулузы и аббатом Сен-Сернином, деловито бичевавшими его по обе стороны, он был проведен через огромную толпу к главному алтарю собора... (и)... приказали совершить трехлетнее паломничество в Святую землю, ежедневно подвергаться бичеванию на улицах Тулузы до самого отъезда, вернуть все занятые им церковные земли и все деньги, приобретенные за счет ростовщичества, и выплатить графу пятьсот фунтов серебра в счет погашения конфискованного имущества"[26].

Результаты этих мер были лишь временными. После возвращения из Палестины Мауран трижды избирался главным магистратом города. В том же году, когда его впервые судили, Третий Латеранский собор проклял еретиков Лангедока вместе с теми, кто им покровительствовал, и причислил к еретикам мародерствующие банды странствующих наемников, которые, оставшись без работы, разбойничали. Кроме того, Собор предпринял беспрецедентный шаг - объявил крестовый поход против всех этих врагов Церкви и провозгласил двухлетнюю индульгенцию для крестоносцев. Так что в 1181 году Генрих, аббат Клервоский и кардинал, смог собрать военные силы, с которыми вторгся округ Безье и взял замок Лавор, захватив в нем многих видных еретиков. Но двое из захваченных альбигойских "епископов", отказавшись от своих слов, быстро получили католические бенефиции в Тулузе, и, в общем, маленький крестовый поход Генриха Клервоского был не более чем вспышкой на сковороде.

Проклятие Латеранского собора в адрес разбойников, причисляющее их к еретикам, поднимает вопрос о том, насколько тесно анархическая сторона альбигойства могла быть связана с общественными беспорядками. Люди двенадцатого века были великими убийцами разбойников. Вероятно, разбойников нужно было убивать больше, потому что в западном христианстве было больше богатств, которые стоило грабить, чем раньше. Солдат-наемник, человек без родины, которого нанимали тогдашние князья для своих больших или малых войн, был недалеко от разбойника, даже когда находился в походе. В Англии имя наемников короля Джона вызывало ненависть и страх на протяжении многих поколений. Во времена безработицы, когда он скитался по стране, он был склонен становиться разбойником в чистом виде. Он всегда был не связан социальными и общепринятыми ограничениями и узами, не испытывая особого почтения к церкви, которая обычно была главной защитой имущества этой величайшей и богатейшей из средневековых корпораций. Нам рассказывают, что один из наемников Ричарда Кер де Льва, совершенно безрассудно, казалось бы, однажды... "отломил руку статуе в церкви Богоматери в Шатору, после чего фигура истекла кровью, словно живая; и Джон (впоследствии король Иоанн) взял отрубленную руку и унес ее как святую реликвию"[27]. Но нам не сообщают, что сам парень был ничуть не смущен этим чудом или что он был наказан за свое святотатство. Однако в Северной и Центральной Франции двенадцатого века, когда бандитизм стал назойливым, разбойники далеко не всегда добивались своего. Их карьера часто была короткой и заканчивалась сталью или веревкой. Общество преследовало их безжалостно, как это делали люди на нашем Диком Западе.

В Лангедоке (как мы уже видели) с его богатством, евреями и близостью к мусульманам почитание церкви было меньше. Кроме того, вполне возможно, что вельможи больше зависели от наемников, поскольку их вассалы были менее воинственны. Мы увидим, как несчастный Раймонд VII отказывается увольнять своих наемных солдат, под каким бы давлением они ни находились. Наконец, некоторые еретики отрицали моральное право на любую частную собственность; большинство из них нападали на Церковь за огромные богатства, которыми она обладала; практически все отказывались приносить клятвы и отрицали их моральную силу, хотя феодальная клятва верности вассала своему господину была главной связью гражданского общества. Безмолвным свидетельством того, что все это меняло ситуацию, является то, что многие южные церкви, особенно сельские, были укреплены. В то время как на севере, несмотря на постоянные ссоры между священником и дворянином, защита церковного здания почти всегда зависела только от его святости.

Церкви Лангедока были укреплены не зря. Говоря о разбойниках, Леа замечает, что летописцы, которые сами были в основном церковниками, "...настаивают на том, что их удары... обрушивались на церкви и монастыри сильнее, чем на замок сеньора или коттедж крестьянина". Естественно, ведь из коттеджа они получали мало грабежа, а из замка - много тяжелых ударов. "... Они высмеивали священников как певцов, и это было одним из их диких видов спорта - избивать их до смерти, насмешливо прося их о заступничестве, ... "Пой для нас, певец, пой для нас"; а кульминацией их... святотатства было... изгнание и попираание святых облаток, драгоценные пиксы которых они жадно хватали"[28].

Насколько альбигойство было связано с беспорядками, мы сказать не можем. На первый взгляд, такое учение скорее склоняло к непротивлению. Но в эпоху столь прямолинейную, столь экстремальную как в жестокости, так и в нежности (что касается жестокости в речи, то одним из главных аргументов альбигойцев против транссубстанции было то, что она подразумевала выделение тела Христа в уборные), в такую эпоху, скажу я, маловероятно, чтобы еретики сильно не одобряли тех, кто нападал на их врагов, церковников. Даже если

предположить, что безбожный наемник-бандит, строго говоря, вовсе не был еретиком, атмосфера ереси ему определенно благоприятствовала.

Когда двенадцатый век приближался к концу, альбигойство должно было казаться "грядущим событием" в Лангедоке. Хотя мы слышим, что ни один из крупнейших дворян региона не был "еретиком", многие члены их ближайших семей были таковыми, особенно женщины. В целом еретики были полны энтузиазма, а католики - неуверенности и беспокойства. Православным все еще удавалось (как в случае с Маураном) выигрывать "пробные дела", но они, должно быть, чувствовали, что их власть ослабевает.

С точки зрения тех, кто был полон решимости подавить ересь, единственным реальным достижением всего двенадцатого века было то, что канонические и гражданские законы по этому вопросу стали более определенными. Даже в середине века святой Бернард называет сожжение еретиков "чрезмерной жестокостью" и выступает за тюремное заключение как максимальное наказание.

В Англии ересь появилась только в 1166 году. Генрих II, тот самый человек, которого мы видели настолько разгневанным против Бекета, что он грозился обратиться в магометанство, похоже, не стеснялся проводить свою собственную линию. Он приказал раздеть их до пояса, выпороть, поставить клеймо на лоб и отправить в плавание, строго запретив всем оказывать им какую бы то ни было помощь и утешение. Это было достаточно эффективно, так как они должны были вскоре умереть от голода и воздействия, но дело в том, что, похоже, не было никакой общепринятой процедуры, которой следовало бы придерживаться.

Эта потребность была частично удовлетворена в последние два десятилетия века тремя законами.

В 1184 году на Веронском сейме император "Священной Римской империи" Фридрих Барбаросса и недолго просуществовавший папа Луций III обсудили вопрос о ереси. Несмотря на разногласия по многим важным вопросам, они, похоже, пришли к полному согласию по поводу обращения с еретиками. Они опубликовали совместный декрет. Папа со своей стороны распорядился, чтобы епископы, которые всегда обладали юрисдикцией в вопросах ереси, провели или организовали расследование, или "инквизицию", на предмет возможного существования ереси в каждом приходе, где присутствие еретиков хотя бы подозревалось. Даже те, чей образ жизни отличался от образа жизни обычного католика, должны были быть допрошены на предмет их веры. Обвиняемых должен был судить епископальный суд, а тех, кого осудят (если они откажутся "покаяться" и признать свои ошибки), должны были передать светским властям, "чтобы они понесли заслуженное наказание (*animadversio debita*)". Последняя формула была расплывчатой, возможно, намеренно. Все светские власти должны были принести клятву перед епископом, что они будут исполнять законы против ереси, а те, кто отказывался действовать после должного призыва, должны были быть отлучены от церкви. Кроме того, всем католикам запрещалось вести дела с любым городом, который может поддержать проеретического магистрата в бездействии.

Император, со своей стороны, не остался в стороне. Он постановил, что любой магистрат, отлученный от церкви за отказ или пренебрежение к действиям против еретиков, должен лишиться своей должности и не иметь права занимать другую. Все, кто был или должен быть осужден за ересь, попадали под императорский запрет, что означало изгнание, конфискацию имущества, разрушение домов, публичное позорище, лишение права занимать должности и т. д. О смертной казни прямо не упоминается. "*Animadversio*" в древности означало смерть, а юрист двенадцатого века был склонен быть одновременно и

большим педантом, и большим империалистом. Тем не менее, формула стала более расплывчатой.

Два других постановления принадлежат светским князьям, действующим в одиночку.

Граф Раймонд V Тулузский, которого мы видели призывающим своего сюзерена Людовика VII Французского к борьбе с ересью, в какой-то момент во время своего долгого сорокашестилетнего правления (с 1148 по 1194 год) издал указ не только об изгнании, но и о смерти через костер для еретиков. Вероятно, это было сделано в связи с миссией Генриха Клервоского, осудившей Маурана, или с коротким "Крестовым походом" 1181 года. Какие меры были приняты в связи с этим, мы не знаем. В 1209 году мы находим письмо муниципалитета Тулузы папе Иннокентию III о том, что "многие" еретики были сожжены в соответствии с ним. Но мы должны помнить, что это письмо было написано, когда городу угрожали Монфор и его крестоносцы, и его магистраты, соответственно, стремились оправдаться.

Третий из трех законов против еретиков был принят королем Педро II Арагонским, который позже был убит, пытаясь защитить защитника еретиков Раймона VI Тулузского! В 1197 году Педро изгнал вальденсов и других еретиков из своих земель как государственных врагов себе и своему королевству и объявил, что если кто-то из них будет найден по истечении льготного месяца, то их товары будут конфискованы, а сами они сожжены. Конечно, это была лишь угроза, и, по всей вероятности, никто не остался рисковать костром. Важно то, что угроза была направлена против вальденсов как еретиков *par excellence*.

Но, хотя наличие законного механизма для наказания еретиков было выгодно, все же этот выигрыш был невелик, если не было организованной силы, способной привести этот механизм в движение. За исключением изгнания Маурана и небольшого крестового похода, который в 1181 году взял Лавор, никаких реальных действий против еретиков Лангедока предпринято не было. В 1195 году папский легат провел собор в Монпелье и осудил ересь в самых резких выражениях, но его громовые раскаты утихли, не найдя отклика. Никакого прогресса в борьбе с ересью в Лангедоке не было, когда в 1198 году папой стал Иннокентий III.

Почему Рим так долго ждал, прежде чем начать действовать в альбигойском вопросе? Курия, несомненно, уже несколько десятилетий знала, что дела в Лангедоке идут все хуже и хуже. Высказывались предположения, что все моральные силы и дипломатическое искусство, на которые было способно папство, были необходимы для борьбы с сомнительными императорами, Барбароссой и его сыном Генрихом VI. Но это, по меньшей мере, лишь половина ответа. Во-первых, курия была и остается вполне компетентной, чтобы вести несколько крупных споров одновременно, с уверенностью искусного жонглера, держащего три или четыре мяча одновременно. Во-вторых, даже в последние пятьдесят лет, как бы многолюдны они ни были, все же случались промежутки мира между папством и империей. Один из таких интервалов длился семь лет, и все это время папство не предпринимало никаких шагов в Лангедоке. Вероятно, ответ заключается в том, что ни один из пап, даже Александр III, а тем более его недолговечные преемники, не обладали такой огромной энергией и мужеством, как новоизбранный папа.

ССЫЛКИ:

[5] "Rome Revisited", in "The Meaning of History", by Frederic Harrison. Publishers: The Macmillan Co., New York, 1902.

[6] "Некоторые типы городов в умеренной Европе" Х. Дж. Флера в "Географическом обозрении", N.Y., декабрь, 1920 г., где сравниваются такие города, как Арль, Нисм и Тулуза, с одной стороны, и северофранцузские города - с другой. Автор омрачает искусное обсуждение темы, воображая сильное "франкское" влияние на севере - несомненно, проистекающее из крошечного беспородного военного отряда Хлодвиги численностью около 8000 человек, включая тюрингов и бретонцев, с помощью которого этот лидер возвел себя в ранг консула по императорскому поручению над многомиллионной романизированной Галлией! Дело в том, что военная, гражданская и церковная власть в эпоху империи была в равной степени римской. В Северной Франции во времена Темных веков светское гражданское правительство, похоже, исчезло. Поэтому римские военные, превратившиеся в феодалов, и епископы, продолжавшие получать приказы из Рима, приобрели большее относительное значение".

[7] "Европа и вера", Хилер Беллок. Paulist Press, N.Y., 1920.

[8] "Политика", Генрих фон Трейчке, перевод. Publ. Macmillan 1916. Vol. I, chap. vii, pp. 245, 246.

[9] "Аукассин и Николетта". Отрывок переведен Генри Адамсом в книге "Мон-Сен-Мишель и Шартр". Pub. Houghton Mifflin, New York, 1913. Глава xii, стр. 233.

[10] "Старая дорога", автор Г. Беллок. Опубликовано издательством Constable and Co., London, 1911. Страница 30.

[11] "История инквизиции", Филипп Лимборх, профессор богословия среди Ремонстрантов; перевод Чандлера, Лондон, 1731. Ссылка на страницу 44, том I.

[12] "Шелбурнские эссе", шестая серия, Пол Элмер Мор. Опубликовано G. P. Putnam's Sons, New York, 1909.

[13] "Mr. Britling sees it Through", by H. G. Wells. Опубликовано Макмилланом, Нью-Йорк, 1917.

[14] "Италия и ее захватчики", Томас Ходжкин. Опубликовано Кларендон Пресс, Оксфорд, 1892. Vol. i, chapter III, p. 203.

[15] "Renaissance Fancies and Studies," by "Vernon Lee." Издано Джоном Лэйном, Нью-Йорк. 1909. Pp. 47-49.

[16] См: Фрагменты "древнего (египетского?) Евангелия", использованного "Катарами из Альби", Ф. П. Бодхэм и Ф. К. Конибир, в "Хибберт Джорнал" за июль 1913 года.

[17] "Эссе" Фрэнсиса Бэкона: "О единстве в религии".

[18] I Тимофею, глава i, стих 20.

[19] "The Mediæval Mind", Henry Osborn Taylor, *supra* "Carolingian Scholars," in vol. i, chapter x, p. 217.

[20] "О чем угодно", H. Belloc; Dutton, New York, 1910, p. 72, *et seq.*

[21] "Apologia Pro Vita Sua", автор Джон Генри Ньюман, глава I.

[22] "Так говорил Заратустра", Фридрих Ницше. Trans. publ. Macmillan, New York, 1914, chap. lxvi, p. 318.

[23] "Мон-Сен-Мишель и Шартр", *выше*, глава xi, стр. 218.

[24] "Là-bas", автор Жорис Карл Гюисманс. Опубликовано Plon-Nourrit Paris, 1913. Pp. 362-3, перевод автора.

[25] "Инквизиция в Средние века", Генри К. Лиа. Vol. i, p. 71.

[26] "Inquisition of the Middle Ages", Henry C. Lea. Vol. i, p. 122.

[27] "John Lackland," by Kate Norgate. Macmillan, N.Y., 1902, p. 21.

[28] "Inquisition of the Middle Ages", Henry C. Lea. Vol. i, pp. 125-6.

ГЛАВА III. ПРЕЛИМИНАРИИ КРЕСТОВОГО ПОХОДА.

Религиозные и политические маневры, предшествовавшие Альбигойскому крестовому походу, продолжаются десять лет и естественным образом делятся на три этапа: первый - шесть лет, второй и третий - по два года.

Первый этап (1198-1204 гг.) начинается со вступления Иннокентия III на папский престол, после чего он незамедлительно направляет легатов для борьбы с альбигойской ересью. Он заканчивается признанием неудачи первых средств и решимостью их усилить.

Второй этап (1204-1206 гг.) отмечен наделением папских легатов в Лангедоке чрезвычайными полномочиями по отношению к местному духовенству. Первый год, 1204-й, содержит политическое событие первостепенной важности: завоевание анжуйских земель - Нормандии, Мэна, Анжу и Турени - королем Франции Филиппом Августом. Период заканчивается признанием недостаточности даже чрезвычайных полномочий, предоставленных легатам.

Третий этап (1206-1208) начинается с прибытия святого Доминика, принятия легатами апостольской бедности и начала регулярной кампании проповедей и диспутов. Этот метод приносит лишь незначительные результаты: период завершается убийством де Кастельно и мобилизацией крестоносной армии.

Лотарио Конти, Иннокентий III, - одна из величайших фигур истории. Немногие люди, будь то церковные или светские государственные деятели, оказывали более широкое и масштабное влияние. Учеба и исполнительность, энергия и настойчивость, широта взглядов и, прежде всего, чувство великой цели в сочетании с необыкновенной удачей сделали его великим. Здесь мы рассматриваем лишь одно из его деяний - начало Альбигенского крестового похода, благодаря которому он сохранил моральное единство Европы так, что оно оставалось нерушимым до шестнадцатого века.

Он родился около 1160 года. Его семья была дворянами из Кампаньи, чьи замки Ананьи и Сегни возвышались над "Аппиевым путем", главной римской дорогой между Римом и

Неаполем. Они рано решили сделать из него священника. Соответственно, он учился сначала в Риме, затем в Болонском университете, где была великая юридическая школа, и, наконец, в Парижском университете, центре теологического образования, "королеве наук" Средневековья. Париж он особенно любил, как и многие до и после него, и в годы его могущества мы увидим, как он отлично играет с "французами" (то есть северофранцузами, как мы бы сказали), этим непревзойденным оружием, готовым к руке папы тринадцатого века. В 1190 году, когда ему было всего 30 лет, его дядя, папа Климент III, сделал его кардиналом - пример того, как благосклонность способствует развитию способностей быстрее, чем они поднимаются сами по себе, и тем самым дает способному человеку простор для его сил, что совершенно противоположно обычному использованию благосклонности для поддержки некомпетентности. Избрание Целестина III вынудило новоиспеченного кардинала уйти в отставку, поскольку Целестин принадлежал к роду Орсини, наследственным врагам Иннокентия - Скотти. В отставке он писал, во-первых, о "Презрении к миру" и "Страданиях человечества", а во-вторых, о мистическом богословском символизме, с такой риторикой и таким обилием цитат, что его уход от административной работы папской курии скорее увеличил его славу, чем уменьшил ее, дав ему возможность упражнять свое перо в этих средневековых запасах тем. В самый день смерти Целестина он был избран папой, будучи еще в сане дьякона. Уже через два месяца после хиротонии он направил двух агентов в Лангедок для борьбы с тамошними еретиками.

Разумеется, Папа вмешивался в дела Лангедока не потому, что ему было нечем заняться. Правда, Империя не угрожала и даже не могла угрожать. Эта огромная, плохо связанная масса, простиравшаяся от Роны до Одера, от Голштинии до Сицилии и включавшая в себя Лилль и Вену, совершала одно из своих периодических внезапных погружений из блестящих мечтаний о мировом могуществе в гражданскую войну и пустую анархию. Когда Иннокентий был избран, ужасный император Генрих VI был мертв всего три месяца, а его дела уже лежали в руинах, и итальянские города деловито изгоняли его немецких чиновников, которых он поставил управлять ими. Дело было не в том, что у них не было ни малейшего приближения к национальному итальянскому чувству; современному читателю нужно еще и еще раз повторить, что в двенадцатом веке не было даже идеи национальности, за исключением проблеска ее во Франции. Они действовали потому, что не любили немцев как таковых, и потому, что предпочитали платить муниципальное жалованье и привилегии тому, кто родился и вырос среди них самих. Как и все папы, начиная с Гильдебранда, Иннокентий приветствовал подобные действия, помогал и потворствовал им. Хорошо организованная империя, в состав которой входила Италия, была бы в состоянии оказывать давление на пап. В своих письмах к городам Иннокентий даже иногда говорит об "Интересах всей Италии", но эта великая фраза угасла, не найдя отклика в современности.

В самом Риме имперский префект присягал папе без единого протеста. Муниципалитет Рима - совсем другое дело. Еще в десятом веке, задолго до того, как папство выступило против империи, буйные дворяне Вечного города не раз в страхе и трепете изгоняли пап. Общинное движение двенадцатого века усугубило ситуацию с папской точки зрения. Даже такого папу, как Иннокентий, римская толпа могла оскорбить на улицах, так что он опасался за свою жизнь и покидал город, чтобы вернуться только спустя почти год. С момента своей хиротонии и до 1208 года, когда он снова примирил горожан, временно покинув город, он имел на руках самую взрывоопасную политическую ситуацию в своем собственном городе.

Тем временем его агенты (два монаха, Ренье и Ги) прибыли в Лангедок, аккредитованные папскими письмами к "прелатам, князьям, дворянам и народу" Южной Франции, чтобы начать папские действия против альбигойцев. В то время не было и мысли о

широкомасштабном применении силы. Уже был прецедент в виде небольшой экспедиции Генриха Клервоского, который взял Лавор в 1181 году. Но, похоже, считалось, что в этом нет необходимости, а возможно, что это и невозможно. Во всяком случае, попыток не было. От Ренье и Ги требовалось лишь убедить религиозные и светские власти изгнать еретиков и конфисковать их имущество - обычные законы того времени против ереси. Оба комиссара были уполномочены принуждать к повиновению с помощью интердикта и вознаграждать тех, кто должен им помогать, предоставляя обычные "индульгенции", которыми обычно пользовались паломники в Рим или Компостеллу.

Следует пояснить, что интердикты - это приговоры, вынесенные местным жителям, и в таком месте не может быть общественного богослужения, не может звонить колокол и проводиться церковная служба. Иногда браки не могут быть заключены даже в частном порядке, а больные не могут получить крайнее отлучение. В средневековые времена это было мощное, но в то же время опасное оружие, поскольку оно приучало людей жить почти в полной изоляции от общественного отправления религиозных обрядов.

Шесть месяцев спустя полномочия Ренье были расширены, чтобы он мог реформировать церковь в зараженных регионах и восстановить церковную дисциплину. В июле 1199 года он был официально назначен папским легатом, которому должны были повиноваться и уважать, как если бы он был лично Папой. Так рано пришлось "реформировать жизнь" местного духовенства вплоть до архиепископов, поскольку даже от последних нельзя было ожидать внешне благочестивой жизни, а тем более принятия мер против ереси вопреки общественному мнению их паствы. Но хотя он уже видел слабость местного духовенства как орудия борьбы с ересью, тем не менее папа продолжал действовать, полагая, что местные светские власти способны справиться с этой задачей, если только на них будет оказано достаточное давление со стороны духовенства.

Казалось бы, Иннокентий и его советники должны были достаточно знать о политической ситуации в Лангедоке и всеобщей неспособности обеспечить соблюдение еретического законодательства, чтобы понять, что так дело не пойдет. И все же любой, кто был связан с центральными офисами крупной корпорации или генеральным штабом современной многомиллионной армии, знает, как трудно при всем желании получить информацию о положении дел на местах. В этом случае мы можем предположить, что в Риме поначалу считали, что местных или, по крайней мере, светских мер по борьбе с ересью будет достаточно. Или, наоборот, можно предположить, что на такие местные действия никогда не полагались, но считали, что лучше испробовать все другие средства, прежде чем начинать религиозную войну против зараженного члена самого христианства. В любом случае, как и во всех других важных решениях, папский Рим двигался медленно.

Кроме того, Иннокентий, помимо своей юридической подготовки, обладал прекрасным чувством справедливости и, как и подобает итальянскому джентльмену, большим тактом. В своих делах, связанных со спорадическими случаями ереси, которые возникали то тут, то там, в связи с модой на сорняки, за пределами Лангедока, он следовал папскому прецеденту сдерживания и умеривания иногда чрезмерного рвения низшего духовенства.

В 1199 году мы видим его мягким по отношению к группе лотарингцев в епархии Меца, которые попали под подозрение за чтение переводов Писания и ропот на своих приходских священников. Он упрекает их в том, что они не предпочли предъявить епископу обвинения в адрес священников, на которых жаловались, по обычным каналам. Он предупреждает их, что глубина некоторых догм делает их трудными для понимания мирянами. Тем не менее он уверяет их, что желание понять Писание само по себе достойно скорее похвалы, чем

порицания, и спешит взять на себя ведение дела, видимо, опасаясь, что их епископ может быть слишком строг.

В том же году мы видим, как он защищает "униженных" из Вероны, братство, связавшее себя добровольной нищетой. Архиерей их города включил их в отлучение, объявленное против манихеев, вальденсов и арнольдистов (последователей Арнольда Брешианского).

Действительно, если судить по дошедшим до нас фрагментам судебных процессов о ереси, кажется, что одна лишь эксцентричность жизни была достаточным основанием для подозрения в ереси.

В апелляциях в Рим, когда казалось, что обвинение в ереси не было полностью доказано, мы видим, что Папа стремился дать обвиняемому пользу из всех сомнений. В округе Невер он дважды вмешался таким образом в дело священников и дважды - в пользу мещан Ла-Шарите-сюр-Луар, хотя, к сожалению, его снисходительность не принесла плодов, так что в конце концов он почувствовал себя вынужденным выступить против них.

Даже в разгар Альбигойского крестового похода мы видим, как он поддерживает обвиняемого каноника из Бар-сюр-Об, инцидент, который может получить полную ценность только в связи с совершенно иными событиями, происходившими тогда в Лангедоке.

Но как бы ни был осторожен Иннокентий в сомнительных случаях, он совсем иначе относился к доказанным и вызывающим еретикам. Люшар хочет заставить нас поверить, что когда великий папа называет еретиков бичом, язвой, грязью, язвой, заражающей общество, диким зверем, волком в овечьей шкуре, лисицей, уничтожающей лозу Господа, злодейский трактирщик, который отравляет своих гостей, продавая им фальсифицированные вина, когда он, кажется, верит в их тайные сексуальные оргии, он просто повторяет набор фраз и что он ни в коем случае не был одушевлен "фанатизмом" или какой-то особой ненавистью к ереси. Ученый француз заходит так далеко, что предполагает, что Иннокентий "строго боролся с ересью... скорее из-за необходимости своей политики, чем из-за пылкости своей веры"[29] Тем не менее, подобные утверждения не имеют ни малейших доказательств, насколько можно судить по опубликованным работам Люшера. Более того, он признает, что Иннокентий, как и почти все его современники, испытывал "отвращение" к еретикам. Наконец, современный американец с грустью скажет, что французский антиклерикал не может даже знать, что такое настоящий фанатизм, поскольку в политических действиях Франция веками даже не "видела зверя" в его силе.

Конечно, Иннокентий апеллировал против еретиков не только к Писанию, но и к человеческому разуму. Так, он прекрасно обыгрывает логическую невозможность манихейской идеи о двух противоречащих друг другу богах. Это характерно не только для него, но и для времени, в котором он жил, с его великими схоластами, времени, которое верило в логику так же преданно, как наше время верит в "науку". Безусловно, он признавал, что в основе многих проблем лежат поводы для скандалов со стороны духовенства. Он продолжает настаивать на том, что таинства в руках священника дурной жизни теряют свою силу не больше, чем лекарства в руках врача, который сам может быть далеко не здоров. Прежде всего, он стремился устранить причины скандалов, улучшая поведение духовенства. Но это лишь для того, чтобы сказать, что гнев не ослеплял его к фактам (у него были приступы гнева, обычно свойственные доминирующим натурам). Конечно, он не был вульгарным болтуном, но из этого отнюдь не следует, что его вера не была пылкой, а чувства против ереси - соответственно острыми.

В год своего восшествия на престол мы видим, что Иннокентий уже переписывался с Раймондом VI Тулузским. Графу тогда был 41 год, за три года до этого он стал преемником

своего отца, графа Раймонда V, которого мы видели (в последней главе) призывающим к помощи в борьбе с ересью. Графы Тулузы были самыми могущественными князьями Юга. Как герцоги Нарбонны они были первыми светскими пэрами Франции. Они владели маркизатом Прованс, были графами Виваре, Венаисена, Сен-Жиля и Родеза, лордами Альбижуа, Геводана, Велая, Руэрга и Агенуа, а также сюзеренами графов Фуа и Комминжа. Раймонд VI был женат на принцессе Джоан Английской, дочери Генриха Плантагенета и Элеоноры Аквитанской, сестре Ричарда Кёр де Льва и короля Иоанна. Сам граф не был еретиком, хотя некоторые поспешные высказывания, которые он бросал в пользу еретиков, были заготовлены против него ревностными католиками. Однако, согласно обычаям Лангедока, его православие было не воинственным. Он привык назначать на государственные должности евреев и еретиков, а в целом он и его богатый двор больше думали о том, чтобы наслаждаться поэзией и женским обществом, чем о чем-либо другом на свете. Он не был воинственен, и события должны были доказать, что ему не хватает мужества, самообладания и твердости намерений. В равной степени он был лишен мудрости и хитрости в политике. Похоже, что он был не подлым, а просто слабым и покладистым. Если не занимать важное место или не переживать смутные времена, то такие люди могут быть достаточно хороши.

В своей первой встрече с великим папой он предстает не как сторонник еретиков, а как притеснитель монахов. Как таковой он уже был отлучен от церкви папой Целестином III. Иннокентий послал своих легатов предложить ему отпущение грехов, если он удовлетворит требования аббата Сен-Жилля, и, получив обещание сделать это, написал, чтобы предложить ему совершить покаяние, чтобы показать свою добрую волю. Не прошло и двенадцати месяцев, как аббат Сен-Жиль стал жаловаться, что он ничуть не исправился, и Иннокентий снова написал своему легату, предписывая, чтобы граф выполнял свои обещания. Начало было не слишком обнадеживающим.

В течение шести лет, часто меняя персонал, папское представительство в Лангедоке продолжало пытаться реализовать свою первоначальную программу. Это была неблагодарная работа. Вильгельм VIII, лорд Монпелье, чья семья по традиции была сильно католической, попросил назначить легата, чтобы тот помог ему искоренить ересь в его землях. К сожалению, он не был личностью первой величины, и его поступок был всего лишь вспышкой на сковородке, поскольку никто из его коллег-дворян не последовал его примеру. Лиа утверждает, что даже сам Вильгельм был особо заинтересован в проявлении рвения, поскольку пытался добиться от Папы узаконивания детей от второй жены, на которой он женился, не будучи юридически разлученным (несомненно, путем аннулирования брака) с первой.

В 1200 году мы слышим о кардинале "Иоанне Святого Павла" (вероятно, имеется в виду, что его титулярной церковью была базилика Святого Павла без стен в Риме), принимавшем участие в альбигойской миссии, но больше мы о нем ничего не слышим. Два года спустя Ренье, судя по всему, заболел и был освобожден от обязанностей легата. Что стало с его спутником Гаем, мы не знаем; похоже, он утонул в водах забвения без единого всплеска или даже пузырька.

Ренье заменили два монаха-цистерцианца из цистерцианского аббатства Фонт-Фруа, расположенного неподалеку от Нарбонны. Одного из двух цистерцианцев звали Рауль. Другим, душой миссии, был Питер де Кастельно, то самое знаменитое имя Кастельно, чье оружие до сих пор можно увидеть в рыцарском зале Версаля, имя, которое немцы еще долго будут помнить, поскольку в отчаянную первую неделю сентября 1914 года именно Кастельно отбил у них Большой курень Нанси и тем самым сделал возможной победу на Марне. Де Кастельно, с энергией и решительностью, которые вполне могут напомнить нам солдата

Кастельно нашего поколения, направился прямо в Тулузу. Там он изводил жителей, требуя, чтобы их магистраты поклялись хранить католическую веру и изгнать еретиков в обмен на папское подтверждение вольностей города (которые, несомненно, были закреплены в хартии, очень похожей на старые английские хартии, сохранившиеся у епископа Стаббса). Тулузцы клюнули на приманку, принесли клятву, но не сдвинулись с места. Легаты заговорили на повышенных тонах о разгневанных принцах и королях, которые придут в город грабить и разрушать, и тем самым сделали некую видимость реформы, но едва они отвернулись, как еретические проповедники начали свои полуночные собрания, как и прежде.

Кстати, интересно отметить, что в таком месте, как Тулуза в 1203 году, высшей степенью дерзости еретиков было проведение проповеднических служб в полночь. Похоже, что в крупных центрах все еще было сильно чувство, что ересь, в конце концов, не является "вещью". Она все еще находилась под определенным общественным запретом. Даже в тех общинах, где не было преследователей, на нее, должно быть, смотрели несколько настороженно.

Получив от тулузских "консулов" обещание, пусть и пустое, повиноваться преследованию, легаты обратили свое внимание на графа Раймонда. Они предложили архиепископу Нарбоннскому, примасу Лангедока, присоединиться к ним и потребовать от графа не только изгнания еретиков и конфискации их имущества, но и увольнения наемных войск, которые, как мы уже видели, были почти бандитами на действительной службе и разбойниками в чистом виде во все остальное время. Архиепископ отказался. Привыкший за долгую жизнь, полную легкости и богатства, видеть вокруг себя ересь, он, вероятно, давно разучился шокироваться ею. Что касается "разбойников", то он, вероятно, как и легаты, сделал поправку на то, что наемники были единственным возможным войском для такого владыки, как граф Тулузский, чьи вассалы-феодалы почти наверняка были либо не склонны к войне, либо непокорны, если не то и другое сразу. Зная своего человека и Лангедок в целом, он, должно быть, считал, что легатам бесполезно и глупо даже предпринимать такую попытку. Скорее всего, он был встревожен такой активностью папских легатов на его территории и боялся, что его собственное положение может оказаться под угрозой, а его собственная лень и недостойность будет брошена ему в зубы или обличена Папой этой назойливой парой цистерцианцев из его собственной провинции, которым лучше было бы остаться дома в своем аббатстве. Он отказался ехать с ними и даже вряд ли одолжил им лошадь для поездки. Епископ Безье, которого просили принять участие в поездке, также отказался, и легаты отправились в путь в одиночку. Что касается Раймонда, то в случае с монахами Сен-Жиль мы уже видели, что он охотнее обещал, чем выполнял. Теперь он не хотел даже обещать.

Даже де Кастельно отчаялся. Он написал Папе, рассказав о своей неудаче и попросив освободить его от обязанностей легата, чтобы вернуться в свое аббатство. Иннокентий удержал его, напомнив, что небеса воздадут ему не по его успехам, а по его трудам.

Однако, вероятно, именно письмо де Кастельно убедило Папу расширить рамки миссии. Теперь он пошел на радикальный шаг: лишил лангедокских епископов юрисдикции в делах о ереси и передал ее своим легатам. Кроме того, он пошел еще дальше и наделил легатов полномочиями отстранять любых священнослужителей от их благодеяний, если они покажутся ему недостойными их занимать, а также лишил осужденных права на апелляцию в Рим и отсрочку исполнения приговора.

С точки зрения канонического права это было революционно; предоставление легатам таких широких полномочий знаменует собой второй этап подготовки крестового похода.

Постепенно в Риме осознавали всю серьезность ситуации. Только четкая уверенность в том, что высшее духовенство Лангедока должно быть радикально очищено от злодеев и тех, кто лениво и вяло преследует ересь, прежде чем можно будет предпринять что-либо еще, оправдывала подобные меры.

Необходимость решительных мер доказывалась продолжающейся активностью еретиков. После графа Тулузского граф Фуа был самым крупным дворянином Лангедока. В том же году его сестра Эсклермонда была "еретичкой", и в огромной толпе, присутствовавшей на церемонии, только сам граф не смог "почтить" "Совершенную" в соответствии с предписанной еретической формой. Его жена уже была "катаркой", а другая сестра - вальденсианкой. Так обстояли дела в "миди".

Одновременно с расширением полномочий легатов Иннокентий уполномочил их предложить Филиппу Августу и его сыну Людовику полное отпущение грехов, как для крестового похода в Палестину, если они выступят против альбигойцев Лангедока. Снисхождение должно было распространяться на всех дворян, которые могли бы помочь в подавлении ереси; а все, кто находился под отлучением за преступления, связанные с насилием, дворяне или злодеи, должны были получить отпущение грехов, присоединившись к экспедиции. В то же время сам папа написал Филиппу прямое письмо, обещая ему не только полные индульгенции, как для крестового похода против мусульман, но и территории тех дворян, которые могут помешать благочестивой работе по подавлению ереси.

Время для удовлетворения такой просьбы было совершенно неподходящим для короля Франции, поскольку он был занят другими делами. Примерно в середине XII века в результате двух великих браков графы Плантагенеты Анжуйские (в дополнение к своим наследственным землям Анжу, Мэн и Турень) стали королями Англии и герцогами Нормандии, сюзеренами Бретани и герцогами Аквитании, включавшей Пуату, Гиенну, Гасконь и Овернь. Естественно, что, будучи хозяевами этой огромной территории, намного превосходящей по площади маленький королевский домен, которым непосредственно управляли только короли Франции, Анжуйские короли почти постоянно находились в состоянии войны с французскими королями, которым они теоретически были обязаны данью за свои континентальные владения. Помимо обширных земель, Плантагенеты обладали высокой личной энергией и полной безжалостностью; предполагалось, что их род происходит от дьявола, и, судя по их поведению, это было вполне вероятно. Кроме того, норманнская система управления и (как бы это сказать) "гражданской службы", которой они руководили и которую применяли на всей своей территории, была лучшей в своем роде в латинском христианстве, по крайней мере за пределами Неаполитанского и Сицилийского королевств, которые также находились под властью норманнов. На первый взгляд, "короли Парижа" выглядели безнадежно ошеломленными. С другой стороны, анжуйские владения не могли испытывать никакого чувства привязанности друг к другу. Их удерживали вместе только сверху. Тогда как за королями Франции стояли тусклые, огромные воспоминания о римском единстве; пока это были лишь "идеи", но во Франции идеи имели силу.

Мишле с уверенностью инстинкта противопоставил моду на великие печати Плантагенетов и Капетингов. Демон Анжуйской династии изображен полностью вооруженным, конным и всадником, в то время как короли Франции не нуждаются в боевом коне, доспехах и оружии,

а сидят на троне, держа в руках державу и скипетр, полные спокойного сознания признанной и признаваемой власти. Я еще раз повторю, что в то время не было почти ничего похожего на наше представление о национальностях; тем не менее, как мы видели в первой главе, его течения сильно склонялись в пользу центральных королевств, и особенно в пользу королей Франции. Даже в вопросе альбигойского крестового похода мы видим, что Капетинги, а вместе с ними и национальное единство, выиграли от завершения борьбы не меньше, чем Церковь.

Итак, в 1204 году в Париже воцарился великий человек, Филипп, чья фамилия Август сама по себе напоминала о Риме. Его характер был несколько отстраненным и далеким, он стремился воплотить в жизнь ту огромную тeneвую власть, которая принадлежала ему по праву в силу его должности. Как и его отец и дед, он был другом купцов и путешественников, могучим истребителем разбойников и защитником новых муниципальных коммун. Как и все его предки, он вступил в союз с церковью. Как и некоторые другие его предки, и как истинный француз, он мог ожесточенно ссориться с Папой, когда дело касалось его сукна, но, несмотря на то, что он занимался двоеженством по современному американскому плану, в вопросе своего второго брака он оставался "старшим сыном Церкви" и самым стойким защитником Папства в Европе, и в своем союзе с Церковью он получал столько же, сколько и отдавал.

С момента вступления Иоанна в 1199 году в права Плантагенетов долгая борьба между Анжуйцами и французской короной продолжалась в виде бессистемных набегов и стычек, прерываемых временными перемириями, которые ничего не решали. С февраля по сентябрь 1200 года Франция находилась под папским интердиктом за отречение Филиппа от своей жены, за которым последовал второй брак, после сомнительного аннулирования первого брака французскими епископами. Несмотря на то, что интердикт исполнялся несовершенно, он достаточно ослабил его общее положение, чтобы он согласился заключить перемирие с Иоанном и пообещать папе, что исправится. Как только интердикт был снят, снова начались интриги и стычки, которые все больше и больше складывались в пользу Филиппа. Осенью 1203 года начались крупные операции. После успешной шестимесячной осады замка Гайяр, завершившейся в марте 1204 года, Филипп завоевал всю Нормандию и лишил Иоанна всего континентального наследства Плантагенетов, за исключением Гаскони, Гиени и части Пуату. При таком количестве свежезавоеванных земель, которыми нужно было управлять, и при таком количестве новых вассалов, с которыми нужно было иметь дело, не время было просить короля Франции взять на себя тяжелую задачу вмешательства в борьбу с ересью в Лангедоке или даже ослабить себя, позволив кому-либо из сил своего королевства сделать это. Он отказался действовать.

Оставался шанс добиться чего-то путем реформирования персонала южной церкви, решительно используя чрезвычайные полномочия, предоставленные папским легатам. Теперь их было трое, и новый - Арнаут Амальрик, аббат Сито, а значит, глава могущественного ордена цистерцианцев, к которому принадлежали и Рауль, и де Кастельно. С появлением Арнаута (чья фамилия Амальрик напоминает о старинном роде вождей Амалов у готов) легаты попытались в полной мере использовать свои полномочия по низложению епископов. Они объявили о низложении Беренгера II, примаса Лангедока! Беренгер дерзко порвал с легатами и отказался покинуть свою архиепископскую кафедру в Нарбонне. Он яростно протестовал перед папой, утверждая, что только его преклонный возраст и "немощи" не позволяют ему лично выступить в Риме, поэтому его дело затягивается.

Тем временем епископ Безье, отказавшись ехать с легатами к графу Раймонду, пошел еще дальше в неповиновении им, чем его церковный владыка из Нарбонны. Когда его попросили

потребовать от "консулов" своего города, чтобы они отреклись от ереси и обязались изгнать еретиков, он сначала отказался наотрез и призвал магистратов не делать этого. Под давлением он, наконец, пообещал отлучить их от церкви, но не сделал этого. Тогда легаты отстранили его от должности и приказали выступить в свою защиту на сайте Rome. Вскоре после этого он был убит в результате предательства "среди своих людей" - почему, наши власти не сообщают.

Возможно, он был особенно медлителен в преследовании ереси, поскольку его сосед, епископ Каркассона, был изгнан за одну лишь угрозу сделать это. Муниципалитет Каркассона даже запретил кому-либо вступать в отношения с несчастным клириком под страхом крупного штрафа.

В том же году, когда был убит епископ Безье, легаты сместили епископа Тулузы за "симонию", то есть продажу назначений на церковные должности, находящиеся в его ведении. Это был беспокойный, феодальный человек, который проводил свое время в войне со своими вассалами и закладывал имущество своей резиденции направо и налево, чтобы иметь возможность делать это. Из-за его сопротивления преемника удалось избрать только в следующем году.

Пока Тулузская кафедра оставалась вакантной, де Кастельно снова смело отправился к Раймонду и запугал его, заставив принести клятву уволить своих разбойников-наемников и лично преследовать еретиков. Как и в случае с монахами Сен-Жиль, он не предпринял никаких шагов, чтобы сдержать свое слово.

Едва Раймонд присягнул, как консулы Тулузы приняли закон, запрещающий начинать обвинение в ереси после смерти обвиняемого, если только он не был "еретизирован" на смертном одре - некоторые кости еретиков были выкопаны и извлечены из освященной земли. И что еще хуже, предполагалось, что эти действия муниципалитета были вызваны влиянием Раймонда как владыки. Во всяком случае, он, похоже, дал на это согласие и, конечно, не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить это.

В целом 1205 год был столь же удручающим, как и его предшественники. Второе обращение к Филиппу Августу в феврале не принесло никаких результатов.

В 1206 году уныние легатов вновь достигло предела, как и двумя годами ранее. Единственным светлым пятном стало то, что соборный капитул Тулузы наконец-то избрал своим епископом Фулька Марсельского. Прославившись как трубадур, он вступил в цистерцианский орден и был избран аббатом. Фульк обладал энтузиазмом, свойственным новообращенным. Страсть, с которой он сочинял любовные песни, он перенес на свою новую задачу - поражение еретиков. Ему предстояло стать одним из главных участников крестового похода. Тем не менее его избрания было недостаточно, чтобы сохранить легатов в добром сердце, ведь в целом их задача была столь же неблагоприятной, как и прежде.

Ближе к середине лета три легата со своими свитами, а также несколько епископов из соседних областей собрались на совет в Кастельно (названном так в честь семьи легата Пьера де Кастельно) недалеко от Монпелье. Не только мягкий Рауль, но даже суровый и непреклонный Арнаут Амальрик, а также де Кастельно с его бесстрашным, пламенным духом были готовы отчаяться. Они говорили о том, чтобы отказаться от своей миссии. Кажется, они даже согласились сделать это, когда новый человек дал им новый импульс и совершенно иной план кампании.

Этим новым человеком был испанец Диего (или Дидакус), епископ Осмы в долине Верхнего Дору в Кастилии. Он много занимался дипломатическими делами у своего короля, а теперь возвращался из Рима, где получил от Папы Римского отказ на миссионерскую миссию к диким языческим татарам украинских степей.

Во главе свиты епископа Диего шел его субприор, Доминго де Гусман, впоследствии известный как святой Доминик, основатель ордена проповедников, носящего его имя. В то время это был молодой человек лет тридцати, стройный, светловолосый, одетый в белый халат и сюртук, которые носили каноники-августинцы. Он был джентльменом по рождению и происхождению, прошел университетский курс в Паленсии, стал каноником, а затем и субприором в Осме и был постоянным спутником епископа Диего. За три года до этого, сопровождая своего покровителя в одной из дипломатических поездок, он проезжал через Тулузу. Остановившись в доме одного еретика, он просидел с ним всю ночь, пока молитвами, увещаниями и доводами не убедил его отказаться от заблуждений. Теперь он вместе с Диего был допущен в зал совета легатов.

Никто из тех, кто непосредственно входит в нашу историю, не привел в движение такую силу, как святой Доминик. Он и святой Франциск, как никто другой со времен обращения Римской империи, должны были дать католической церкви новую власть над мыслями и привязанностями людей. Возможно, он был бы более значительным в нашем представлении, если бы его не рассматривали так часто вместе со святым Франциском. Правда, в его личности нет той необыкновенной поэтичности, простоты и очарования, как в "Поверелло" из Ассизи. Но в своем всепоглощающем рвении к вере он был равен Франциску, а в организаторских способностях и государственном умении приспособлять средства к целям, безусловно, превосходил Франциска. Он был необыкновенным человеком.

На данный момент он был всего лишь начальником свиты епископа Диего, и нет никаких свидетельств того, что он вообще выступал на совете. Именно Диего посоветовал легатам направить все свои силы на проповедь, а также (чтобы их пышность и свита больше не контрастировали с простотой и самоотверженным аскетизмом еретических вождей) предложил легатам избавиться от стражи, слуг, лошадей и даже от обуви и сандалий. Они должны были отправиться в путь босыми, в совершенной апостольской бедности, не имея ни кошелька, ни скрепы, как первоначальные двенадцать.

Люшар считает^[30] маловероятным, чтобы просто проезжий епископ, под свою ответственность, осмелился бы настаивать на столь поразительном отступлении людей, занимающих официальное положение легатов; и что, если бы он это сделал, его совет почти наверняка не был бы принят. Поэтому он делает вывод, что Диего действовал по приказу Иннокентия. Поскольку ни один из летописцев не упоминает об указаниях Иннокентия в это время, эта идея остается всего лишь предположением, хотя и достаточно вероятным.

Из какого бы источника она ни исходила, новое и радикальное предложение было нелегко принято легатами. Возможно, они боялись насмешек, возможно, оскорблений и телесных повреждений, если они будут ходить без защиты. Во всяком случае, они упирались, говорили, что последуют за ними, если кто-то покажет пример, и в итоге подражали Диего, когда он сам применял на практике то, что только что проповедовал.

С этого решения начинается третий и последний этап подготовки крестового похода. Апостольству проповеди суждено было продолжаться во время самого крестового похода и перерасти в великий доминиканский орден. Идея добровольной бедности в служении другим должна была наэлектризовать христианство и остаться постоянной силой в мире.

Быстро приняв новый план действий, легаты, Диего и Доминик, энергично принялись за дело. Арнаут, который должен был вернуться в Сито, чтобы председательствовать на приближающемся генеральном капитуле своего ордена, отправился туда пешком. Тем временем де Кастельно и Рауль с двумя испанцами и другими священнослужителями, прикрепленными к легату, разделились на тройки и четверки и отправились по всей стране. Босиком, выпрашивая хлеб и имея при себе только посох и бревиарий, они проповедовали и публично дискутировали против еретиков-"перфектов". Мы слышали об этих официальных "теологических турнирах", которые длились неделю в Сервиане близ Безье, две недели в самом Безье, восемь дней в Каркассоне. Разумеется, недостатка в энергии не было.

К сожалению, усилия не принесли соразмерных результатов. Питер де Во-Керне рассказывает, что в Сервиане жители были настолько тронуты дебатами, что изгнали бы еретиков, если бы не противодействие местного сеньора, и что они с триумфом провожали миссионеров по дороге, когда те покидали город. Но в Безье среди жителей было столько враждебных чувств, что Диего и Рауль посоветовали де Кастельно бежать, спасая свою жизнь. Очевидно, легаты не без причины медлили с отставкой своей вооруженной охраны. В Каркассоне мы слышим о чуде, но обращений не происходит. В окрестностях Доминик горячо обличал некоторых крестьян, возможно, катаров, которые собирали урожай в день святого Иоанна. Один из них в ответ пригрозил святому, как вдруг он и его спутники обнаружили, что снопы, которые они держали в руках, покраснели, как от крови. Говорят, что в Верфейле, где за шестьдесят лет до этого высмеивали святого Бернарда, дебаты прошли полностью в пользу католиков, не произведя на людей никакого впечатления. Очевидно, что, хотя новая тактика и произвела определенное впечатление, особенно на низшие слои населения, быстрого прогресса не предвиделось.

В ноябре Папа официально предписал уже принятые новые методы. Легаты должны были выбрать на сайте людей с "доказанной добродетелью", которые, "скромно одевшись и приняв за образец нищету Христа", должны были отправиться в путь, чтобы совершать обращения. Новый отряд должен был быть испытан до конца.

Эти усилия были продолжены в том же духе в 1207 году. Арнаут Амальрик на своем генеральном капитуле набрал много своих цистерцианцев, включая двенадцать аббатов, и это подкрепление придало новый импульс работе по обсуждению и проповеди. Конференции становятся все более официальными и проходят с большим размахом, привлекая всеобщее внимание. В частности, мы слышали о двух, одной в Монреале и одной в Памье.

В Монреале дебаты длились две недели, и здесь, по словам Питера де Во-Керне, действительно произошло чудо, помещенное доминиканской традицией в Фанжо. Святой Доминик составил краткое изложение своих аргументов, как и еретики, и оба меморандума были представлены четырем судьям дебатов - двум рыцарям и двум бюргерам. Судьи, собравшись на совещание, не смогли прийти к согласию и решили применить форму испытания. Для этого они торжественно бросили обе рукописи в огонь. После этого еретический манускрипт немедленно вспыхнул, а рукопись святого Доминика, трижды брошенная в огонь, трижды была изгнана из него невредимой. Судьи решили ничего не говорить по этому поводу и, чудо или не чудо, так и не вынесли решения.

Последние публичные дебаты состоялись в Памье, на территории и под покровительством Раймона Роже, графа Фуа. Верный своей обычной политике "добрый господин, добрый дьявол", граф поочередно развлекал спорщиков обеих партий и предоставил для дебатов свой большой зал. Со стороны католиков епископа Осмы поддерживали епископ Тулузский

Фульк и епископ Консеранский. Оппозиция, похоже, была в равной степени вальденсианской и катарской. Председательствовал один судья. В ходе дебатов Эсклермонда, еретическая сестра графа Фуа, ворвалась в прения в пользу катаров с уверенностью римской дамы первого века или современной богатой англичанки или американки. Однако в этом случае один из присутствующих католических священников, Стефан из Меца, ответил: "Возвращайтесь к своему спиннингу, не вам произносить речь в такой компании", и она, похоже, утихла, возможно, задохнувшись от гнева из-за того, что к ней так обратился жалкий босоногий священник. В конце конференции некоторые вальденсы, среди которых был Дюран (или Дюран) из Уэски, испанский вальденс, видный член секты, были обращены в веру. В остальном эта конференция, похоже, тоже не принесла особых результатов. Как и в Монреале, решение не было принято.

Хотя после конференции в Памье мы больше не слышим о публичных дебатах большого масштаба, проповедническая работа миссии продолжалась. Легат Рауль исчезает из истории. Епископ Осмы вернулся в свою епархию, чтобы умереть, тем скорее, возможно, из-за трудностей, которым подвергал себя старик, но оставил Доминика продолжать работу. Арнаут Амальрик снова был на время отозван по делам в Северную Францию, оставив Пьера де Кастельно и (по-видимому) Доминика в качестве доминирующих личностей папской миссии.

В 1207 году, когда состоялись конференции в Монреале и Памье, от прежней идеи оказать давление на светские власти ни в коем случае не отказались. Вполне возможно, как предполагает Люшер, что люди, подобные де Кастельно, Арнауту Амальрику и Фульку, все это время продолжали верить в более жесткие меры, чем простое убеждение. И в этой вере, если они ее придерживались, время должно было показать их правоту. Де Кастельно переправился через Рону в "маркизат Прованс" Раймона и уговорил тамошних дворян объединиться в лигу, которую он организовал для предотвращения междоусобных распр между ее членами. Далее он договорился включить в задачи лиги преследование еретиков, а затем призвал самого Раймонда присоединиться к ассоциации, созданной для двух столь достойных целей этой немалой группой его вассалов.

Раймонд отказался. Помимо того, что он совершенно не желал преследовать ересь, он, вероятно, чувствовал, что его престиж пострадает, если он будет делать это как поздний гость в ассоциации своих собственных сеньоров, которую он не сам помог организовать.

Следующий шаг де Кастельно свидетельствует о нарастающем отчаянии, вызванном многолетними неудачами. Он отлучил графа от церкви. Он наложил запрет на его земли. Не удовлетворившись этим, он смело вышел к нему и публично, в лицо, осудил его. Без сомнения, он бросил в зубы два обещания, которые уже нарушил: первое - данное в 1199 году Папе в отношении монахов Сен-Жиля, а второе - данное самому де Кастельно в 1205 году, за два года до доноса, когда он поклялся уволить наемные войска и преследовать еретиков. Зрелище, должно быть, было драматическим; монах, помните, особенно навлек на себя ненависть еретиков и покладистых католиков (которые между собой составляли почти весь Лангедок), вставая босиком в своем сером цистерцианском одеянии и проклиная в лицо величайшего повелителя юга. Для защиты у него не было ничего, кроме морального авторитета, которым все еще обладала Церковь перед лицом царившей вокруг ереси. Его злейший враг не смог бы отказать де Кастельно в мужестве.

Иннокентий не терял времени на утверждение приговора. Он приказал архиепископам Вьенны, Эмбруна, Арля и Нарбонны опубликовать его и привести в исполнение. Он сделал больше: он написал прямое и яростное письмо самому Раймонду.

Пункты обвинения, повторенные архиепископам, интересны и всеобъемлющи. Помимо двух основных обвинений - в найме разбойников-наемников и отказе преследовать еретиков, граф Раймонд отказывался прерывать военные действия во время Великого поста и в дни праздников, делал крепости из церквей, преследовал аббатства, разорял епископа Карпентраса, даровал государственные должности евреям, отказался присоединиться к лиге мира Прованса, увеличил пошлины на дорогах и мостах, приютил еретиков, и, наконец (хотя это никогда не было доказано и, похоже, не было фактом), сам стал еретиком. Особенно интересно, что в соответствии с осуждением церковью ростовщичества и вымогательства в целом, он занял твердую позицию в вопросе о пошлинах.

Естественно, его вассалы не несли никаких обязательств по верности, пока их господин оставался неприкосновенным. Если кто-либо оказывал ему помощь и утешение, тот, *ipso facto*, отлучал себя от церкви, вплоть до кузнеца, который мог подковать ему лошадь.

Письмо Папы к самому Раймонду было уничтожающим. "Наглая глупость и тирания" были одними из самых мягких его выражений. В нем с надеждой говорилось о том, что графу грозит лихорадка, проказа, паралич, бесовское безумие, метаморфоза в чудовище по примеру Навуходоносора. Противопоставляя его любовь к войне ангельской преданности миру, которую демонстрируют провансальские дворяне и "прославленный" король Педро Арагонский, она уподобляла своего адресата вороне, питающейся трупами. В целом тон письма оставлял желать лучшего.

В частности, Иннокентий обвиняет графа в том, что тот ответил де Капельно, что легко можно найти еретика, возможно, "катарского епископа", который докажет превосходство их религии над католической. Таким образом, он говорит о серьезных основаниях для подозрений в ереси в случае Раймона, но тщательно оберегает себя от того, чтобы преподнести это как факт. Он должен быстро и в полном объеме дать признательные показания и добиваться отпущения грехов. В противном случае он потеряет графство Мельгуил, принадлежащее ему как вассалу Римской церкви, а если этого будет недостаточно, то против него поднимутся другие князья и получат право собственности на любые его земли, которые они смогут завоевать.

Раймонд пал духом. Он подписал провансальское перемирие и снова поклялся сделать все, что от него потребуют. Но роковая слабость его характера заключалась в том, что он всегда был готов заложить свое будущее, поддавшись на настоящие угрозы, а затем не выполнить взятые на себя обязательства. Он никак не мог понять, что в конечном счете подобное поведение будет для него еще хуже, чем открытое сопротивление. И снова он ничего не сделал.

Тем временем святой Доминик, приложив руку к плугу, не собирался отступать. Ему удалось обратить несколько человек в свою веру. Сохранилась епитимья, наложенная на одного из них, чтобы примирить его с Церковью. Его дата, по-видимому, 1207 или 1208 год. Оно предписывает Понсу Роже из Тревиля "в Лаурагуа" в течение трех воскресений подряд раздеваться до пояса и идти пешком от окраины своей деревни до церкви, причем священник должен бить его прутьями на протяжении всего пути. Он должен носить религиозную (то есть монашескую) одежду с нашитыми на нее крестами. До конца жизни он не должен есть ни мяса, ни яиц, ни сыра. Исключение сделано для великих праздников Пасхи, Пятидесятницы и Рождества, но не для удобства кающегося, а для того, чтобы он мог открыто показать, что нарушил катарский закон о посте, описанный в предыдущей главе. Три дня в неделю он не должен есть ни рыбы, ни масла, ни вина, кроме как в случае болезни. Он должен соблюдать три поста в году и жить в вечном целомудрии. В довершение всего он

обязан не реже одного раза в день посещать мессу и раз в месяц предъявлять приходскому священнику покаянное письмо. Если он ослушается, его ipso facto отлучат от церкви как еретика и клятвопреступника в придачу. По поводу этого громоздкого каталога добрая матушка Дрейн, сравнивая его со сравнительной мягкостью современного римско-католического покаяния, замечает, что... (эта)... "разница... должна покрыть нас унижением за слабость современного покаяния, а не побуждать нас критиковать строгость, с которой Церковь всегда смотрела на грех"[31]. К сожалению, даже в XIII веке немногие провансальцы, похоже, придерживались мнения этой доброй дамы. Совершенно точно, что новообращенных, готовых пройти столь героический путь ради примирения с Церковью, было немного.

В другом направлении труды святого Доминика были более плодотворными. Он заметил, что еретики практикуют заботу о детях из бедных семей, чтобы воспитать их в католических обычаях и верованиях. Поэтому он основал знаменитый женский монастырь в Пруйе, чтобы принимать девочек, детей бедных католиков, а также женщин, обращенных в ересь, которые хотели получить надежное убежище, где они могли бы наслаждаться своей новой верой. Это место удовлетворяло реальную потребность и процветало с самого начала.

Однако, несмотря на славу, которую Пруиль должен был обрести в будущем, его основание не оказало непосредственного влияния на ситуацию. Как мы уже видели, обращенных проповедью было мало. Народ интересовался проповедями не больше, чем гнилыми яблоками, замечает "Шансон де ла Крестовый поход". В третий раз уныние обрушилось на папскую миссию в Лангедоке.

Есть несколько свидетельств, доказывающих, что в святом Доминике уныние его коллег-миссионеров вылилось в гнев. Говорят, что, обращаясь к прихожанам в Пруйе, он рассказал о своих годах проповедей, молитв и слез в их защиту, а затем процитировал испанскую пословицу: "Используй палку там, где не поможет благословение!" "Итак, - сказал он, вызывая перед ними видения войны и резни, - сила будет преобладать там, где сладость потерпела неудачу".

Если эта проповедь святого Доминика действительно была произнесена в конце 1207 года, то она совпала по времени с новой, особенно торжественной и настоятельной серией писем, адресованных Иннокентием не только Филиппу Августу, но и главным вассалам этого короля - герцогу Бургундскому и графам Барскому, Дрё, Неверскому, Шампанскому и Блуа. Папа напомнил "французским" принцам (то есть, как принято говорить, северофранцузским) о девяти годах, уже потраченных на безнадёжные попытки обратить южных еретиков с помощью мягкости. Теперь, сказал он, страдания войны должны привести их к истине. Те, кто принял Крест, должны были получить полное и окончательное отпущение грехов, как если бы их крестовый поход был в самую Палестину. Как земли еретиков должны были стать их законной добычей, так и их собственные земли и семьи находились под особой защитой Папы. Ни один кредитор не мог взыскать с крестоносца проценты за время его отсутствия, а крестоносное духовенство имело право закладывать свои доходы на два года вперед. Действительно, кажется, что Папа вряд ли мог предложить более высокую цену. К этому времени он, должно быть, был убежден не только в том, что альбигойцев необходимо подавить силой, но и в том, что эта задача по важности равна возвращению самой Святой земли. Лучше лев в пустыне, чем дикая кошка в опочивальне", - как заметил Саладин Ричарду Кёру де Льву, по словам Скотта. Иннокентий почти наверняка утверждал, что сарацинский лев был честным бойцом, в то время как зубы и когти альбигойской дикой кошки несли в себе яд.

Мы не слышим ответа на три предыдущих обращения Иннокентия, но в данном случае Филипп ответил кратким письмом, написанным от имени короля епископом Парижским. Ответил ли кто-либо из его великих вассалов, неизвестно, но если их решения существенно отличались от решений их повелителя, то они, конечно, не имели силы. Ответ короля был типичен для более холодной стороны его характера, ведь помимо неутомимой энергии, смелости там, где только смелость могла ему помочь, и дара к интригам, он обладал благоразумием, которое никогда не шло на ненужный риск, а старалось получить как можно больше шансов на своей стороне, прежде чем действовать. Как мы говорим, он был великим "политиком". За три года до этого, захватив Нормандию, он очистил устье Сены, единственной судоходной реки во Франции, в среднем бассейне которой находился центр его власти. Впервые после датского нашествия, которое произошло почти три века назад, северная Галлия держала в руках ключи от своих собственных дверей, и ее торговля могла приходить и уходить по собственному желанию. Он сделал больше. Он обосновался в богатой нижней долине мелководной Луары и оттеснил Иоанна почти до Дордони. Теперь, когда он получил письмо Иннокентия, сезон кампаний 1207 года прошел без происшествий благодаря двухлетнему перемирию, заключенному предыдущей осенью (1206 года), до которого оставалось еще около года. Тем не менее король Франции знал, что Иоанн не отказался от борьбы, а прилагает большие усилия для сбора средств на наем наемников и подкуп возможных союзников. Архиепископ Йоркский только что отправился в изгнание в знак протеста против беспрецедентного налогообложения английского духовенства на эти благочестивые цели. Кроме того, по всей Европе ходили разговоры, что Иоанн отказывается признать Стивена Лэнгтона архиепископом Кентерберийским, несмотря на сильное давление со стороны Иннокентия. Полного разрыва еще не произошло, но отношения между королем Англии и папой становились все более напряженными.

В этих условиях ответ Филиппа Августа на приглашение Иннокентия отправиться в крестовый поход в Лангедок был, по сути, полусогласием, обставленным такими условиями, которые фактически превращали его в отказ. Он напомнил папе о его войне с Иоанном. Его ресурсы были недостаточно велики, чтобы он мог собрать сразу две армии. Пусть Иннокентий, во-первых, заключит твердое перемирие между Иоанном и собой на два года, а во-вторых, издаст указ о налоге на французское духовенство и дворянство. Затем, согласно изложению письма Люшера, Филипп Август сам предпримет крестовый поход, оставляя за собой право вывести свои войска в случае нарушения Иоанном перемирия. По словам Леа, он обещал в случае заключения перемирия лишь разрешить своим баронам предпринять крестовый поход и помогать им пятьюдесятью ливрами в день в течение года. В любом случае он прекрасно понимал, что Иннокентий не сможет добиться перемирия с Иоанном. Поскольку король Англии уже опасался возможного отлучения от церкви для себя и интердикта для своего королевства, папа не имел на него никакой управы. С хитростью, достойной его далекого римского тезки Августа, король Франции заведомо предлагал условия, которые невозможно было выполнить.

В те времена медленного сообщения мы не знаем точно, сколько времени требовалось важным депешам, чтобы пройти между Римом и Парижем. Письмо Иннокентия датировано 17 ноября 1207 года, но, возможно, еще до того, как оно было получено, и уж точно до того, как король Филипп успел дать на него неутешительный ответ, было совершено преступление, которое поставило всю игру в руки Папы. 15 января 1208 года легат де Кастельно был убит приближенным графа Раймонда.

О преступлении существуют разные версии. В плохо информированный викторианский период Халлама можно было утверждать, что Раймон ни в чем не виноват. Существует

версия, что легат вступил в жаркий религиозный спор с одним из джентльменов графской свиты, в результате чего выхватил кинжал и убил его. Версия католических хронистов в основном такова: Раймонд созвал легатов на конференцию в Сен-Жилле, чтобы договориться об условиях, на которых он мог бы удовлетворить Церковь и тем самым добиться снятия отлучения, действующего в отношении него самого, и интердикта на его земли. Вероятно, ему сообщили о новом призыве к крестовому походу, и он был соответствующим образом напуган. Как и прежде, он был готов пообещать все, что угодно, но де Кастельно и присутствовавший при этом епископ Консеранский к этому времени хорошо его понимали и отказывались давать отпущение грехов, пока он не начнет хотя бы выполнять свои легко даваемые обещания. Леа говорит о "требованиях, которые были выше, чем Раймонд был готов уступить". По всей вероятности, де Кастельно вел дело с большой буквы. Мы уже видели, как он был вынужден бежать ночью из Каркассона, и уже проклинал Раймона в лицо. Он привык говорить, что дерево веры никогда не взойдет в Лангедоке, пока его корни не будут политы кровью мученика. Теперь, когда дискуссия должна была быть прервана, Раймонд, как говорят, произнес угрозы, более или менее туманные. Опасаясь за легатов, аббат и мещане Сен-Жилля предоставили им эскорт до западного берега Роны, где они провели ночь в гостинице, уже частично занятой людьми Раймонда. Утром, отслужив мессу, церковники отправились на переправу через реку, причем де Кастельно ехал (по словам Вильгельма Тудельского) "на своем запряженном муле", что, по-видимому, свидетельствует о том, что в его случае практика босоногой апостольской бедности продлилась недолго, когда "сержант" (то есть тяжеловооруженный конный солдат не благородных кровей) на службе графа, вероломно подошедший сзади, смертельно ранил его своим копьем. "Да простит тебя Бог, как и я прощаю тебя!" - сказал умирающий.

Рассказы о поведении Раймонда после преступления расходятся так же сильно, как и о самом преступлении. В версии, которую приводит Леа, утверждается, что граф, "...сильно обеспокоенный столь прискорбным событием, ... стал бы мстить убийце, если бы он не сбежал и не скрылся у друзей в Бокере". По словам католического летописца Питера де Во-Керне, Раймонд показывался во всех своих владениях с убийцей рядом, делал ему интимные знаки и осыпал его похвалами и подарками. Именно эту версию широко опубликовал Иннокентий, хотя со свойственной ему адвокатской щепетильностью он добавляет, что тем самым лишь повторяет присланные ему отчеты, что создает впечатление, будто, возможно, он не совсем верил этим рассказам. Наконец, стоит отметить, что, в отличие от Бекета, мученик де Кастельно не был канонизирован, а его гробница в Сен-Жиль не стала центром паломничества и чудес.

Какими бы ни были подробности этого дела, преступление сделало Иннокентия хозяином положения. Как и в случае с Бекетом, так и в случае с де Кастельно: мертвый церковник оказался слишком тяжел для мирянина, успешно сопротивлявшегося ему в живых. Папа не терял времени. В течение трех месяцев после убийства непревзойденная папская тяжелая артиллерия проклятий была пущена в ход так энергично, что почти превзошла саму себя. Каждому епископу в землях Раймонда были разосланы пламенные циркулярные письма, в которых рассказывалось о преступлении и убедительных предположениях о причастности к нему графа, предписывалось отлучить убийцу от церкви, отлучить Раймонда от церкви и расширить интердикт на земли Раймонда, чтобы охватить все места, которые он или убийца могли бы проклясть и осквернить своим присутствием. Этот шедевр проклятия должен был быть торжественно оглашен с колоколом, книгой и свечой во всех церквях и повторяться, до дальнейшего уведомления, каждое воскресенье и праздничный день. Личность Раймонда

объявлялась вне закона, его земельные владения аннулировались, сохраняя лишь права короля как сюзерена; любой католик, который был в состоянии, мог убить его и захватить все, что ему принадлежало. Его вассалы были освобождены от клятвы сеньора, а союзники - от союзнических клятв. Прежде чем искать примирения путем покаяния, он должен был сначала изгнать еретиков из своих владений. "Нет жалости к этим преступникам, которые, не довольствуясь тем, что развращают души, потворствуя ереси, убивают и тела".

В то же время были разосланы письма французским епископам и архиепископам, Филиппу Августу и его главным вассалам. Прелатам предписывалось помочь легатам заключить мир между Капетами и Анжуйцами, а также воодушевить духовенство и мирян на крестовый поход. Филиппа поздравляли с большим ростом его могущества, его привязанностью к Святому престолу и ненавистью, которую он часто проявлял к ереси. Теперь, как утверждалось, его должность вынуждала его наказать убийц папского легата. Однажды он уже совершил крестовый поход в Палестину. Теперь он снова должен служить Церкви, которой все больше и больше угрожали еретики, которые были хуже сарацинов (эпохальное выражение). Его долг - изгнать Раймонда, отнять землю у еретиков и отдать ее добрым католикам, которые будут верно служить Господу, *"под счастливым сюзеренитетом Филиппа"*. Вероятно, Иннокентий хотел, чтобы Филипп прочел между благочестивыми строками мысль о том, что вассалы, непосредственно посаженные королем на новые земли, будут гораздо более его креатурами, чем те, кто владеет ими по длинной цепи наследования. Как обычно у Иннокентия, письмо является шедевром в своем роде.

Тем временем Арнаут Амальрик поспешил созвать генерального главу всего цистерцианского ордена. То, что убитый де Кастельно сам был цистерцианцем, стало для его ордена дополнительным поводом позаботиться о том, чтобы их погибший брат не был забыт и чтобы дело, за которое он отдал свою жизнь, не потерпело краха из-за отсутствия поборников. На собрании генерального капитула было принято единогласное решение направить все силы ордена на проповедь крестового похода, и сразу же по всему христианству монахи принялись будоражить народ.

Во всем этом Арнаут Амальрик превзошел самого себя. В "Шансоне крестового похода" он говорит словами, которые повторяют яростную (иногда гротескную) риторику, которую он вполне мог использовать: "Прокричите об индульгенциях по всей земле, даже до Константинополя. Пусть тот, кто не пойдет в крестовый поход, никогда больше не пьет вина, никогда больше, вечером или утром, не ест со стола, покрытого скатертью (!), пусть никогда больше не носит одежды из льна или льняной ткани, а после смерти пусть будет похоронен как собака".

Письма Иннокентия и не менее страстные проповеди цистерцианцев возымели свое действие. Энтузиазм нарастал. Это было похоже на зловещие треск и стон, которые иногда следуют за взрывом тяжелого взрывного заряда у основания горы, угрожая оползнем, возможно, более сильным и неконтролируемым, чем предполагали те, кто закладывал поезд.

И все же Филипп Август выделился. Он написал Иннокентию письмо, полное благопристойной скорби по де Кастельно, в котором изложил и свои собственные жалобы на Раймона. Хотя тулузцу принадлежало одно из крупнейших баронств королевства, он не оказал своему сюзерену никакой помощи в великой борьбе с Иоанном. Более того, когда Филипп взял Фалез, он обнаружил тулузских солдат среди гарнизона Иоанна. Тем не менее король Франции отказался всей душой участвовать в крестовом походе. Он еще раз повторил, что Иннокентий должен дать ему средства для сбора денег на экспедицию и проследить, чтобы Иоанн оставался спокойным. Он даже преподал Папе урок права,

настаивая на том, что Раймонд не может быть лишен своих земель и почестей (эти два слова были почти синонимами для средневекового человека), если только он не был предварительно осужден за ересь, а это не так. Был ли он на самом деле недоволен идеей крестового похода, точно не известно. Кажется, что он вполне мог рассчитывать на лучшую службу со стороны северофранцузских баронов, обосновавшихся в Лангедоке, чем со стороны его наследственных лордов, привыкших к независимости Парижа. Мы видим, что он пытался, по крайней мере, ограничить численность крестоносной армии. В своем разрешении Эудесу герцогу Бургундскому и Эрве графу Неверскому взять Крест он оговаривает, что между собой они должны взять не более пятисот рыцарей.

Примечательно, что это письмо было вычеркнуто из королевского реестра. События должны были заставить короля пожелать уничтожить любые доказательства, которые могли бы поставить его в положение человека, препятствовавшего Крестовому походу.

Тем не менее он упорно отказывался лично присоединиться к предложенной экспедиции. Иннокентий сделал все возможное, чтобы переубедить его. Попросив его в письме от 9 октября 1208 года помочь легатам убедить его подданных принять крест, папа снова написал ему 9 февраля 1209 года, прося назначить командира, которому все должны были подчиняться, и таким образом избежать опасности раздоров в высшем командовании крестоносцев. Король Франции предпочел, чтобы вся ответственность за это предприятие лежала на Папе.

Французских дворян и их сторонников мало волновала холодная осторожность их короля. Французы были и должны были быть первыми в каждом крестовом походе, начиная с Годфруа де Буйона и заканчивая внуком Филиппа, Святым Людовиком. Это особый и постоянный дар этого народа - не только формулировать идеи в ясных и определенных терминах, но и действовать в соответствии с ними с интенсивностью и страстью, которые неизменно поражают тех, кто их не знает. И наконец, их слава в том, что идеи, которые они так четко формулируют и на основе которых они так интенсивно действуют, становятся инструментами огромных и прочных свершений. Они - удивительная нация.

Теперь они начали роиться, как пчелы. Видя, что Лангедок враждебен вероучению, которое вдохновляло и объединяло все их общество, они приготовились двинуться на него, как их потомки, распевая "Марсельезу" и крича о "Свободе, равенстве, братстве", вышли против королей Европы. В крестовых походах, как и в последующих крестовых походах Республики и Империи, вдохновением служила трансцендентная формула, по своей природе, следовательно, неспособная к доказательству, но обладающая огромной силой возбуждать и убеждать. Более того, эта формула, вероучение, была видимым архитектором нового и плодотворного мира. Крестоносные времена, должно быть, чувствовали себя выше Темных веков, как французские республиканцы презирали бесчисленные мелкие ограничения, которые превращали старый режим в удушающую вещь. Поэтому они были готовы выйти, как мы или наши потомки могут увидеть, как выходят французы, чтобы сразиться за вероучение и тем самым изменить мир.

Конечно, были и другие, менее важные мотивы. Вместо долгого и опасного путешествия в Палестину достаточно было сорока дней службы в Лангедоке, чтобы получить крестоносные индульгенции. Цена за спасенную совесть упала. Кроме того, враг, с которым предстояло сражаться, наверняка был разбит на части, и уж точно он был богат и не воинственен по сравнению с теми, кто готовил вторжение. Зависть к изысканному и богатому Югу, несомненно, подстегивала многих крестоносцев. Наконец, существовал шанс не только награть, но и навсегда завладеть городом за счет еретика. Несомненно, некоторые

крестоносцы чувствовали, что они используют Церковь больше, чем Церковь использует их, подобно тому, как некоторые из наших крупных работодателей используют низменный религиозный фанатизм (который в других отношениях они презирают), чтобы лишить работника его пива.

Раймонд был напуган, и неудивительно. Он чувствовал, как трескается и колыхается земля под его ногами. Слабый и неспособный к действию, он, по крайней мере, обладал достаточным умом, чтобы не стоять на месте перед угрожающей ему опасностью. Первым его шагом, похоже, было посоветоваться со своим племянником и вассалом Раймоном Роже Тренкавелем, виконтом Безье и Каркассона, чтобы выработать общий план действий. В этом он не преуспел. По одним данным, племянник выступал за сопротивление, а его дядя - за подчинение, по другим - эти позиции меняются местами. Во всяком случае, они не смогли договориться о том, что нужно делать, и расстались на плохих условиях. Далее граф Тулузский отправился ко двору своего повелителя, короля Франции. Филипп принял его любезно и вежливо, но ничего не обещал. Одни говорят, что он посоветовал Раймонду уступить, а другие, что он запретил Раймонду обращаться к императору Оттону, который был недружелюбен к Филиппу.

Следует пояснить, что Оттон в течение десяти лет постепенно проигрывал в бессистемной гражданской войне за императорскую корону. Иннокентий поддержал его в обмен на предоставление Церкви более широких привилегий. Тем не менее другой претендент, Филипп Гогенштауфен, герцог Суабии, младший брат грозного Генриха VI, опираясь на престиж своей линии и традиционную для Германии неприязнь к вмешательству папы, постепенно одерживал верх. Отто был племянником Иоанна Английского, его матерью была принцесса Плантагенетов Матильда, дочь Генриха II и Элеоноры. Поэтому неудивительно, что он поддерживал тесные отношения с Иоанном и, соответственно, враждовал, по крайней мере в дипломатии, с Филиппом Августом, смертельным врагом Иоанна. Филипп Август даже зашел так далеко, что вступил в отношения с соперником Оттона Филиппом Суабским. Хотя ни оба Филиппа, ни Оттон и Иоанн никогда не оказывали друг другу активной помощи, кроме дипломатической и моральной поддержки, все же дипломатический союз имел значение. В июне 1208 года соперник Оттона, Филипп Суабский, был убит. Позиции Оттона, соответственно, укрепились, тем более что он не имел никакого отношения к преступлению, которое было совершено из личных побуждений.

Во время визита Раймонда к Филиппу Августу Оттон только что стал единоличным императором, поэтому король Франции был особенно озабочен тем, чтобы Раймонд не привязался к могущественному немецкому племяннику Иоанна Плантагенета, своего главного врага. Как это часто случалось в феодальном праве, у Раймонда было несколько повелителей. За большую часть своих земель он был обязан верностью королю Франции. За маркизат Прованс, лежавший к востоку от Роны, и за графство Виваре, расположенное к западу от этой реки, он был "человеком" императора. Интерес Филиппа к нему был настолько больше, чем интерес Оттона, что Раймонду следовало бы оставить немца в покое. К сожалению, он никогда не умел смотреть на вещи широко. Со свойственным ему умением делать именно то, что в конечном итоге принесет ему наибольший вред, он перешел от Филиппа к Оттону. У императора не было своего собственного дома, поэтому он не мог оказать никакой помощи, а любые отношения с ним наверняка ослабили бы позиции Раймонда в отношениях с Филиппом.

У Тулузена оставался последний выход - броситься на милость легатов и папы. Пока он бежал за Филиппом Августом и Оттоном, его агенты вели дела с папской курией, получив инструкции поднять вопрос о личности Арнаута Амальрика. Если будет послан другой легат,

менее жесткий и безжалостный, Раймонд разрешил им пообещать полную покорность. Пока послы Раймонда излагали эти обещания (несомненно, в полновесном ораторском искусстве, характерном для меридов и по сей день), возлагая вину за случившееся на Арнаута Амальрика и осыпая богатыми подарками всех, кто мог быть им полезен, сам Раймонд выдавал игру, бросая себя на милость человека, с которым, как он утверждал, не желал иметь никаких дел ни на каких условиях. Услышав, что Арнаут Амальрик держит совет в Обинасе, он пал на колени у ног Арнаута и стал просить о пощаде и помиловании. Как и следовало ожидать, он ничего не добился, аббат холодно отослал его в Рим. Бесплодное унижение привело лишь к еще большему обострению отношений с племянником и, по возможности, к еще большему снижению мнения церковников о его нечестных отношениях с ними.

Иннокентий решил поиграть с несчастным графом. Как бы ни был он отлучен от церкви, тот факт, что его агенты были приняты в Риме и их жалобы на Арнаута были выслушаны, может служить доказательством того, что Папа и его советники уже обдумывали подобный план. Безусловно, неоднократные перетасовки Раймона с Церковью были достаточны, чтобы свести на нет все дальнейшие претензии на его внимание. Теперь его страх должен был быть использован для того, чтобы поставить его под власть Рима, чтобы уменьшить его способность сопротивляться предстоящему Крестовому походу, если он решит это сделать. Что касается отказа от крестового похода, то, что бы ни сделал Раймонд, это, вероятно, не рассматривалось ни на минуту. После десяти лет неудач Рим наконец убедился, что с ересью в Лангедоке ничего нельзя поделать, кроме как навести ужас на эту страну. Кроме того, теперь, когда крестоносная армия была фактически мобилизована, Церковь не могла отозвать экспедицию, даже если бы захотела.

Поэтому курия удовлетворила просьбу Раймонда о новых легатах. Не отстраняя Арнаута Амальрика, папа дал ему двух новых коллег - Мило, нотариуса Латерана, и Феодосия, генуэзского каноника, которые должны были договориться об условиях примирения графа с Церковью. Раймонд был вне себя от радости, и есть свидетельства того, что Арнаут Амальрик и его коллега епископ Консеранский были соответственно подавлены или, по крайней мере, озадачены очевидным успехом тулузских послов в Риме с их беглыми языками и осыпанием подарками.

Иннокентий поспешил успокоить своих предыдущих легатов. Мило получил приказ беспрекословно подчиняться Арнауту Амальрику. Новые назначения были простой уловкой. Папа цитировал Священное Писание в защиту использования ремесла и объяснял, что, хотя на какое-то время это выглядело благосклонно к Раймонду, меньших защитников ереси будет легче сокрушить крестовым походом. Самого Раймонда, если он не предпримет никаких действий в поддержку своих вассалов, сначала оставят в покое. Затем, когда от него избавятся те, кто мог бы сплотиться вокруг него, с ним можно будет легко расправиться в свою очередь - то есть "если он будет упорствовать в своих злодеяниях", добавил Иннокентий для проформы. То, что выглядело как дипломатическая победа Раймонда, было лишь шагом к тому, чтобы сделать его гибель более уверенной.

Весной и в начале лета 1209 года благочестивая комедия была разыграна. Раймонд снова торжественно поклялся (должно быть, он знал формулы наизусть, ведь он так часто клялся в этом) считать еретиками тех, кого духовенство признает таковыми, и выдать их крестоносцам вместе с их пособниками и товарами; уволить своих разбойников-наемников и никогда больше не нанимать таких отрядов; сместить евреев, которых он назначил на государственные должности; вернуть церковное имущество, которое он украл; охранять дороги; отменить чрезмерные пошлины и соблюдать "Божье перемирие" в праздничные и

постные дни. Все это было знакомо. Новым была клятва, которую дали "консулы", представлявшие муниципалитеты Авиньона, Нима и Сен-Жиля, не признавать его своим владыкой, если он не удовлетворит церковь. Еще более серьезным было то, что Раймон передал семь своих самых сильных замков под опеку Мило, тем самым обеспечив церковной стороне перевес в военном смысле, когда должна была прибыть крестоносная армия. Только того, как все это было сделано, Мило и Феодосий приступили к церемонии официального примирения.

18 июня 1209 года в Сен-Жилле, на обрыве над дельтой Роны, состоялась унижительная церемония его публичного покаяния. Этот город был резиденцией далеких предков Раймонда, откуда они постепенно распространяли свою власть на протяжении четырех столетий. Большая романская церковь была построена его дедом. Площадь перед церковью была заполнена огромной толпой, которая, несомненно, толпилась на широкой лестнице, поднимающейся к фасаду с его богатой скульптурой и тремя круглыми арочными проемами. Перед центральной дверью отлученный от церкви граф поклялся на мощах Христа и различных святых во всем повиноваться папе и легатам. Затем Мило надел свой посох на шею кающегося и, используя его как недоуздок, потащил его за собой, обнаженного до пояса и наклонившегося вперед, чтобы его было удобнее бить прутьями, пока он идет по всей длине церкви. Перед главным алтарем его отпустили. Затем произошла заминка. Планировалось, что он выйдет из церкви через ту же дверь, через которую пришел, но толпа так плотно заполнила все помещение, что униженного господина с окровавленными плечами пришлось выводить через крипту, мимо стоявшей там гробницы де Кастельно - неожиданное изменение плана, которое добавило еще один драматический штрих к яркой сцене.

Читателям английской истории это напомним о похожем покаянии Генриха II за убийство Бекета. Однако следует отметить два отличия. Де Кастельно (в отличие от Фомы Кентерберийского) так и не был канонизирован, а покаяние Раймонда (в отличие от покаяния Генриха) ничуть не улучшило его политического положения. Через шесть дней, прежде чем его разорванные плечи перестали болеть, крестоносная армия двинулась на юг с мобилизационного пункта в Лионе. Раймону предстояло узнать, что, подобно Улиссу в пещере циклопа, он получил лишь привилегию быть съеденным последним.

Прежде чем завершить рассказ о прелиминариях крестового похода и перейти к самому крестовому походу, следует сказать несколько слов о недолговечном, но значительном движении, которое возникло в результате папской миссии. На конференции в Памье был обращен в православие лидер испанских вальденсов Дюран из Уэски. Похоже, что он и его ближайшие последователи все это время рассматривали вальденсианство как инструмент для возрождения Церкви, а не для противостояния ей. Их силы, по-видимому, находились по обе стороны Восточных Пиренеев, хотя мы слышим, что они основали школу в Милане. Поскольку границы того, что было и что не было ересью, быстро становились все более определенными, их средняя позиция стала несостоятельной. В конце концов они были отлучены от церкви, а их школа в Милане снесена тамошним архиепископом. Теперь Дюран отправился в Рим и попросил санкции самого Папы на основание общины "Бедных католиков" (названных так в противовес "Лионским беднякам", как называли себя вальденсы). Члены новой общины должны были связать себя строгими обетами воздержания, целомудрия и особенно бедности. Им запрещалось иметь что-либо большее, чем предметы первой необходимости, и они должны были изо дня в день просить свой хлеб. Их одежда должна была быть из самых грубых тканей, а обувь - особого образца, чтобы их

можно было отличить от вальденсов. Главным отличием от прежней жизни было то, что они обещали больше не нападать на духовенство, как это делали вальденсы, а проповедовать против ереси. Иннокентий сразу увидел ценность предложенной общины и в декабре 1208 года принял клятву Дюрана, связав ею себя и своих последователей. Уже в 1209 году общины "бедных католиков" существовали в Арагоне, Нарбонне, Безье, Узесе, Каркассоне и Ниме. В это время они, должно быть, затмили небольшую группу проповедников, еще слабо организованных и не связанных никакими правилами, которые объединились вокруг святого Доминика. Но, к несчастью для "бедных католиков", их постоянно подозревали в обращении в еретиков. В те крестоносные дни не требовалось ни пророка, ни сына пророка, чтобы предсказать, что такая организация выживет с трудом, если вообще выживет. То, что Иннокентий санкционировал его создание, свидетельствует о его желании распространять мирную пропаганду католицизма всеми возможными способами.

Тем временем события развивались стремительно. Как уже было сказано, церковь не имела ни малейшего намерения отказываться от крестового похода из-за покорности Раймонда. Он нарушил слишком много клятв. К тому же, вероятно, им не удалось бы убедить крестоносцев разойтись, по крайней мере, не вызвав горького разочарования и очень серьезной потери престижа Церкви среди ее собственных поборников. Не прошло и недели после унижительного покаяния Раймонда в Сен-Жилле, как крестоносная армия двинулась из Лиона на юг.

ССЫЛКИ:

[29] "Innocent III, La Croisade des Albigeois," by Achille Luchaire. Издано Hachette, Париж, 1911. Ch. ii, p. 47.

[30] Иннокентий III, "La Croisade des Albigeois", Luchaire, p. 91.

[31] "Жизнь святого Доминика", p. 40.

ГЛАВА IV. АЛЬБИГОЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД - НАЧАЛО ВОЙНЫ.

Альбигойский крестовый поход длился двадцать лет, с момента первоначальной мобилизации и похода крестоносной армии до заключения договора, который окончательно положил конец военным действиям. Естественно, на протяжении большей части этого долгого периода не было тяжелых боев, ресурсы противников не могли поддержать такое непрерывное выступление; более того, в течение значительных промежутков времени, кажется, вообще не было никаких фактических боевых действий. Тем не менее, в течение двадцати лет существовали враждебные силы и было состояние войны.

Главным отдельным эпизодом этих двадцати лет является удивительная битва при Мурете. Поэтому лучше всего будет рассмотреть отдельно, во-первых, ранние этапы войны, во-вторых, кампанию при Мурете и последующие события, которые эта акция сделала возможными.

Начало войны естественным образом делится на два неравных по продолжительности периода. Первый, продолжительностью всего два месяца, включает в себя первоначальный крестовый поход с его подавляющим числом участников, а также взятие Безье и Каркассона.

Он заканчивается назначением Симона де Монфора правителем завоеванных территорий и возвращением подавляющего большинства крестоносцев в свои дома. Второй период длится четыре года. Все это время де Монфор командует крестовым походом, поддерживает правительство в Лангедоке и расширяет свою власть. Это ему удастся, несмотря на скудные ресурсы, благодаря высоким личным способностям. Период заканчивается военной интервенцией короля Педро Арагонского против крестового похода и всеобщим ожиданием, что де Монфорт с его значительно уступающими силами будет немедленно уничтожен.

Любая война, это аксиома, является лишь средством достижения политической цели. Одна группа пытается навязать свою волю другой, которая утверждает противоположную волю и сопротивляется.

В первой главе мы видели, что Средние века были в значительной степени политически децентрализованы, но, с другой стороны, в них было сильно чувство морального единства. Христианство было одной большой семьей. Военные действия Средневековья были обусловлены этими двумя политическими факторами. Из-за децентрализации во всех ее формах центральные правительства обладали лишь незначительной властью, чтобы заставить двигаться всю совокупность своих номинальных подданных, независимо от индивидуальной воли этих подданных в отношении конкретного спорного вопроса; незначительной, то есть по сравнению с властью современных правительств. В силу как децентрализации, так и морального единства христианства, войны между христианами в Средние века редко затрагивали какие-либо принципиальные моменты. Здесь не могло быть противостояния между различными и взаимоисключающими типами цивилизации, как между французским и немецким типами в наши дни. Обычно спор касался лишь противоположных претензий двух сторон на владение и, соответственно, феодальное управление участком земли. Соответственно, кампании были короткими и безрезультатными, а война в целом - несколько авантурным видом спорта. Правда, в тринадцатом веке, времени еще простого, война еще не приобрела той нереальности цели и замысловатых атрибутов, которые характерны для позднего Средневековья. Однако она уже стала чем-то вроде "игры джентльменов", как и династические войны восемнадцатого века. Естественно, поэтому, когда речь шла о жизненно важном принципе (как в крестовом походе, который мы собираемся изучить), операции всегда были склонны возвращаться к бессистемной моде, поощряемой современным представлением о войне как о деле, в котором на карту не ставится ничего важного для общества в целом.

Что касается техники проведения операций, то здесь важными особенностями являются кавалерия в почтовых мундирах и постоянные укрепления. Аксиоматично, что пехота стоит больше, чем кавалерия, в боях между дисциплинированными войсками, но меньше, чем кавалерия, в набегах и при обороне от набегов, как в наших индейских войнах и в Бурской войне. Таким образом, во времена позднего Рима и Темных веков кавалерия постепенно стала преобладать над пехотой на всей большей части Европы. Исключением стали франки, которые в конце концов поставили своего вождя преемником западных императоров. Только после великого набега викингов в IX веке, в котором наша традиция едва не пошла ко дну, защитники "Франкии" стали полагаться в основном на конницу. Только эта рука была достаточно быстрой, чтобы догнать пиратов, чьим первым делом после высадки было украсть лошадей для себя. И именно в отражении викингов, как мы видели, выкристаллизовалось средневековое общество.

Укрепленные пункты, как и кавалерия, приобретают дополнительное значение, когда ресурсы противника редко позволяют ему расположиться перед ними и долгое время держать блокаду и регулярную осаду. О "непреступности" укреплений до открытия пороха

говорилось много глупостей. Любой человек, знакомый с военным делом, знает, что даже независимо от блокады любая крепость должна пасть перед осаждающими в достаточном количестве и обладающими вооружением и инженерным мастерством, равными защитникам, если только оборона не получит помощь извне. Так, Филипп Август взял Шато-Гайяр, сильнейшую крепость своего времени, не блокадой, а регулярной осадой.

С другой стороны, верно подмечено, что средневековые полководцы типа Филиппа и с его ресурсами были редкостью. Ценность укреплений в том, что они выигрывают время, а немногие люди Средневековья достаточно хорошо владели своими войсками, чтобы долго удерживать их на монотонной каторжной осадной работе - даже если у них было достаточно ресурсов, чтобы постоянно поддерживать свои силы в рабочем состоянии. Хорошо обеспеченная крепость обычно могла рассчитывать на то, что осаждающие ее осаждающие будут изнурены голодом, прежде чем они сами будут изнурены голодом. Соответственно, если один из участников ссоры чувствовал себя слабее своего врага, он стремился поскорее укрыться за стенами.

Кроме того, укрепления играли большую роль в средневековых войнах, поскольку крепость, занимающая небольшую территорию, могла выдержать регулярную осаду не хуже, чем осада большой протяженности. Важность сравнительно небольших укрепленных пунктов, то есть замков, объяснялась отсутствием ракетного оружия, способного разрушить каменные стены. Очевидно, что по мере роста мощности, точности и дальности действия ракетного оружия окружность первоклассной крепости должна соответственно увеличиваться, чтобы она не была завалена сходящимся огнем большего числа двигателей, которые концентрическое расположение осаждающих позволяет им обрушить на нее. И наоборот, когда проблема (как в Средние века) заключается только в обороне с близкого расстояния, площадь обороняемой территории имеет малое значение для осадной работы. С другой стороны, расходы на строительство возрастают по мере увеличения окружности укрепления. Ресурсы осаждающих сводились к подрыву или отбиванию основания стен; или к эскалации из-за прикрытия подвижных башен, которые можно было установить вне пределов досягаемости, а затем свернуть, чтобы опустить разводные мосты на один уровень с крепостными стенами.

Наконец, средневековый человек не был дураком. Я уже говорил об этом в первой главе; тем не менее, я повторяю это здесь. Мы видели, что важность кавалерии и фортификации, особенно замков (то есть небольших высоко укрепленных пунктов), проистекала не из глупости, а из условий того времени. Социальные и политические условия, опять же, были неблагоприятны для регулярной дисциплины, но не более, чем во время нашей Американской революции. На самом деле, даже меньше. Правда, не было регулярного изучения войны как искусства. Тем не менее, наши современные штабные колледжи не могли бы легко улучшить решения многих средневековых командиров. Даже отсутствие карт, на которых строится современная штабная работа, не всегда ослепляло глаз полководца, действующего в знакомой или частично дружественной стране.

Люди Средневековья иногда демонстрировали способность определять стратегические масштабы большого театра военных действий, который они никогда не видели и даже не наносили на карту. Например, возьмем совет Филиппа Августа своему сыну относительно кампании 1216 года в Англии: принц должен был прежде всего захватить замок Дувр, который являлся конечным пунктом кратчайшего морского пути между Англией и Францией.

В данном случае мобилизационный пункт и линия марша были выбраны с умом. О пересечении "Центрального массива", гор Оверни, не могло быть и речи, поскольку армии

вынуждены искать линии географического наименьшего сопротивления и должны избегать, по возможности, малонаселенных районов, которые не могут обеспечить их продовольствием и жильем. Перед руководителями крестового похода встал выбор: обойти горную страну с запада или с востока.

Это всего лишь предположение, но я думаю, что решение идти восточным маршрутом было принято в основном по политическим причинам. Поход на запад привел бы крестоносную армию к территории, все еще принадлежавшей Иоанну Английскому. Этот монарх все еще прочно удерживал позиции по обе стороны нижней Гаронны и даже удерживал часть Пуату к северу от этой реки. Овдовевший Раймонд Тулузский женился на сестре Иоанна - Жанне, которая впоследствии умерла. Иоанн порвал с папой из-за кандидатуры Стивена Лэнгтона, впоследствии прославившегося Магна Чартой, на пост архиепископа Кентерберийского; когда Иннокентий в ответ на это наложил запрет на всю Англию, Иоанн смог заставить большую часть английского духовенства не исполнять этот приговор. Поскольку крестовый поход явно был направлен против Раймонда, Иоанн мог действовать. Поэтому крестоносцам следовало бы не дать ему возможности напасть на их фланги или тыл во время похода на юг по западному маршруту.

Кроме того, необходимо было учитывать и географические аспекты. Крестоносцам из Германии и славянских земель к востоку от Адриатики было легче добраться до Лиона, чем, скажем, до Лиможа. Конечно, большинство крестоносцев будут "французами", то есть северофранцузами, но ожидалось немецкие и славянские контингенты, которые, собственно, и появились. К востоку от гор экспедиция будет находиться в более тесном контакте с Римом, что могло оказаться важным в те дни медлительных курьеров. Наконец, Лион, будучи крупным городом, больше подходил для мобилизации, чем любой другой более мелкий город на западе, ведь города притягивают армии как магнит, поскольку только в городах есть избыток пищи и кров для больших масс людей. Поэтому Лион был разумно выбран в качестве пункта сосредоточения, а долина Роны - в качестве линии марша.

Основные силы, собравшиеся в Лионе, были чрезвычайно велики. В "Шансоне Круассада" говорится о двадцати тысячах рыцарей и вооруженных людей плюс двести тысяч пеших "холопов". До недавнего времени у историков было модно не верить в высокие цифры средневековья, но мода меняется. Как бы то ни было, собралась огромная армия.

Слабость огромной силы заключалась в том, что для выполнения крестоносного обета достаточно было сорока дней службы. Поэтому крестовый поход, если он затянется, должен был пострадать (как и многие американские армии от Вашингтона до Гражданской войны) от чумы коротких призывов.

Кроме папских легатов Арнаута Амальрика и Мило, с армией находились архиепископы Реймса, Сенса и Руана, епископы Аутуна, Клермона, Невера, Байе, Лизье и Шартра, герцог Бургундский, графы Невера и Сен-Поля.

Как было организовано высшее командование, мы не знаем. Арнаут Амальрик, по-видимому, был самой сильной личностью.

Среди мелких дворян был незаметный, без сомнения, барон с острова Франция, а также граф Лестер в Англии, Симон де Монфорт по имени. Возможно, люди указывали на него как на единственного человека в Четвертом крестовом походе за пять лет до этого, который отказался идти против Зары, и когда венецианцы убедили остальных крестоносцев оплатить свой путь на Восток взятием этого христианского города, он покинул экспедицию и

отправился домой. Однако совершенно ясно, что вначале он не имел большого авторитета в крестовом походе.

В последнюю неделю июня крестоносцы двинулись на юг из Лиона, придерживаясь, очевидно, восточного берега реки, где проходила главная римская дорога.

На марше по долине Роны с ее бликами и белой пылью они были встречены в Валансе самим Раймондом Тулузским. Без колебаний, практически на следующий день после своего унижительного покаяния в Сен-Жилле, с незаживающими рубцами от монашеских плетей на спине, этот человек, против которого в основном и был направлен Крестовый поход, сам принял Крест и присоединился к армии, собравшейся для его уничтожения. Следуя плану Иннокентия "разделяй и властвуй" (*divide et impera*), ему было позволено присоединиться к армии, которая продолжала свой поход. Конечно, официально крестовый поход был направлен против еретиков на юге, а Раймонд, при всей его переменчивости, еретиком не был. Протестантские историки обвиняли церковников, отвечавших за политику крестового похода, в двуличии в этом вопросе. Конечно, , подчинение Раймонда было принято только потому, что им было временно удобно не иметь его в качестве открытого врага, хотя в долгосрочной перспективе предполагалось погубить его полностью. И все же я признаюсь, что не вижу оснований для сурового осуждения. Он слишком часто играл на скорую руку.

Где армия перешла Рону, нам не известно; возможно, в Оранже или Авиньоне, но более вероятно, что в Тарасконе и Бокере, где находилась главная римская переправа. Переправившись через Рону, армия вновь двинулась по старой дороге через Нисм в Испанию, по которой со времен Ганнибала прошло так много армий. В Монпелье Раймон Роже Тренкавель, виконт Безье и Каркассона, племянник Раймона Тулузского, прибыл на встречу с вождями крестового похода, как его дядя уже приезжал к ним в Валанс, чтобы заключить мир. Его отказались выслушать. Было необходимо, чтобы великая армия не распустилась, не наведя ужас на еретический юг и не передав хотя бы часть его феодальных владений в руки проверенных и ревностных католиков. В противном случае усилия, затраченные на организацию экспедиции, были бы потрачены впустую. Поэтому Раймону Рожеру не пристало отстаивать свою личную ортодоксальность и утверждать, что ереси потворствовали лишь безответственные подчиненные. В "Шансоне" говорится, что Раймон Тулузский со свойственной ему недальновидной хитростью предложил напасть на своего племянника, с которым он недавно поссорился. Это было бы так похоже на несчастного графа Тулузского, что мы можем принять эту историю.

Раймонд Рожер поспешил вернуться из Монпелье в свои земли. Почему крестоносцы, получив его в свою власть, отпустили его с миром, чтобы он организовал сопротивление против них, неясно. Возможно, он прибыл под некой гарантией, подобной современному флагу перемирия, и поэтому был защищен высокоразвитой военной вежливостью того времени, выросшей вокруг идеи рыцарства.

Как бы то ни было, ему разрешили идти, и он поспешил привести два своих главных города, Безье и Каркассон, в состояние обороны, следуя обычному обычаю более слабой стороны в средневековом конфликте, то есть встать в оборону за стенами. Крестоносцы расположились перед Безье 20 или 21 июля. Они выступили из Лиона между 24 и 30 июня и прошли около 230 миль, делая в среднем от 10 до 8¾ миль в день, - весьма достойный результат, который заслуживает внимания презрителей средневековья. Несомненно, было желание потратить как можно меньше времени из короткого сорокадневного срока службы, прежде чем вступить в схватку с еретиками и их благородными покровителями.

Перед Безье к ним присоединились два отряда, один из окрестностей Агена, другой из Оверни. Каждый отряд на своем пути добился определенных успехов. Агенты выкупили два города в долине Авейрона, Коссад и Сент-Антонин, и другие крестоносцы смотрели на них с некоторой неприязнью (возможно, смешанной с завистью) за то, что они за денежное вознаграждение совершили нечестие. Один из командиров овернцев носил великое имя Тюрени. Его отряд захватил сильный замок и сжег находившихся в нем еретиков - первый, но не последний раз, когда мы слышим о сожжении в связи с крестовым походом.

Кстати, военный аспект этого сосредоточения заслуживает отдельного слова. Лион и Аген находятся на расстоянии 225 миль друг от друга, между ними - горная страна Овернь. Любой человек, имеющий хоть малейший военный опыт, знает, как трудно синхронизировать движение удаленных друг от друга колонн, чтобы они могли встретиться в общем центре, даже при наличии точных карт и всех современных средств связи. В данном случае отсутствовали карты, телефон, телеграф и все средства механической оперативной связи. Вероятно, передовой пункт сосредоточения в окрестностях Безье был выбран до того, как одна из колонн начала свой марш, а во время марша связь поддерживалась с помощью переплетенной системы конных курьеров. Риск того, что сравнительно слабые центральная и правая колонны будут отрезаны до того, как они смогут соединиться, был практически нулевым благодаря покорности графа Тулузского, а также потому, что вся сельская местность была охвачена страхом перед крестоносцами. Но даже в этом случае точное сосредоточение трех колонн на Безье было подвигом большого военного мастерства.

Безье, как и большинство средиземноморских городов, был организованным городом на протяжении всей истории и до нее. В условиях средневековья его было легко защищать, поскольку он был построен на холме. Ересь там была особенно сильна; в прошлой главе мы видели, как де Кастельно в 1205 году был вынужден покинуть это место из-за ярости, разгоревшейся против его личности и его защиты веры. Есть даже некоторые основания полагать, что подавляющее большинство горожан были еретиками, чего отнюдь не было в таких местах, как Тулуза, где самое большее, на что осмеливались еретики, - это проводить свои службы в полночь. Если в стенах города было всего несколько католиков, неудивительно, что город отказался сдаваться. Его епископ был с крестоносцами, и ему было позволено предложить городу капитулировать и выдать еретиков для наказания в обмен на гарантии со стороны крестоносцев в отношении лиц и имущества католических граждан. Это самое справедливое и либеральное, с точки зрения крестоносцев, предложение было отвергнуто. Осажденные предпочли рискнуть войной, вероятно, не из-за большой солидарности между еретиками и католиками (о чем тщетно говорят некоторые современные протестантские историки), а, несомненно, потому, что католики были немногочисленны и не контролировали решения, принимаемые при обороне.

Отказавшись от договора, жители устроили вылазку по мосту через реку, убили крестоносца и бросили его тело в поток. Вылазка была отбита, после чего, согласно общепринятой версии, последователям крестового похода удалось взять оборону приступом. Этот удивительный успех был достигнут без приказа, по божественному вдохновению, как благочестиво выразились легаты, пока вожди крестового похода обдумывали свои дальнейшие действия. Те, кто ищет светские объяснения, вполне могут предположить, что нападавшие вошли по пятам жителей, отброшенных назад при отражении вылазки, прежде чем ворота удалось закрыть, или что в результате неправильной организации обороны какой-то пункт остался незащищенным, или, наконец, что успех нападения обеспечила локальная паника среди людей, отправленных охранять какую-то башню или участок стены.

После штурма стен на кривых и крутых улочках города произошла резня, благодаря которой Безье и сам Альбигойский крестовый поход запомнились в первую очередь. Священник и мирянин, женщина и ребенок, похоже, пострадали одинаково. Из огромной толпы, укрывшейся в церкви Святой Марии Магдалины, не выжил ни один. Вместе с мечом пришел и огонь. Поскольку, как мы уже видели, первыми в лагерь вошли последователи, вероятно, смешанные с крестьянской пехотой, рыцари стали выгонять их силой, опасаясь, что им самим не достанется добычи. В гневе на это "холопы" подожгли город, который яростно пылал. Собор Сен-Назер раскалился до такой степени, что каменные своды треснули и обрушились.

Один восхищенный цистерцианский современник заставляет Арнаута Амальрика ответить на вопрос, следует ли пощадить жителей-католиков, знаменитым "Убейте их всех, ибо Бог узнает своих", опасаясь, что многие еретики могут спастись, притворившись ортодоксами. Некоторые современные католические авторы утверждают, что светские вожди крестового похода заранее решили устроить резню в качестве военной меры, чтобы устроить страну. Казалось бы, светские вельможи не могли принять такого решения, если бы легаты выступили против. Тем не менее, этот вопрос не стоит того, чтобы на нем заострять внимание, поскольку неоднократно в подобных случаях оказывалось невозможным сдерживать армии, гораздо более регулярные и твердо дисциплинированные, чем крестоносцы. Определенные причины сомневаться в полноте резни заключаются в том, что церковь Святой Марии Магдалины, где произошла самая сильная резня, настолько мала, что в ней не могло поместиться и трети из семи тысяч убитых, и, кроме того, корпоративная жизнь города была так быстро восстановлена, что вскоре он снова смог противостоять крестоносцам.

В любом случае впечатление, произведенное резней, было огромным. По некоторым данным, до сотни замков были покинуты гарнизонами, которые бежали в горы. Бурный город Нарбонна поспешил оправдаться, казнив нескольких еретиков, щедро оплатив расходы на крестовый поход и разрешив крестоносцам гарнизонировать некоторые из своих замков в качестве залога доброй воли.

Следующей целью крестового похода был сильный город-крепость Каркассон. Туда и направился Раймон Роже Тренкавель, оставив Безье перед его инвеститурой. Резня укрепила его решимость сопротивляться, и он пошел на то, чтобы разрушить все мельницы в окрестностях Каркассона, чтобы затруднить снабжение крестоносцев провизией в случае длительной осады. "Воины Христа" появились здесь примерно 24 июля 1209 года, выйдя из Безье утром 22-го, на следующий день после резни, и преодолев расстояние в пятьдесят с лишним миль за сорок восемь часов, если считать, что они прошли через Нарбонну по линии римской дороги и современной железной дороги - еще один хороший марш-бросок.

Каркассон оказался гораздо более крепким орешком, чем Безье. Крутые откосы его холма венчала замечательная цепь поздне-римских стен и башен, которые мы видим и сегодня. Только замок, внешняя городская стена, ворота в главной стене и несколько больших башен, легко отличимых от старых построек, были добавлены после 1209 года. Обычный первый штурм с целью прощупать оборону был отбит с потерями, хотя защитники тоже пострадали. Другая атака захватила слабо укрепленные предместья на нижних склонах холма, венчающего сам город. После этого успеха последовала пауза в несколько недель, в течение которых строились осадные машины разных типов.

Тем временем дипломатия вела активную деятельность. Король Петр Арагонский вмешался, надеясь заключить мир между крестоносцами и своим вассалом Тренкавелем. Он был

живописной личностью, большим любителем турниров и женщин, тем, кого мы сегодня называем спортсменом, а также великим борцом с мусульманами. По языку и культуре Арагон был тогда ближе к Лангедоку, чем Лангедок к Северной Франции. Петр, сам трубадур и щедрый покровитель трубадуров, владел Руссильоном по своему усмотрению и требовал от многих южных вельмож почтения, которое трудно, а то и невозможно было примирить с почтением, которое они оказывали далекому королю "Парижа". Как и другие южные вожди, рано или поздно выступившие против крестового похода, он не был еретиком. Напротив, ему нравилось, когда его называли "католиком", и он лично принес папе римскому дань за свое королевство еще в 1204 году, получив в ответ титул "первого знаменосца церкви". Его свирепое законодательство против еретиков в целом было отмечено в последней главы. С другой стороны, испанский религиозный энтузиазм в раннем Средневековье, как правило, был направлен скорее на поношение неверных, чем на обсуждение доктрин. С политической точки зрения король Петр не одобрял любое расширение северофранцузского влияния на юге и не мог спокойно смотреть, как его родственник и вассал Тренкавель уничтожается только потому, что он недостаточно активно боролся с ересью. Наконец, теперь он был шурином Раймонда Тулузского, чья пятая и последняя жена была его сестрой. Хотя в данный момент не было и речи о том, чтобы он сопротивлялся крестовому походу оружием, он поспешил предложить свои услуги в качестве миротворца.

Соответственно, Педро появился в лагере крестоносцев в сопровождении красивой свиты и направился прямо к палатке Раймона. Вскоре было решено, что арагонец должен войти в город для переговоров с Тренкавелем. Условия крестоносцев были жесткими. Молодому виконту разрешалось уйти в сопровождении двенадцати рыцарей, но город должен был сдаться безоговорочно. Поэтому, несмотря на то, что из-за продолжительной засухи осажденные в городе на холме страдали от недостатка воды, условия были отклонены, и царь Петр, чье достоинство, похоже, было оскорблено, в ярости бросился на крестоносных вождей.

Был предпринят еще один штурм, но он был отбит с помощью кипящего масла и расплавленного свинца. Чтобы утешиться неудачей, крестоносцы могли похвастаться актом личной галантности со стороны де Монфора, который после отпора вернулся в ров и спас тяжелораненого крестоносца.

Тем временем время работало против осажденных из-за болезней, усугубляемых нехваткой воды. В лагере крестоносцев ожидали нехватки хлеба, поскольку мельницы были разрушены повсеместно, но ожидание не оправдалось благодаря помощи, оказанной некоторыми близлежащими замками, чьи владельцы были дружелюбны к крестоносцам. Называя легатов колдунами, а крестоносцев - дьяволами в человеческом обличье, которые могут жить без пищи, они ничем не помогли, так что в конце концов осажденные сдались и получили разрешение спокойно покинуть город, бросив все свои товары. Тренкавель остался в плену.

Легаты извинились в письме к Папе за сравнительную мягкость, проявленную в том, что они не сожгли город и не уничтожили его жителей, как это было в Безье. Дворяне, по их словам, не могли контролировать свои войска в этом вопросе; это может свидетельствовать о том, что не хватало продовольствия, и рядовые видели, что их ожидают серьезные лишения, если они будут продолжать разрушения. Что касается Тренкавеля, то, с точки зрения крестоносцев, последствия осады не оставили желать лучшего. Молодой виконт вскоре умер в своей тюрьме. Официально причиной смерти была названа дизентерия, но некоторые подозревали яд.

Наступил август. Отстояв положенные сорок дней и получив крестоносные индульгенции, большая часть армии готовилась вернуться домой, одаренная духовными милостями и не обделенная мирской добычей. Огромная сила должна была вот-вот растаять (как часто таяло ополчение Вашингтона). Но прежде чем крестоносцы смогут вернуться в свои дома, они должны были обеспечить продолжение кампании по борьбе с ересью. Необходимо было назначить кого-то в виконтства Безье и Каркассона, оставшиеся вакантными после смерти Тренкавеля. Кроме того, несколько других городов, в том числе Альби и Памье, а также ряд замков сдались без боя. В этих местах были гарнизоны, а гарнизоны нуждались в центральном командовании. Герцог Бургундский, графы Неверский и Сен-Поль, которым по очереди предлагали фьеф, отказались под предлогом того, что у них и так достаточно земель; на самом же деле, говорится в "Шансоне Круазада", они считали, что обесчестят себя, если примут трофеи такого завоевания. Возможно, трупы Безье уже начали смердеть в их ноздрях, как они смердят в ноздрях многих историков и по сей день. Кроме того, обесчещенный или нет, новый виконт оказался бы в незащищенном положении, один - северянин, противостоящий Раймонду Тулузскому и Петру Арагонскому, с одной лишь церковью, поддерживающей его. Церковь должна была поддерживать слабых христиан Палестины; на организацию Альбигойского крестового похода ушло пять лет, и еще столько же может потребоваться на организацию другого. В общем, нет ничего неправдоподобного в том, что только после значительного давления со стороны легатов и долгих молитв с его собственной стороны де Монфор, четвертый кандидат, наконец принял должность.

С принятием де Монфором виконтства Безье и Каркассона, а также с быстрым роспуском первоначальной крестоносной армии, первый период Крестового похода подходит к концу. Он длился немногим более сорока дней, необходимых для получения индульгенций, и был отмечен подавляющим превосходством в численности крестоносных войск на поле боя. Во второй период этого превосходства уже нет, и в течение девяти лет военная сила крестового похода заключается главным образом в качествах его предводителя.

Симон де Монфор был одним из тех необычных людей, которые меняют ход истории. Он происходил от Ролло Нормандского и получил свое имя от небольшого владения, которым владел в Иль-де-Франс, на пути из Дрё в Париж. Физически он был светловолосым, высоким, широкоплечим, с выдающейся внешностью и полной активностью. Естественно, что его характер превозносили и порицали до *бесконечности*. Петр де Во-Керне восхваляет его красноречие, приветливость, верность в дружбе, строгое целомудрие и редкую скромность. Сисмонди, в знаменитом отрывке, говорит о нем: "Умелый воин, строгий в своих личных привычках, фанатичный в религии, непреклонный, жестокий и вероломный, он сочетал в себе все качества, рассчитанные на то, чтобы заслужить одобрение монаха". Важно то, что де Монфор был, прежде всего, солдатом, причем солдатом такого типа, который не редко встречается в истории Франции, начиная с Первого крестового похода и заканчивая войнами Французской революции, - он был поглощен чувством святости своего дела. Как и во многих других решительных людях, придерживающихся строгой сексуальной морали, в нем справедливость была поглощена фанатизмом.

Такие люди плохо понимаются представителями английской культуры. Например, уже стало общим местом, что в длинной галерее шекспировских портретов не найти ни одного персонажа, приближенного к этому типу.

Между тем, хотя студент может с улыбкой относиться к фанатикам, ему не помешает помнить о величии работы, проделанной в мире фанатиками... этими любопытными существами. Непосредственно, поддерживая крестоносную деятельность в Лангедоке, де Монфор сохранил моральное единство христианства. Это единство, спасенное от серьезной

опасности, угрожавшей ему в начале тринадцатого века, сохранялось до тех пор, пока не было разрушено великим центробежным движением шестнадцатого века, которое только начинает затихать. Косвенно он разрушил провансальскую культуру и утвердил французскую монархию на Средиземноморье, тем самым установив постоянное единство французской нации. Но от де Монфора, как и от всех людей, было скрыто будущее.

Географически его положение было прочным. Из двух центров его власти, Безье и Каркассона, Безье сохранял связь с востоком и, в случае начала войны, помог бы отрезать Тулузу от долины Роны. Каркассон был главным стратегическим пунктом на всем театре военных действий, так как через него проходила главная дорога Нарбонна - Тулуза из Средиземноморья в Атлантику. Все значительные потоки на запад, направляющиеся в Тулузу с севера, вплоть до Бельфора или Дижона, естественно, проходили под стенами Каркассона. Иное означало либо огромный обход Лиможа, либо борьбу с горами Оверни. Точно так же основной путь в Тулузу с юга пролегал и пролегает вокруг средиземноморской оконечности Пиренеев, на север до Нарбонны и на запад через Каркассон. Человек, отправляющийся на запад от Сарагоссы, или зимой - далеко на запад от этой точки, обычно путешествовал таким образом. Существовал и альтернативный маршрут через Сердань: после перевала дорога вела на северо-восток в Перпиньян, а на северо-запад через Пюйморен в Фуа и Памье. Дорога была крутой, но по ней можно было ездить в любое время года. Гарнизон де Монфора в Памье, одном из опорных пунктов, занятых во время паники, вызванной великой армией крестоносцев, угрожал маршруту в Сердань. Если он овладеет Фуа, то сможет почти полностью закрыть этот путь. Из Альби, четвертого из своих главных опорных пунктов, он мог угрожать Тулузе с северо-востока и, возможно, действовать в районе Агена и Кагора.

Тем не менее, оценивая свое положение, он сталкивался с военными и политическими трудностями, способными привести в ужас даже слабого человека. Его военные ресурсы были невелики. Крестоносная армия разбежалась по домам, оставив ему лишь остатки в количестве около четырех тысяч пятисот человек, в основном бургундцев и немцев. Вожди крестоносцев поклялись прийти и помочь ему в случае необходимости, но никто лучше него не знал, насколько мала вероятность того, что они захотят или даже смогут это сделать. В самом деле, напрашивается вывод, что столь твердолобый фанатик попросил обещания скорее для того, чтобы сохранить их добрую волю, подчеркнув свою скромность и сравнительную слабость, чем по какой-либо другой причине. Он мог рассчитывать только на тех крестоносцев, которые могли время от времени приезжать на сорокадневную стажировку, а на постоянной основе - на тех, кому он был в состоянии заплатить или привязать к себе подарками в виде земель и замков. Кроме того, он знал, что многие из его новых южных вассалов были настроены к нему враждебно, а сам он, приняв этот новый виконтский титул, завоеванный в результате резни и освобожденный для него (как многие считали и шептались) с помощью яда, отдалил от себя умеренное мнение, плывя очень близко к ветру бесчестия.

Из всех оппозиционных сил только Раймонд Тулузский, при всей его слабости воли и недавнем унижении при Сен-Жилле, был гораздо сильнее де Монфора в материальном отношении. Король Педро Арагонский был разгневан на крестоносцев при Каркассоне, тем более что их временная численность не позволяла ему противостоять им, а Педро имел большой кредит доверия в Риме. Он упорно отказывался принять подданство де Монфора в качестве виконта Каркассона. Иоанн Английский, владевший Гасконью, Гиенью и частью Пуату, был, как и Педро Арагонский, шурином и другом Раймонда. Иоанн порвал с папой по собственным причинам и, тем не менее, процветал, как зеленое лавровое дерево. Оттон Брауншвейгский, подавивший всю оппозицию в Германии и большей части Италии и

готовый короноваться папой Иннокентием в качестве императора, был любимым племянником Иоанна. В настоящее время Оттон занимал пропагандистскую позицию, но, став императором, он будет достаточно силен, чтобы доставить неприятности даже такому папе, как Иннокентий, если тот пожелает. В общем, было достаточно материала для создания союзов против крестового похода, а возможно, и против самого папства.

Против всего этого у де Монфора были, прежде всего, его собственное твердое сердце и изобретательный ум. Его дело было связано с делом легата Арнаута Амальрика, который был готов пойти на все. Иннокентий был бы надежной опорой, если бы только король Петр Арагонский не добрался до него, а Арнаут Амальрик должен был уметь управлять Папой. Наконец, Филипп Август не только поддерживал Папу по большинству политических вопросов, но и, как король Франции, был бы рад видеть "французов" (то есть северофранцузов) в южных владениях. Хотя Филипп был осторожен и всегда предпочитал ждать, пока плод упадет ему на колени, а не рисковать упасть, карабкаясь за ним на дерево, он все же мог действовать, если видел, что путь абсолютно свободен, а они с Иннокентием были сомнительной парой.

Де Монфор поспешил наладить свои отношения с Римом, настаивая в то же время на необходимости помощи. Он незамедлительно написал Иннокентию письмо, в котором сообщил о своем избрании и намерении полностью искоренить ересь. По его словам, он должен быть предан только Богу и Папе. Он обещал выплатить церковную десятину, которую удерживали еретики, и ввести налог на очаг во всех своих землях в пользу Святого престола. С другой стороны, он несколько нелогично подчеркивал свою нужду в деньгах, одной рукой предлагая их Папе, а другой - выпрашивая у него. Даже его воины, по его словам, требовали двойного жалованья, и без больших церковных субсидий он не смог бы долго продержаться в Лангедоке.

Иннокентий подтвердил деяния и титулы Монфора и рассказал о его сокрушительных успехах в пышных письмах к Оттону Брауншвейгскому, которого сам папа только что короновал как императора. Но, имея на руках плохую ситуацию в Палестине, его конкретная финансовая поддержка Альбигойского крестового похода оставляла желать лучшего. Самой плодотворной из его мер было наделение де Монфора правом конфисковать все ценности, которые еретики сдали на хранение церковникам по всему Лангедоку.

Тем временем деятельность церкви не ограничивалась крестовым походом. Святой Доминик со своей небольшой группой последователей продолжал ходить по Лангедоку и проповедовать. В начале сентября будущий святой встретил де Монфора, и между ними завязалась теплая дружба. В то же время Дюран из Уэски и его "бедные католики" также активно действовали. Иннокентию пришлось писать и успокаивать лангедокских епископов, скандализированных тем, что Дюран и его последователи сохранили некоторые внешние признаки своего прежнего вальденсизма; в то же время он предупредил бедных католиков, чтобы они сотрудничали с обычным духовенством и не пытались действовать независимо от него. Папа ясно понимал, что в условиях войны православная пропаганда должна вестись сильнее, чем когда-либо, если это возможно.

Тем временем вдали от ревности и насилия Лангедока Франциск Ассизский надевал свой коричневый халат, чтобы обозначить себя радостным женихом бедности.

Во время военного лета 1209 года дипломатия молчала. Теперь она вышла из укрытия и вновь стала активной; действительно, в течение последующих четырех лет борьба ведется как дипломатическая, так и военная. С одной стороны, немногословный, переменчивый и неуравновешенный граф Раймонд, а за ним (и более грозный) рыцарственный спорщик

король Петр Арагонский стремились остановить или хотя бы ограничить Крестовый поход. С другой стороны, легаты, де Монфор и новоприбывшее непримиримое духовенство Лангедокии, полностью поглощенные борьбой (как и папа), стремились к уничтожению Тулузского дома.

Убедить папу, разумеется, было целью обеих сторон. Иннокентий был полон решимости уничтожить ересь. В этом он никогда не колебался. Именно в отношении последствий работы по уничтожению ереси существовали разногласия, особенно в отношении графа Раймонда. Может ли князь, сам являющийся католиком, быть законно низложен за неспособность подавить ересь? Для людей начала XIII века это отнюдь не было предрешенным выводом. Мы видели, как даже ревностные дворяне-крестоносцы уклонялись от "бесчестия" принять кровавые титулы, оставшиеся вакантными после смерти Тренкавеля. Иннокентий был не более вульгарным фанатиком, чем эти неохотно соглашающиеся дворяне. Он обладал высоким чувством справедливости, которое часто воспитывается в честных натурах изучением законов и использованием власти. Соответственно, его совесть была неспокойна, и многие работали над тем, чтобы она оставалась такой. Но, мучаясь или нет, великий Папа, приложив руку к плугу, не собирался отступать. И даже если бы он захотел это сделать, медлительность коммуникаций была такова, что практически не позволяла ему эффективно контролировать своих агентов.

Сколько времени уходило на доставку депеши, скажем, между Сен-Жиллем и Римом, точно не известно. По суше это расстояние составляло более шестисот миль. По морю оно было несколько короче, но морское путешествие предполагало ожидание отправления корабля и задержку из-за шторма или встречного ветра во время перехода.

Первый ход в сложной дипломатической игре был сделан легатами. Раймонд Тулузский покинул крестоносную армию после взятия Каркассона. Внешне он поддерживал дружеские отношения с де Монфором и говорил о женитьбе своего сына на дочери де Монфора. Но вскоре легаты потребовали от муниципалитета Тулузы выдать несколько горожан, обвиненных в ереси, и в то же время де Монфор написал Раймону письмо с угрозой нападения в случае невыполнения требования. Муниципалитет горячо возразил, что это католический город, который доказал свою ортодоксальность, сжигая еретиков еще во времена графа Раймонда V, и продолжает это делать до сих пор. Они отказались выдать своих обвиненных сограждан, после чего легаты незамедлительно созвали 6 сентября в Авиньоне собор, на котором вновь причастили Раймонда и наложили на его земли интердикт. Муниципалитет и граф по отдельности подали апелляцию папе на этот приговор. Легаты, со своей стороны, сказали Раймонду, что утомительное путешествие не принесет ему никакой пользы. Но когда он, несмотря на их волю, отправился в путь, они проявили беспокойство. В письмах в Рим они горячо настаивали на том, что скользкий граф не сдержал своих прежних обещаний и с равной готовностью будет давать и нарушать новые. В частности, они утверждали, что замки, переданные им в качестве гарантии его хорошего поведения, теперь потеряны из-за его медлительности в подавлении ереси, и что по этой же причине граждане Авиньона, Нисма и Сен-Жиля больше не должны оказывать почтение Раймонду, а только Церкви. Если семь замков будут возвращены ему, он снова окажется в состоянии оказать сопротивление. Наконец, они утверждали, что лучше было бы никогда не предпринимать крестовый поход, чем отказаться от него с наполовину выполненной работой.

Предчувствия легатов отчасти оправдались. Папа выразил свое удовлетворение тулузцами и распорядился снять наложенный на них интердикт. С Раймондом Иннокентий вел более тонкую игру. Внешне он принял его милостиво и преподнес дорогие подарки: мантию, кольцо и лошадь. У графа было кое-какое дело. Он сдал семь замков и согласился отдать три города лишь в качестве гарантии выполнения соглашения, заключенного в Сен-Жилле в июне предыдущего года. Некоторые из пунктов этого соглашения он уже выполнил; он представил список церквей, чьи обиды, нанесенные ему ранее, он исправил. Кроме того, он утверждал, что, хотя его никогда не осуждали за ересь и убийство легата, он, тем не менее, подвергся тяжелой епитимье как виновный, и был примирен в надлежащей форме. Поэтому Иннокентий постановил, что замки и города еще не конфискованы, "поскольку не подобает, чтобы Церковь обогащалась за счет чужих трофеев". Через три месяца после получения письма папы легаты должны были провести собор для определения вины Раймонда. Там, если никто официально не представится его обвинителем, он должен был быть допущен к каноническому очищению, после чего публично объявлен добрым католиком и должен был получить обратно семь замков. Если его обвиняли, должно было состояться слушание, но решение не принималось. Протокол разбирательства должен был быть отправлен в Рим, где и должен был быть вынесен приговор. Поскольку Раймонд лично возражал против Арнаута Амальрика, для улаживания деталей примирения графа был назначен новый папский представитель, Феодосий по имени, без титула легата. Крестоносцы не должны были трогать земли Раймонда. Внешне Папа, казалось, решительно выступал за умеренность.

Однако дипломатическая победа Раймонда была скорее кажущейся, чем реальной. Иннокентий тайно передал Феодосия в полное распоряжение Арнаута Амальрика, сухо заявив, что новый агент должен стать лишь приманкой, на которую Раймонд попадет благодаря проницательности Арнаута. Тем временем семь замков, хотя они еще не были объявлены конфискованными, должны были быть удержаны.

Что касается примирения в Тулузе, то Иннокентий уполномочил легатов принять гарантии и меры предосторожности. Поэтому Арнаут Амальрик вознамерился унижить город при умелом, но осторожном содействии его епископа, ревностного Фулька. Бывший епископ-трубадур быстро наращивал свое влияние. Он организовал более ортодоксальных тулузцев в мощное братство, чтобы бороться с ересью и ростовщицеством. В конце концов, после долгих уговоров и угроз, город внес значительную денежную помощь в крестовый поход и предоставил де Монфору заложников за будущее хорошее поведение.

К началу кампании 1210 года военное положение де Монфора ухудшилось. Его и оставшихся крестоносцев было слишком мало, чтобы эффективно гарнизонировать множество городов и замков, которые покорились. Безье, Каркассон, Памье и, кажется, Альби еще удерживались, но ряд более мелких населенных пунктов, таких как Кастрес к северу от Каркассона и Ломбез к юго-западу от Тулузы, а также множество замков открыто вернулись к катаризму. Кроме того, Раймон Роже граф Фуа порвал с крестоносцами. Об этом достойном человеке и его семье мы уже говорили в предыдущей главе. Как только огромная, внушающая ужас армия крестоносцев была распущена, он вернулся к своей обычной политике благоприятствования ереси. Ему особенно хотелось вернуть себе вторую по значению крепость Памье, но конференция, организованная под председательством его сюзерена Петра Арагонского, не привела к соглашению с крестоносцами.

В течение года де Монфор взял несколько замков в своем новом виконтстве Каркассон, таких как Брам в десяти милях к западу от Каркассона на дороге в Кастельнодари (где он выколол глаза сотне гарнизона, оставив командиру один глаз, чтобы тот мог служить им проводником), Алайрак к югу от Капенду в десяти милях к востоку от Каркассона на дороге в

Нарбонну и Пюиверт в горах к западу от Киллана. Тем не менее, у него было достаточно сил для двух крупных операций - захвата сильных замков Минерв (крепость на холме в семнадцати милях к северо-западу от Нарбонны, которая смотрела вниз на город и угрожала коммуникациям между двумя его главными базами - Безье и Каркассоном) и Термес на юго-востоке.

Первая операция была предпринята не одними крестоносцами, а с помощью нарбонского ополчения. Средневековые города обычно охотно нападали на близлежащие сильные замки, которые слишком часто служили базой для разбойничьих нападений на их торговлю. При нападении на эти орлиные гнезда в горах Лангедока главной задачей осаждающего было отрезать гарнизон от доступа к ручьям или источникам в каньонах под крепостными валами. Если это удавалось сделать, то осажденные были вынуждены полагаться на цистерны и не могли долго продержаться. В данном случае после оживленной осады, длившейся около месяца, припасы и особенно вода в замке закончились, и гарнизон предложил сдаться на условиях. Его владыке и католикам, находившимся в стенах, предложили жизнь. По строгому приказу из Рима в таких случаях пощадили даже еретиков и Перфекта, если они отрекутся. Армия роптала. "Очень католический" Робер Мовуазен, первый лейтенант де Монфора, выразил общее отвращение к принятию такого насильственного обращения несчастных, которых они взяли в руки оружие специально для того, чтобы убить. "Успокойтесь, - сказал Арнаут Амальрик, - новообращенных будет немного". На самом деле из сотни "Совершенных" отреклись только трое. Остальных даже не нужно было заставлять идти в приготовленный для них огонь, они бросились туда сами. Соппротивление послужило доказательством определенной солидарности между еретиками и католиками Лангедокии.

Осада Термеса затянулась до ноября, и окончательно все решило отсутствие воды в этом месте.

Артиллеристам следует запомнить имя архидиакона Уильяма, начальника артиллерии де Монфора (то есть мастера катапульта) во время осады. Этот парижский священник, ветеран крестовых походов против мусульман, был настолько очарован своими машинами, что впоследствии отказался от жирной епископской кафедры в Безье, "предпочитая лучше следить за войнами и управлять артиллерией"!

В сентябре в Сен-Жилле состоялся совет, на котором решался вопрос о примирении графа Тулузского. За одну беседу с Феодосием Арнаут Амальрик полностью убедил его в том, что либо Раймонд, либо Лангедокская церковь неизбежно должны быть уничтожены. Каким образом граф должен был получить отпор перед лицом положительных указаний Иннокентия об обратном, оставалось загадкой. После напряженных раздумий одна фраза Папы показалась средством избежать его общего тона. Раймонд, как мы видели, выполнил некоторые, но не все условия, которые от него требовались. В частности, он не уволил своих наемников и не изгнал еретиков, а ведь обе эти группы были необходимы для его поддержки. Фразой, о которой идет речь, Иннокентий сообщил легатам, что он сам приказал Раймонду полностью выполнить все условия, которые от него требовали, и сделать это до созыва собора. Поэтому на соборе ему было сказано, что, будучи неверным своей клятве в этих незначительных пунктах, его свидетельство в свою пользу по двум главным пунктам - его личной ортодоксальности и его причастности к убийству де Кастельно - ничего не стоит. От такого разочарования он разрыдался, что было истолковано Феодосием собранию как доказательство не раскаяния, а врожденной презренности. Жалкий дворянин, заявив, что все его графство не удовлетворит легатов, прервал переговоры и печально усакал. После

этого легаты поспешили написать Иннокентию такое письмо, чтобы папа поверил, что преступник не пожелал оправдаться.

Когда новость пришла в Рим, у Иннокентия явно возникли подозрения; так как он написал Филиппу Августу, что не знает, по своей ли вине Раймонд не смог доказать свою невиновность. В то же время, теперь, когда неспособность графа подавить ересь была поставлена во главу угла, трудно понять, как Папа мог не поддержать собор. Поэтому он написал Раймонду суровое письмо, упрекая его в нарушении веры, поскольку он продолжает терпеть еретиков. В целом Арнаут Амальрик добился своего и поспешил отстаивать свое преимущество на последующих конференциях.

Тем временем в течение года общее положение папства в европейской политике изменилось в худшую сторону. Оттон Брауншвейгский, некогда коронованный император, быстро стал антипапой. Более того, он был настолько агрессивен и успешен в Италии, что вскоре мог стать угрозой для Папы. Поэтому Иннокентий отлучил его от церкви и поднял против него многочисленных немецких дворян, которые опасались от нового императора политики централизации и регулярных налогов, подобной той, которой отличалось правительство его ближайших родственников Плантагенетов. Но, несмотря на папу и немецких мятежников, Оттон продолжал добиваться успеха. В Англии Иоанн находился на пике своего процветания. С отлученным от церкви императором и отлученным от церкви королем Англии на руках у папы лучший человек, чем граф Тулузы, мог бы перевернуть европейские масштабы.

Тот же папский курьер, который привез Раймону письмо с упреками от папы, также привез ему, графам Фуа и Комминжа, а также Гастону, виконту Беарнскому, инструкции с требованием оказать помощь де Монфору и угрозой обвинить их в ереси, если они ее не окажут. Эти письма привели к проведению трех советов в быстрой последовательности: в Нарбонне в декабре 1210 года, продолжавшегося в январе 1211 года, в Монпелье позже в январе и в Арле в феврале.

В Нарбонне присутствовали не только легаты, де Монфор и Раймонд, но и граф Раймонд Роже из Фуа, а также его сюзерен король Арагона. Здесь Арнаут Амальрик сменил тон и рассказал о материальных благах, которые достанутся графу Тулузскому, если он примет участие в подавлении ереси: дома и земли осужденных будут принадлежать ему по закону и обычаям того времени, а также четверть или даже треть захваченных замков, владельцы которых поддерживали ересь. Раймонд все же отказался. По просьбе короля Педро совет занялся делом графа Фуа, который хотел вернуть свою вторую лучшую крепость Памье и другие замки из гарнизонов, удерживавших их для де Монфора. После того как Раймон Рожер, этот заядлый поборник ереси, отказался от предложения вернуть все, что у него было отнято, кроме Памье, при условии, что он поклянется подчиниться Церкви и прекратить сопротивление де Монфору, король Арагона пошел на поводу у своего вассала, пообещав гарнизонировать Фуа своими войсками и передать это место крестоносцам, если его владелец выступит против них.

Беспокойство Педро было естественным. Граф Фуа был одним из его важнейших северных вассалов. Дорога, ведущая с северо-запада через Пюйморен к перевалу Сердань, проходила через Памье, Фуа и верхний Арьеж. Сердань была единственным широким и удобным внутренним проходом через Восточные Пиренеи. Через Сердань также проходила кратчайшая линия связи между центром власти Педро в королевстве Арагон, с одной стороны, и его периферийными личными владениями, то есть Руссильоном и землями его северных вассалов, с другой. Очевидно, что, поскольку вероятность открытого разрыва с

крестовым походом должна была постоянно присутствовать в его сознании, он не хотел, чтобы северо-западные подступы к столь важному проходу оказались в руках де Монфора.

Папа давил на арагонцев, чтобы они решительно выступили в крестовый поход. Когда Педро, наконец, послушался, он сделал это с испанской основательностью, приняв давно отказанную де Монфором дань за Безье и Каркассон, предложив женить своего сына Хайме, наследника Арагона, на дочери де Монфора, и даже передав юного принца во власть де Монфора в качестве своего рода заложника. Вероятно, король, как и граф Раймон за два года до этого, считал, что лучший способ удержать Крестовый поход в рамках - это согласиться с ним. То, что он действительно намеревался продолжать вести двойную игру, он доказал, женив свою сестру на часто вдовствующем графе Тулузском.

В Монпелье и Арле присутствовали те же заинтересованные стороны, за исключением двора Фуа. Для Раймонда условия были тяжелыми: разрушение его замков, неограниченное право на размещение в его землях крестоносных воинов, а для него самого - паломничество в Святую землю "до тех пор, пока легаты пожелают продлить его покаяние". Король Педро отнесся к этому спокойно, заметив лишь, что условия нуждаются в поправках со стороны самого Папы. Граф Раймонд снова прервал переговоры и привлек на свою сторону своих вассалов, опубликовав далеко и широко предлагаемые суровые условия. На этот раз легаты вновь приняли его. Постепенно, вопреки себе, он был вынужден занять позицию открытой враждебности.

Иннокентий поддержал Арнаута Амальрика и в апреле подтвердил повторное отлучение Раймонда. Однако последний так и не смог полностью порвать с крестовым походом.

Возможно, именно более твердая позиция Папы способствовала лучшему набору в Крестовый поход в 1211 году по сравнению с 1210 годом. Во всяком случае, когда наступил сезон кампаний того года, де Монфор оказался в состоянии действовать с большой энергией. До сих пор неприступный замок Кабаре капитулировал перед ним, не дожидаясь нападения, что позволило ему, наконец, полностью овладеть своим виконтством. Сначала он осадил Лавор. Его захват улучшит его связь с северной базой в Альби и, соответственно, поставит под угрозу коммуникации между Тулузой и Кастром. Он осаждал его со своей обычной энергией, а осажденные отчаянно сопротивлялись под предводительством хозяйки этого места, пожилой "Перфект" скандальной жизни, как говорили ортодоксы. В начале осады Раймонд посетил де Монфора в лагере, хотя до этого отправил несколько своих рыцарей на помощь гарнизону. За это его упрекнули в двуличии некоторые северные бароны, временно участвовавшие в крестовом походе и являвшиеся его ближайшими родственниками. Вскоре после этого он переговорил с епископом Фульком, который бросил ему вызов и отправился на осаду Лавора со многими из своего тулузского католического братства за спиной. Тем не менее, все это время граф позволял отправлять крестоносцам припасы из Тулузы. Даже когда отряд немецких крестоносцев, шедший для участия в осаде без должных мер предосторожности, попал в засаду и был разрублен на куски графом Фуа, который тем самым нарушил клятву, данную королю Педро от его имени, Раймон все равно держался в стороне. Наконец, город был взят штурмом, а захват отпразднован обычными массовыми повешениями, обезглавливаниями и сожжениями.

Пресловутая престарелая шатенка отличилась тем, что была брошена в колодец, который затем засыпали камнями. Она была беременна в результате кровосмешения, как она сама говорила, со своим братом и собственным сыном. Святой Доминик присутствовал при осаде и вместе с другими священнослужителями пел "Veni Creator" во время финального штурма,

но какое участие он принимал, если принимал вообще, в последовавших за взятием города веселых гуляньях, не сообщается.

Укрепив свои позиции на севере благодаря взятию Лавора, де Монфор принял смелое решение атаковать саму Тулузу.

Первоклассный город почти всегда был слишком твердым орешком для любой средневековой армии. В данном случае были основания ожидать раздоров в стенах, поскольку брат-бастард Раймонда недавно дезертировал к де Монфору, а тулузское братство епископа Фулька проявило рвение в Лавауре. Поэтому постоянные войска де Монфора, усиленные временными крестоносцами, с большими надеждами двинулись на Тулузу.

Тем не менее, осада провалилась, став первым серьезным военным препятствием для Крестового похода. Практически независимая средневековая коммуна породила интенсивный местный патриотизм, от которого сегодня у наших крупных государств осталась лишь тень. Горожане сопротивлялись как один человек, католическое братство и все остальное. Сам Фульк после осады Лавора не вернулся в свой епископский престол, поссорившись с Раймондом. Даже Раймонд, который вместе со своим вассалом графом Комминжским находился в этом месте, теперь, будучи пригнанным к стене, проявил вспышку духа. По типично средневековой иронии судьбы, любимец и покровитель еретиков был увлечен строительством нового нефа собора и заставлял рабочих держаться за дело, несмотря на шальные снаряды, так как здание находилось у стен. Дух и энергия осажденных были таковы, что они не только держали свои ворота открытыми для вылазок, но и открывали новые шлюзы, пробивая бреши в собственных стенах. С самого начала шансы на успех были невелики, если бы внутри не возникли группировки. Де Монфор продержался три недели, а затем, видя, что осажденные держатся стойко, снял осаду.

Во время осады была проведена церемония, имевшая большое политическое значение. На глазах у осажденных епископ Каора отказался от верности Раймонду и от имени своего города и его окрестностей принес дань уважения де Монфору. На грамоте, подтверждающей этот акт, последней в списке дворян и духовенства стоит подпись "Брат Доминик, проповедник".

Следующим шагом крестоносцев было опустошение графства Фуа. Несомненно, их тщательное опустошение страны вокруг Тулузы укрепило Раймона политически, разозлив тулузцев. Во всяком случае, граф теперь чувствовал себя достаточно сильным, чтобы перейти в наступление, и предпринял осаду Кастельнодара.

Де Монфор со своей базы в Каркассоне как раз вовремя успел броситься на угрожаемый замок. По всей видимости, многие крестоносцы ушли домой, как это было у них принято, потому что силы, которые он смог сразу же сосредоточить, значительно уступали по численности войскам Раймонда. Тем не менее крестоносцы настолько превосходили его в боевом духе, что Тулузэн не смог расширить свои ряды, чтобы блокировать это место, а вместо этого потратил время на сильное укрепление своего собственного лагеря. Граф Фуа, специалист по устройству засад, подготовил ловушку для подкрепления крестоносцев, шедших из Лаваура. Подкрепление обнаружило засаду слишком поздно, чтобы отказаться от боя. Они успели развернуться и броситься в атаку, надеясь пробить себе дорогу. Их положение было отчаянным, когда де Монфор, совершив блестящую вылазку, отвлек внимание и позволил им овладеть замком. Даже после того, как подошли другие отряды крестоносцев из Кастра и Кагора, тулузцы все еще превосходили крестоносцев числом, и

дело, казалось, зашло в тупик. Примерно в это время пришло известие, что некоторые замки перешли к Раймону на основании слуха, распространенного графом Фуа, о том, что де Монфор был взят в плен, сожжен заживо и, наконец, повешен. Чтобы выйти из тупика, предводитель крестоносцев решил сам отправиться в Нарбонну и Безье за подкреплением; тогда Раймон, узнав, что его грозный враг больше не находится на его фронте, набрался храбрости, разрушил свои заветные укрепления и отступил.

В целом третий год крестового похода был успешным, несмотря на неудачу в Тулузе. Петр Арагонский не стал препятствовать, отправившись на юг Испании воевать с маврами. Ситуация в Европе мало изменилась. Император Оттон завоевал еще больше итальянских территорий. К концу года южная Германия окончательно объявила против него войну, но мятежники все еще оставались слабой стороной. Иоанну Английскому по-прежнему не было хуже от того, что папский легат в лицо отлучил его от церкви. Помогали ли Оттон и Иоанн Раймонду или нет, неясно. Один из биографов Иоанна говорит, что именно их помощь позволила ему удержать Тулузу против де Монфора, но никаких упоминаний о вмешательстве Иоанна и Оттона в это время у историков самого крестового похода нет.

В 1212 году де Монфор еще больше укрепил. Теперь театр его действий находился к северо-западу от Тулузы, где он взял Ла-Пенн-д'Аген и Муассак. В Муассак появились первые признаки активного противостояния в одном из городов Раймона. Жители напали на гарнизон, состоявший из наемников и тулузских ополченцев, и сдали город де Монфору. На Гаронне Кастельсарразин, Верден, Мюре и Сен-Годенс открыли свои ворота, а Раймон, которому теперь практически досталась только Тулуза и Монтобан, не предпринял ни одной попытки нанести контрудар. Де Монфор, со своей стороны, не предпринял ни одной атаки на Тулузу.

Естественно, что после такого успеха боевой дух крестоносцев поднимался все выше и выше. В своем энтузиазме они видели чудеса, сражались, убивали и сжигали с трогательной радостью. Сам де Монфор первым стал искать опасностей и трудностей. Вступив со своими рыцарями в Муре, он обнаружил, что его пехота не может переправиться вброд через затопленную Гаронну вслед за всадниками. Пехота Средневековья привыкла к презрению, ее набирали из людей низкого социального класса и считали малоценной в военном отношении, как мы видели в первых параграфах этой главы. Кроме того, опасались нападения со стороны Тулузы. Тем не менее де Монфор настаивал на переправе через реку, чтобы разделить опасности и трудности "бедных во Христе". Его жена, графиня Алиса, едва ли уступала ему в силе духа и энергии.

Его успехи были достигнуты, несмотря на множество трудностей. Ему часто не хватало людей: многих крестоносцев легатам приходилось поднимать на ноги за то, что они пытались сбежать, не отслужив и сорока дней. Денег тоже не хватало. Однажды командующий не смог купить даже хлеба для себя и вынужден был прогуливаться во время еды, чтобы его бедность не заметили.

Де Монфор был не только солдатом, но и государственным деятелем. В декабре 1212 года он собрал в Памье "три сословия" - дворян, духовенство и горожан - своих новых владений на своего рода конституционный съезд. На этом съезде обсуждался весь свод северофранцузских законов, известный как "Парижский обычай", для Лангедока, и все закончилось голосованием за его принятие. Для горожан этот режим означал порядок и подавление разбойничьих нападений - , чего никогда не добивались графы Тулузы. Для духовенства "парижский обычай" означал увеличение привилегий и иммунитетов. Что

касается дворян, то большинство из них к этому времени уже были преданы де Монфору. У всех заинтересованных сторон был шанс "сохранить лицо", согласившись на возможность свободно проголосовать за предложенные изменения. Для де Монфора, парвеню, съезд стал триумфом. Очевидно, что Крестовый поход превращался в постоянное управление Лангедоком "французами".

При таком большом успехе де Монфор получил всего одну проверку в течение года. Между ним и Арнаутом Амальриком возникло временное охлаждение. Сомнительный цистерцианец, будучи избранным архиепископом Нарбонны, пожелал стать герцогом и этого города. Этот титул был наследственным в семье Раймона, но к этому времени он уже не имел значения в лангедокской политике; единственным соперником в борьбе за этот пост были Арнаут Амальрик и де Монфор. Разозленный тем, что ему отказали, Арнаут Амальрик отправился на службу к Педро Арагонскому и сражался под его началом летом 1212 года против мавров в Испании. Если бы энергичный легат остался в Лангедоке, великие успехи де Монфора в этом году могли бы быть еще более значительными. Однако разрыв между двумя лидерами Альбигойского крестового похода был лишь временным. С точки зрения де Монфора, серьезным моментом испанской кампании был ее полный успех и возросший в результате этого престиж короля Педро. Далеко на юге, при Лас Навас де Тулоса, примерно в то время, когда Ла Пенне д'Аген пал под ударом де Монфора, король Педро помог разбить последнюю большую армию африканских мусульман, которую Испании когда-либо предстояло увидеть. Для Альбигойского крестового похода то, что его главный противник был известен как один из главных защитников христианства в Европе, было зловещим событием.

Все это время Папа Римский, главная движущая сила предприятия, стремительно перерастающего первоначальный замысел, четко придерживался религиозной цели крестового похода в противовес его последующему политическому развитию. В течение года он снова защищал Дюрана из Уэски и писал письма от имени его последователей, обращенных еретиков, ставших католическими миссионерами, епископам Франции и Италии. Подобными действиями Иннокентий упорно отказывался переходить на сторону крайних сторонников, выступавших за то, чтобы покончить с мягкостью и милосердием даже к раскаявшимся грешникам. Кроме того, за пределами Лангедока в предыдущем году в деле каноника Бар-сюр-Об, опасавшегося за свою жизнь из-за еретической репутации в своем районе, он настоял на том, чтобы обвиняемого защитили от насилия толпы. Великий Папа был великим юристом и великим джентльменом.

Очевидно, что Иннокентий был не тем человеком, который легкомысленно отнесся бы к превращению крестового похода во всеобщее низложение южной знати и замену ее "французами". Соответственно, зима 1212-13 годов и следующая весна стали дипломатическим кризисом Крестового похода. Уже несколько месяцев легаты требовали от Рима приговора о низложении Раймона, а для де Монфора - подтверждения всех титулов низложенного. Когда эти новости достигли Парижа, Филипп Август взялся прочесть папе урок права о том, что только сюзерен вотчины может распоряжаться ею в случае конфискации. Иннокентий счел нужным ответить защитой, заверив короля, что легаты имеют строгий приказ защищать "честь и интересы королевства Франция". Тем временем Петр Арагонский, вернувшись из Андалусии после победы над магометанами, проявил большую активность; он сам отправился в Тулузу, взял ее под свое покровительство и отправил посольство в Рим, чтобы выступить в защиту южного владыки против де Монфора. К концу 1212 года появились первые плоды арагонской дипломатии в виде писем Иннокентия к Арнауту Амальрику и его коллеге епископу Узесскому, а также других писем к епископу

Ризскому и Феодосию, которому Иннокентий за два года до этого поручил примирение с графом Тулузским. Папа категорически отказался заменить де Монфора на Раймона, порицал легатов за то, что они даже предложили пренебречь правами невинного наследника Раймона, и полностью дезавуировал акты соборов Сен-Жиль, Нарбонны и Монпелье. Наконец, он отдал строгий приказ епископу Риезскому и Феодосию немедленно примириться с Раймондом, отбросить свою медлительность и леность и впредь писать в Рим всю правду и ничего, кроме правды!

И все же папа чувствовал, что сделал недостаточно. Поэтому ближе к середине января он начал рассылать целую серию писем в Лангедок. Уже была обширная переписка с де Монфором, в которой он жаловался на скудные доходы от налога на очаг, взимаемого с трех обличителей. Теперь, 15 января 1213 года, Иннокентий вновь упрекает вождя крестового похода, на этот раз за несоблюдение обязанностей вассала Педро Арагонского в отношении его виконтства Безье и Каркассона. В тот же день из Рима пришло еще одно папское письмо, адресованное Арнауту Амальрику, в котором ему прямо предписывалось прекратить проповедь крестового похода и договориться с Педро и с "графами, баронами и другими благоразумными людьми, чья помощь окажется необходимой", об умиротворении Лангедока в интересах христиан Испании и Палестины, которым угрожает мусульманство. Не удовлетворившись даже этим, еще две папские буллы, датированные 17 и 18 числами, повторили приказ легатам и де Монфору полностью прекратить Альбигойский крестовый поход. В них повторялся внушительный список обвинений, выдвинутых Педро и тулузцами в том, что Комминж и Беарн, вассальные земли Педро, подверглись нападению де Монфора в тот самый момент, когда их сюзерен сражался за христианство при Лас-Навасе. Поэтому Папа приказал предводителю крестоносцев вернуть земли, которые он отнял у вассалов Арагона. Обвинения против Арнаута Амальрика, а именно то, что он совершил "узурпацию", направив крестовый поход против земель Раймонда, также были скреплены папской подписью и печатью. Педро гарантировал, писал Иннокентий, что Раймонд совершит покаяние, отправившись в крестовый поход в Испанию или Сирию. Наследник Тулузы должен был стать подопечным Арагона на время его несовершеннолетия и воспитываться им как добрый католик. Эти предложения должны были обсуждаться на своего рода учредительном собрании Лангедока, в котором должны были заседать не только высшее духовенство и дворяне, но и городские "консулы" и "бейлифы", то есть мэры деревень. Это собрание должно было сообщить о своих выводах в Рим, где папа должен был вынести окончательное решение.

Поддерживая арагонскую политику, Иннокентий, тем не менее, сделал две важные оговорки. Во-первых, он не сделал решающего шага по отзыву Арнаута Амальрика. Несмотря на то, что политика сомнительного цистерцианца была дезавуирована, ему все же было поручено созвать конгресс и ввести в действие новую папскую политику, приняв "соответствующие меры". Во-вторых, в соответствии с древней и доброй традицией осторожности в папской дипломатии было принято решение неоднократно заявить, что обвинения Педро против Арнаута Амальрика и де Монфора, в конце концов, являются лишь обвинениями, которые еще не доказаны. Рим на своем долгом и, несомненно, часто горьком опыте прекрасно знал, как невозможно получить полную и точную информацию о делах на расстоянии. Медленные и нестабильные коммуникации того времени бесконечно затрудняли принятие решений и работу такой централизованной системы, как папство.

Однако и в те времена агенты на местах редко могли так полностью противостоять воле своего далекого хозяина. Даже в то время, когда грозные январские письма писались

писцами Латерана, Собор (созванный во исполнение приказа папы от осени предыдущего года приступить к примирению Раймонда) собирался на "темной и кровавой земле" Лавора, готовый пойти на полное несогласие с духом своих указаний. В его состав входили только папские легаты и агенты, а также около двадцати гасконских и лангедокских епископов. Раймонд опасался, что своим приездом поставит себя во власть де Монфора. Поэтому, в отсутствие обвиняемого и вопреки ясно выраженному желанию папы, совет заявил, что его показания в свою пользу в любом случае были бы бесполезны. После его возвращения из Рима, где, как торжественно заявил Собор, Папа обошелся с ним гораздо лучше, чем он того заслуживал, он не вернул церковное имущество, ранее украденное им, преследовал епископов и аббатов и не проявил ни малейшего желания уволить своих разбойников-наемников или изгнать еретиков. Поскольку он поклялся сделать все это, Собор официально постановил, что клятва такого закоренелого клятвoprеступника ничего не стоит и не должна быть принята, даже если он предложит ее дать. Встречное предложение Раймонда, сделанное за него одним из его нотариусов, о том, чтобы Феодосий и епископ Ризе устроили ему присягу в Тулузе или в каком-либо другом месте, не удерживаемом войсками де Монфора, даже не обсуждалось. Решение Собора, о котором комиссары сообщили Папе, запрещало его рассматривать. В конце своего письменного отчета они обратили фразу Иннокентия против него самого и торжественно заявили, что в ней содержится "вся правда и ничего кроме правды" по этому вопросу.

Разобравшись таким образом с Раймондом, король Педро обратился к Собору. По его словам, он хотел обсудить вопрос о восстановлении вотчин трех графов - Тулузского, Фуа и виконта Беарнского. Арнаут Амальрик потребовал письменных предложений за королевской печатью. После этого король Педро попросил заключить перемирие на время подготовки документов, в течение которого крестоносцы должны были "не делать зла" своим противникам. "Я не перестану делать зло, - ответил де Монфор, - но в течение недели я воздержусь от добра, ибо преследовать врагов Христа - не зло. Напротив, я считаю это добрым делом".

Что касается обещаний, то предложения арагонцев были достаточно полными. Все четыре обвиняемых дворянина были готовы полностью удовлетворить требования Церкви и просили лишь о восстановлении своих земель. Если в случае с Раймондом в восстановлении было отказано, то требовалась хотя бы гарантия законных прав его сына, который должен был быть воспитан добрым католиком под опекой короля Педро. Тем временем сам Раймонд должен был совершить покаяние, отправившись в крестовый поход в Святую землю или Испанию. Четырем вельможам король Арагона сказал, что пришел просить милости, а не справедливости, тем более что крестовый поход в Испанию сделал как никогда необходимым, чтобы христиане не расходились между собой.

Совет мог знать, а мог и не знать, что эта программа уже была предложена Педро Папе. Ни Совет, ни Педро не могли знать, что Папа уже принял ее. В любом случае было совершенно ясно, что в случае ее принятия ее ценность будет полностью зависеть от готовности короля выполнить ее условия в отношении четырех дворян, к которым он уже проявил свою симпатию. Кроме того, каждый священнослужитель, заседавший в Лавауре, был овеян горечью долгой, ожесточенной и все еще сомнительной борьбы. Поэтому они отклонили предложения арагонцев. Папа, как они искренне говорили королю, оставил за собой право окончательного решения вопроса о примирении Раймонда с Церковью. Поэтому, поскольку отлученный от церкви граф отказался явиться к ним и предпринять предварительные шаги, они оказались бессильны; и на самом деле папские комиссары могли быть не в большей

безопасности, отправляясь в Тулузу, чем Раймонд, даже с королем Педро рядом с ним, отважившийся отправиться в Лавур. Что касается трех других дворян, то Бернар из Комминжа, как считалось, подстрекал тулузцев выступить против крестоносцев с оружием в руках. Раймон Роже из Фуа, напомнили они королю, был отъявленным покровителем еретиков и разорителем церквей и не соблюдал даже недавнюю конвенцию, заключенную от его имени самим Педро. Гастон Беарнский защищал убийц Кастельно, преследовал Церковь и яростно выступал против Крестового похода. Он содержал разбойников-наемников, которые разгромили Олоронский собор, осквернили освященное воинство и пародировали мессу. Тем не менее, если Фуа, Комминж и Беарн придут за отпущением грехов и подчинятся, все будет им прощено. Совет постарался предварить свой отказ от арагонских условий параграфом, полным личных комплиментов и любезностей в адрес короля. Тем не менее, они закончили его предупреждением, напомнив ему о почестях, которые он получил от Папы, о клятве, которую он дал, чтобы подавить ересь, и о подозрениях, которые должны пасть на него, если он продолжит принимать участие в отлучении людей, обвиненных в столь тяжком преступлении. Если он не будет удовлетворен их ответом (что было вполне вероятно, поскольку они отказали ему во всем, о чем он просил), Собор передаст все дело на рассмотрение Папы.

Оставалось убедить Папу поддержать Совет, чего он отнюдь не желал делать. Соответственно, советы сыпались на него со всех концов Лангедока. Из Лавора сам Собор отправил письма через агентов Арнаута Амальрика и графа Симона. Письма напоминали Иннокентию, что он сам провозгласил крестовый поход, а затем поручил де Монфору командование им. Преступления графа Тулузского были выставлены напоказ. Разве не просил он помощи у отлученного от церкви императора Оттона, и не только просил, но и получил ее (в некоторой степени) от пресловутого Савари де Молеона, который командовал в Аквитании у отлученного от церкви короля Иоанна Английского? Не совершил ли он отвратительное преступление, оскорбив все христианство, отправив посольство просить помощи у султана Марокко? Если врагам религии, обратившись к Педро, удастся "помешать" Папе, чтобы топор не был занесен над злым деревом Тулузы, то христианство в Лангедоке действительно будет уничтожено. Другую симфонию на ту же тему дал второй региональный совет, состоявший из высшего духовенства восточного Лангедока и долины нижней Роны, который собрался в Оранже под председательством архиепископа Арльского. Оранже соперничал с Лавором в своих яростных высказываниях против "тулузского тирана". Солировали архиепископы Экса и Бордо, а также епископы Базаса, Перигё и Безье. Тон этих прелатов несколько различался: от Его Преосвященства Экса (в непосредственной близости от его кафедрального города еще не было боевых действий, и поэтому он был сравнительно умерен) до лорда-епископа Безье, который назвал Тулузу "гнездом гадюк", которое должно быть полностью раздавлено. Но при всех вариациях тона звучал один и тот же мотив: *Tolosa delenda est*. Тулузский дом должен быть уничтожен.

В Риме дипломатическая борьба должна была быть ожесточенной. Нелегко было публично просить Иннокентия съесть свои слова и действовать, исходя из предположения, что арагонская версия событий - сплошная ложь. С другой стороны, повторяю, любая центральная власть в Средние века была в гораздо большей степени во власти своих агентов на местах, чем в наши дни с быстрым транзитом и телеграфом. Если бы Папа поддержал арагонцев и отрекся от Арнаута Амальрика и его сторонников, это означало бы, что он пошел бы вразрез с мнением практически всех важных церковных деятелей к северу от Пиренеев в радиусе 200 миль от Тулузы. Тем не менее, вопрос был настолько сбалансирован, что в течение пяти месяцев, пока агенты Арагона и Крестового похода продолжали излагать свои позиции, решение так и не было принято.

В то время как будущее крестового похода находилось в подвешенном состоянии, Париж, казалось, впервые был готов действовать. Филипп Август надеялся завершить свои успехи в борьбе с Плантагенетами, отняв у них также Англию. Но прежде чем французская армия сможет пересечь Ла-Манш, требовалась максимально возможная дипломатическая помощь со стороны папства. Поэтому в марте 1213 года король Франции созвал общее собрание своих баронов, чтобы решить, какие силы должны последовать за его сыном, принцем Людовиком, в крестовый поход в Лангедок. Чтобы поднять настроение, в Париж отправились ревностный епископ Тулузы Фульк и Ги де Во-Керне, епископ Каркассона, который назначил будущего святого Доминика управляющим своей епархией на время своего отсутствия. Против них прибыл епископ Барселоны в качестве посла Педро, вооруженный январскими письмами Иннокентия, положившими конец крестовому походу и отрекшимися от легатов! Тут возникло изрядное осложнение. Филипп Август и сам умел иногда быть хитрым, но даже он, должно быть, был озадачен истинным положением дел в Риме. Тем не менее, было решено, что крупные силы должны двинуться на юг под командованием принца Людовика. Только полученный месяц спустя приказ Иннокентия о том, что Филипп должен унять ссору папы с Иоанном, отправив молодого Людовика в Англию, помешал французской монархии принять участие в Альбигойском крестовом походе.

Наконец, в Риме был брошен жребий. Около 1 июня Иннокентий в своем обычном энергичном тоне написал Педро, Симону, Арнауту Амальрику и Фульку Тулузскому. Папа обнаружил, что послы южных владык солгали ему. Поэтому он отрекается от своих январских писем, лишает своей защиты граждан Тулузы и господ Фуа и Беарна; до тех пор, пока Фульк не отпустит тулузцев, а Арнаут Амальрик - трех дворян, после должного и полного подчинения во всех случаях. Педро напомнили о милостях, которые он получил от Иннокентия, и упрекнули в том, что он проявил так мало мудрости и благочестия, что защищал еретиков и пособников ереси, более опасных, чем сами еретики. Ему приказали не нападать на де Монфора и, наконец, предупредили, что в случае неповиновения против него, любимца Церкви, будут приняты решительные меры. Необыкновенный дух великих средневековых пап, их огромное чувство власти и смелая решимость использовать ее до конца, вибрирует в этом письме. Император и король Англии, отлученные от церкви и бросающие ей вызов, Иннокентий, тем не менее, угрожает выступить против главного защитника христианства от магометан! Как и прежде, он сделал одну оговорку. Он удовлетворил просьбу арагонцев о новом легате и уведомил короля Педро, что направляет на эту должность кардинала Роберта де Куркона. Но эта уступка была лишь каплей в море. Новая папская политика практически не оставляла арагонцам выбора между войной и отказом от Лангедока в пользу де Монфора.

Еще до того, как стало известно о решении папы, первый знаменосец церкви выбрал войну. Не порывая открыто с Папой, он решил, что стоит рискнуть многим, чтобы спасти Раймонда, который сам женился на одной из сестер Педро и выдал наследника Тулузы за другого. Характерно для этого человека и для того времени, что, отдавая приказ о всеобщей мобилизации сил против крестового похода, он в то же время добился от Иннокентия продления папской буллы 1095 года, согласно которой на владения его дома не мог быть наложен интердикт иначе как лично папой, тем самым притупив духовный меч в руках неустрашимого Арнаута Амальрика. Тем временем он официально взял под свою защиту Тулузу, Фуа и Беарн и начал усиленно собирать войска, призывая своих сеньоров заложить свое имущество и следовать за ним на помощь своему шурина, которого клерикалы и "французы" стремились обездолить. В соответствии с вековыми традициями Европы Каталония уже тогда, как и сейчас, была склонна к антиклерикальным настроениям по отношению к набожному Арагону. Поэтому, хотя арагонцы держались в стороне и не

проявляли особого энтузиазма в войне, каталонцы быстро набирали войска, так что к весне у Педро был большой отряд, оснащенный, как сказано в "Шансоне", не только вьючным, но и колесным транспортом, и готовый к походу.

Все эти приготовления продолжались всю позднюю зиму и раннюю весну. К концу весны, когда мобилизация была завершена, наступила пауза. Антикрестовая партия в Лангедоке с тревогой ждала Педро, о чем ярко свидетельствует сохранившаяся поэма трубадура, но арагонец медлил. Несомненно, прежде чем тронуться в путь, он хотел узнать, как обстоят дела с Иннокентием, который так долго не мог прийти к решению. Если вердикт Папы окажется благоприятным для короля, то ему, конечно, не придется использовать столько сил, а возможно, и вовсе не придется действовать. С другой стороны, если арагонская дипломатия проиграет в Риме, то Педро должен быстро добиться значительного военного успеха, чтобы представить Иннокентию свершившийся факт в качестве основы для ведения войны. Наконец прибыли два аббата; де Монфор и легаты поручили им показать королю папское письмо от 1 июня, в котором Иннокентий выступил категорически против Арагона. Король ответил двум аббатам обещанием повиноваться папе. Де Монфор послал рыцаря, Ламберта де Тури (которому он доверил замок Пуйверт в пятнадцати милях от Кийана по дороге в Фуа), с письмом, в котором он сообщал Педро, "без всяких обычных приветствий", что арагонец должен снять свою защиту с лангедокских дворян "под страхом быть преследуемым, как и все другие враги Церкви". На это Педро ничего не ответил, лишь пригрозил жизни гонца, и переправился через Пиренеи с большей частью своих крупных сил, оставив тыловой эшелон следовать за собой так быстро, как он мог, и объявив, что он действует по приказу Папы, взяв в руки оружие против Крестового похода.

Вмешательство Педро обещало стать решающим. В течение четырех лет граф Симон, несмотря на тяжелые испытания, вырывал успех из пасти враждебных обстоятельств. Но теперь шансы были настолько велики, что возможен был только один исход. Летом 1213 года любой человек (независимо от его желания), оценивая шансы будущего, сказал бы вам, что де Монфор и его маленький отряд крестоносцев будут стерты с лица земли.

ГЛАВА V. АЛЬБИГОЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. МЮРЕ И ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Мы видели, что все, кроме, возможно, самого де Монфора, ожидали, что крестовый поход будет уничтожен. Событие доказало, что они ошибались. Поэтому справедливо говорить об оставшейся части войны и окончательной капитуляции Тулузского дома как о продолжении удивительного поступка Мюре. Ведь хотя окончательная капитуляция была отложена на шестнадцать лет, без Мюре не было бы никакой капитуляции.

Помимо огромного результата, кампания 1213 года, кульминацией которой стала битва при Мурете, интересна как один из немногих конфликтов между людьми европейского происхождения, в котором небольшой отряд разбил и уничтожил многократно превосходящую его силу. О том, что люди того времени осознавали как важность, так и экстраординарный характер этого сражения, свидетельствует обилие записей о нем. Несмотря на это, никто из изучающих средневековую войну не удивится, узнав, что

реконструкция самого сражения остается сложной. Странно, однако, что почти полностью отсутствуют сведения о линии марша Педро.

Кажется вполне определенным, что арагонцы сосредоточились в Лериде. Они не могли идти по великой прибрежной дороге римлян, из Барселоны через Перпиньян (город Педро) в Нарбонну, а затем на запад через Каркассон на Тулузу, так как де Монфор прочно удерживал Каркассонскую область. Поэтому поход по этому, естественному для мирного времени малопригодному маршруту, подверг бы короля вероятности сражения до соединения с союзниками из Лангедока. Если исключить главную прибрежную дорогу, остаются две возможности - Сомпорт и Сердань, и между ними, похоже, нет никаких прямых доказательств. Движение через Уэску, Хаку, Сомпорт и, таким образом, в дружественный Беарн через Олорон, лишило бы де Монфора возможности преследовать этот поход. Фраза в Виссете, повторенная Люшером, о том, что король "вошел в Гасконь", говорит в пользу гипотезы Сомпорта. Как и тот факт, что арагонцы вошли в Тулузу, прежде чем двинуться на Мурету. Если бы он двинулся через Сердань, Муре оказался бы прямо на линии его марша к Тулузе. Тем не менее, вероятности говорят в пользу Серданьи. Прежде всего, Беллок утверждает, что Сомпорт был заброшен (за исключением, как мы можем предположить, локальных участков) после того, как "...новая цивилизация Средневековья вступила в свои права с XII века...". Южная сторона Сомпорта, по которой пришлось бы подниматься армии, очень крутая. Кроме того, основная часть армии Педро, как мы уже видели, была не арагонской, а антиклерикальной каталонской. Для каталонцев Сердань была кратчайшим путем в Лангедок.

Движение через Сомпорт привело бы их к огромному объезду, а в сложившейся ситуации скорость была крайне важна. Их командующий не мог долго притворяться, что его действия одобрены Папой, и поэтому должен был спешить. Выбор Лериды в качестве места сосредоточения говорит в пользу Серданьи. Если бы арагонцы намеревались двигаться через Сомпорт, то более естественным было бы сосредоточение у Уэски или даже у Хаки. Кроме того, нет больших трудностей в том, чтобы предположить маршрут Серданьи по верховьям Сегре до Пуигсерды, через перевал Пьюморен и верховья Арьежа на Фуа. Весь верхний бассейн Тет, а также верховья Ауде находились в Руссильоне, который был арагонскими землями. Де Монфору, даже если бы он был вовремя предупрежден, было бы практически невозможно пройти маршем из Средней Ауды через враждебную территорию у Аксата, Мон-Луи и Сайлагузы, чтобы вклиниться справа в арагонскую колонну. Находящиеся в Лангедоке силы, дружественные Педро, исключали всякую возможность подобного шага. В дальнейшем, когда Арагон вступил в Фуа, у де Монфора был гарнизон в Памье, который мог преследовать фланг их колонны, двигавшейся на север. Тем не менее, Памье можно было избежать, двигаясь из Фуа на запад по Сен-Жирон и верхней части долины Гаронны, и, в любом случае, Арагон и Фуа были в большом составе и шли к большому и дружественному городу Тулузе, так что, при условии разумной заботы о безопасности на марше, гарнизона Памье можно было опасаться мало. Поэтому кажется, что весомость вероятности, как бы мала она ни была, говорит в пользу того, что Педро отправился в поход через Сердань.

Какой бы ни была линия его марша, араговец добился соединения со своими союзниками, и 10 сентября они вместе расположились перед Муретом. Это место удерживалось для де Монфора гарнизоном из тридцати рыцарей и семисот плохо вооруженных пехотинцев. Лангедокские бароны были в приподнятом настроении. Небольшой гарнизон де Монфора в Пюжолле, в восьми и трех четвертях миль к востоку-юго-востоку от Тулузы, был отрезан и уничтожен. Пехота ополчения коммуны Тулузы была готова к атаке на Мюре, поскольку гарнизон этого города угрожал Тулузе с юго-запада так же, как Лавор - с северо-востока.

Выбор цели был мудрым, поскольку позволял использовать ополчение, а также по главной причине: важность отсоединения Тулузы (базы Лангедокии) от ближайшего монфорского гарнизона.

В отличие от расплывчатости наших сведений о передвижениях Педро, о передвижениях де Монфора мы знаем все подробности. Предводитель крестоносцев лежал в Фанжо с небольшим отрядом, включавшим тридцать рыцарей. Как тогда, так и сейчас, в начале лета наступил пик энергии французов, и к сентябрю большая часть сорокадневных крестоносцев того года повернула на родину. Хотя мы знаем (из перехваченного частного письма Педро), что у де Монфора работала некая разведывательная служба, тем не менее, его информация, похоже, была неполной, так что он был удивлен шагом Педро, возможно, из-за его скорости. Когда пришло известие о том, что араговец находится в Лангедоке с оружием, де Монфор сразу же отправил свою жену, графиню Алису, догнать некоторых временных крестоносцев, которые только что отправились на родину, и, если возможно, убедить их вернуться. Энергичная графиня так спешила, что собрала в Каркассоне несколько сотен уходящих крестоносцев, включая виконта Корбейля и Вильгельма де Барреса, который командовал "битвой" (то есть отрядом) под началом Кер де Льва во время Третьего крестового похода, включая кровавый отпор Саладину при Арсуфе двадцать два года назад. Даже когда подошли подкрепления, мобильные силы де Монфора были невелики. У него было около двухсот шестидесяти рыцарей и шестьсот "сержантов", то есть кавалеристов, хорошо вооруженных, как рыцари, но не благородных кровей. Было известно, что король Педро и южные лорды располагают большими силами. Большинство средневековых полководцев, серьезно уступая в численности, привыкли отказываться от сражения из-за стен, но Симон был необычным человеком, к тому же его побуждала политическая необходимость. Только ужас перед его именем позволял его небольшим силам удерживать тысячи безвольных южных подданных. Потеря такого сильного места, как замок Муре, могла оказаться роковой для его престижа и послужить сигналом к всеобщему восстанию. Кроме того, он не только безгранично верил в свое дело, но и искренне презирал короля Арагона как противника. Он знал, что арагонцы и лангедокцы не привыкли действовать сообща, и поэтому им будет трудно развернуться для действий, особенно если на них внезапно нападут. Поэтому он решил выступить на поле боя.

Решение было принято, и 9 сентября (когда Педро и южные сеньоры шли на Мурету, но еще до того, как пришло известие об этом движении) де Монфор двинулся на запад от Фанжо на Савердун, сделав небольшой крюк к цистерцианскому аббатству Бульбонн, расположенному недалеко от Мазереса. Там он посвятил свой меч, положив его на время на алтарь, пока молился. Когда ризничий аббатства удивленно спросил его, почему он с горсткой людей нападает на столь знаменитого вождя арагонцев, граф Симон достал из сумки перехваченное письмо Педро к своей любовнице, жене лангедокского барона, в котором король писал, что именно ради нее, милой, он сражается, чтобы изгнать "французов". "Я не боюсь этого короля, - сказал де Монфор, - который противится делу Божьему ради блудницы". Он уже ожидал нападения на Мурете, самый уязвимый из своих гарнизонов. В жаркий полдень курьеры, проскакавшие в тот день до Мурета двадцать миль, принесли весть о том, что он атакован. Маленькое крестоносное войско двинулось дальше и к вечеру достигло Савердуна. Здесь состоялся военный совет, на котором де Монфор высказался за то, чтобы этой же ночью двинуться к Мурету, который был плохо снабжен, но уступил мнению духовенства, которое настаивало на том, что люди и лошади устали от марша в 35 миль за сорок восемь часов, вдобавок к 17 милям, которые де Корбей и дез Баррес уже прошли от Каркассона до Фанжо.

Присутствовало не менее семи епископов: Фульк Тулузский, Арнольд Нисмский, Бернар Безьерский, Раймонд Агдский и Петр Комминжский (вместе с будущим святым Домиником) - внушительный состав, с помощью которого, несомненно, надеялись произвести впечатление на короля Педро. Утром в среду, одиннадцатого числа, де Монфор исповедался и огласил свое завещание, распорядившись отправить его в Рим для подтверждения в случае своей смерти. Была отслужена месса, и графы Тулузы, Фуа и Комминжа были вновь официально отлучены от церкви, вместе с тулузцами и всеми, кто мог бы противостоять крестовому походу. Примечательно, что король Арагона не был упомянут по имени, и к нему епископ Фульк отправил конного курьера с просьбой обеспечить безопасный проезд духовенству, находившемуся с де Монфором, чтобы заключить мир. Переправившись через Арьеж у Савердуна, маленькая армия двинулась на север по левому берегу этой реки. Примерно в десяти милях по пути, в Хаутериве, курьер, посланный к Педро, вернулся с отказом от всего, о чем просил епископ Фульк. На протяжении двенадцати миль между Хаутеривом и Муретом марш задерживали болотистые местности, которые еще больше осложнились из-за недавних дождей. Яростные летние ливни в Лангедоке заливали наступающую колонну, один из них был настолько сильным, что заставил многих укрыться в маленькой придорожной церкви, куда их предводитель зашел помолиться. Когда ливень прошел, продвижение было возобновлено, и ближе к вечеру в поле зрения появились массивные валы Муре из красного кирпича. В течение дня врага не было видно, но теперь, находясь на виду у противника, чтобы можно было точно оценить его численность, крестоносцы перешли по мосту через Гаронну и без сопротивления вошли в город. Отсутствие сопротивления удивило де Монфора, говорит Антоний.

В условиях средневековья Муре был, естественно, сильным. Общая форма города - правильный треугольник с коротким основанием. Гаронна течет на северо-восток по перпендикуляру треугольника; извилистый Луж течет в общем направлении на восток по гипотенузе и впадает в Гаронну у вершины треугольника, где тогда стоял замок. К замку примыкал старый город, или "бур". Новый город, или "вилле", занимал пространство между "бургом" и основанием треугольника. Дорога из Тулузы пересекала Луж по мосту и входила в "вилль" через Тулузские ворота, которые были пробиты в стене северной стороны гипотенузы возле северо-западного угла. Сальские ворота открывались через стену основания у прямого угла. С восточной стороны вдоль берега Гаронны под стеной проходила дорога от южного угла города мимо моста через Гаронну к мосту Сен-Сернен, который пересекал устье Лужа под стенами замка, расположенного в вершине треугольника. Под прямым углом, то есть в южном углу города, находилась крепостная стена, защищавшая Сальские ворота и вход, ведущий на дорогу вдоль берега Гаронны. Оборона замка была сильной, оборона "бурга" - менее сильной, а оборона "виллы" - слабой.

Гаронна у Мюре шириной около ста пятидесяти ярдов не имеет брода и быстро течет между крутыми берегами высотой более тридцати футов и почти сорока футов чуть ниже устья Лужа. Луж - хороший ручей от пятнадцати до двадцати пяти футов в поперечнике, проходимый в брод в любое время года, кроме устья, но представляющий собой первоклассное военное препятствие из-за высоты и крутизны берегов, почти сорок футов, как мы видели, в устье, и более пятнадцати - чуть выше города. В полумиле вверх по реке берега низкие и пологие, и она совсем не является препятствием. От точки, расположенной в трех четвертях мили к западу от города, немного восточнее к северу тянется низкий хребет. Высота этого хребта (называемого в городе "холмом Перрамон") не превышает пятидесяти футов, а уклон очень пологий. Между ним и Гаронной земля довольно ровная. Примерно в миле к северу от города находится небольшая заболоченная впадина, называемая на местном диалекте "Les Pesquies", то есть рыбный пруд или рыбная ловля, а из этого болота на восток к Гаронне течет

крошечная речушка, между берегами высотой всего десять футов и с уклоном в тридцать градусов на вершине - препятствие, невозможное для наступающей кавалерии.

Педро, Раймон, Фуа и Коммингес разбили лагерь на холме Перрамон. Под прикрытием огня шести мангонелей (катапульта) они стремительно атаковали стены в районе Тулузских ворот, прорвали оборону "виллы" и загнали гарнизон из тридцати рыцарей и семисот плохо вооруженных пехотинцев в бург и замок. Штурм, по-видимому, был делом рук тулузской пехоты, рыцари и каталонцы пренебрегли осадной работой. Не успели занять "виллу", как пришло известие о приближении де Монфора. Тогда Педро, ликуя, приказал отступить за стены, полагая, что если крестоносцы только войдут в город, то попадут в ловушку. Тогда можно будет осадить город со всех сторон и закончить войну одним ударом. Поэтому вступление без сопротивления удивило де Монфора.

Ранний вечер союзники провели в совещаниях. Раймон предложил укрепить лагерь так, чтобы обезопасить его от нападения кавалерии, а защитникам дать возможность стрелять в крестоносцев, не опасаясь быть сбитыми с ног. Подобная тактика, по крайней мере, позволила тулузцу благополучно вывести свою армию из неудачной осады Кастельнаудари за два года до этого. Однако спортивным инстинктам Педро это показалось просто трусостью, и он не только отверг эту идею, но и позволил одному из своих баронов горько высмеять Раймонда за то, что тот высказал это предложение. Идея была отброшена. Раймонд был в такой полной власти Педро, что мы даже не слышим, чтобы он возмущался по поводу нанесенного ему оскорбления. Появились два монаха, посланные епископом Тулузским Фульком, чтобы договориться либо с арагонцами, либо с его собственной тулузской паствой. Тулузцы пообещали дать ответ и задержали монахов. Разобравшись с этим вопросом, Педро начал ночное веселье. Многие бароны Лангедока, которые были полностью в его власти, отдали своих жен и дочерей в его распоряжение, и он распутничал так бурно, что на утренней мессе (так пишет его собственный сын) он был настолько истощен, что едва мог выдержать чтение Евангелия.

Даже если бы он всерьез задумался о военном положении, у короля не было причин торопить события. Все его собственные войска еще не присоединились, и, по всей вероятности, он знал о нехватке провизии в Мюре, которая должна была вскоре истощить силы его противников. То, что де Монфор поведет свой маленький отряд в атаку, не выходило у Педро из головы.

С другой стороны, де Монфор ясно видел, что сам должен атаковать. Та же политическая необходимость, которая влекла его в Мурету, делала быстрый успех желательным; нехватка продовольствия в городе делала его обязательным. У него было четыре года, чтобы оценить Педро, и он должен был быть уверен, что король-спортсмен будет действовать бессистемно. Его собственное превосходство в численности можно было бы нейтрализовать, если бы он смог устроить частичный сюрприз. Возможно, именно это он имел в виду, когда утром 11-го числа приказал не закрывать и не баррикадировать Тулузские ворота, которые были форсированы накануне. У противника могло возникнуть искушение атаковать их снова, и таким образом он не смог бы уделить все свое внимание предложенному контрнаступлению. Возможно, епископы хотели показать, что не считают дипломатические отношения разорванными. Уловка, если это была уловка, удалась. Дикарь граф Фуа и несколько каталонцев ворвались в город через открытые ворота, но были выбиты крестоносцами под командованием самого графа Симона. У него было семьсот пехотинцев, и даже посредственная пехота (при условии, что она сохранила голову) имела преимущество перед

конными людьми, запертыми на узких и извилистых улочках средневекового города. Неудачная атака послужила еще одной цели - вынудить духовенство согласиться на опрометчивый, как они считали, план вылазки. Епископ Фульк, ничуть не обескураженный тем, что тулузцы вернули двух его монахов с сообщением, что они ничего не могут сделать с королем Педро, намеревался босиком, во главе присутствующего духовенства, отправиться просить мира в самом лагере осаждающих.

Теперь де Монфор, разгоряченный тем, что руководил отбитием Фуа и каталонцев, ворвался в приорство и потребовал разрешения выйти на бой. Тем временем южане, готовясь к новой атаке, открыли шквальный огонь всевозможными снарядами. Когда снаряды стали падать на крышу приорства над их головами, священнослужители оставили всякую мысль о переговорах и дали графу Симону разрешение на атаку.

Получив разрешение, пеший предводитель крестоносцев направился к замку, где оставил своего коня. По пути он зашел в Сен-Сернин, где епископ Усезский совершал мессу, и преклонил колена перед алтарем. Когда он поднялся, порвался ремень одного из его цепных набедренников, но, не обращая внимания на дурное предзнаменование, он просто заменил его и продолжил свой путь. Его лошадь вывели на высокую террасу замка, но, когда он попытался сесть, произошли еще два неутешительных предзнаменования. Сначала сломалась подпруга седла. Он спокойно починил ее и снова поставил ногу в стремя. Как только он взвился в седло, лошадь рывком подняла голову и ударила его по лбу, так что на мгновение он остолбенел. Несколько тулузцев, стоявших на наблюдательном пункте к северу от Лужа, подняли насмешливый крик, на что он дерзко ответил: "Вы насмехаетесь надо мной, но я уповаю на Господа и надеюсь в этот день докричаться за вами до ворот Тулузы".

Можно с уверенностью предположить, что тулузцы находились на расстоянии легкого выстрела из лука - примерно в ста пятидесяти ярдах. Поэтому их жесты были видны и насмешливые возгласы слышны, тогда как точные слова графа Симона не могли до них дойти: если бы их поняли, они могли бы поставить под угрозу задуманный им сюрприз.

Наконец граф Симон сел на коня и выстроил свои девятьсот всадников на просторной рыночной площади, причем "меркадар" составил три эскадрона или "баталии", каждая, как мы можем с уверенностью предположить, насчитывала около трехсот человек, то есть сто рыцарей и двести сержантов. Первый выставил все знамена войска, чтобы сконцентрировать внимание врагов на нем. Командовал ею Вильгельм д'Энконтр, которого сопровождал сводный брат де Монфора, ветеран Вильгельм де Баррес. Второй отряд находился под командованием Бушара де Марли и включал горстку рыцарей, которые поклялись убить короля Педро. Третьим отрядом командовал сам де Монфор. Когда они были сформированы, он обратился к ним с речью и объяснил предполагаемый маневр, подчеркнув необходимость выступить через ворота, за которыми не будет пристального наблюдения со стороны противника, чтобы при развертывании их лошади не подвергались воздействию ракетного оружия, а самим бойцам было бы нечего бояться благодаря цепным доспехам со стеганой подкладкой. Он приказал им идти в атаку и сражаться как единое целое и ни в коем случае не нарушать строй, чтобы попытаться совершить какой-нибудь индивидуальный подвиг.

Наконец, перед тем как двинуться в путь, их торжественно благословили епископы. Рано утром была отслужена месса, и все солдаты, которые не сделали этого раньше, исповедовались и приняли Святину. Фульк, в митре и облачении, протянул фрагмент настоящего креста, чтобы каждый по очереди сошел с него и поцеловал.

Эта церемония, конечно, затянулась настолько, что энтузиазм войск начал страдать, пока епископ Петр Комминжский, более практичный, чем его тулузский брат, не пресек ситуацию, осторожно взяв реликвию в свои руки и держа ее на виду у всех присутствующих, обещая тем, кто падет, славу мучеников и избавление от чистилища. После этого, когда маленькая колонна отошла, духовенство направилось в церковь и на протяжении всего боя продолжало взывать к престолу благодати от имени христианского оружия с таким рвением, что "...можно сказать, что они скорее ревели, чем молились".

Невозможно установить численность войска, на которое собирались напасть крестоносцы. Педро мобилизовал тысячу рыцарей, все они еще не прибыли, но число его "сержантов" нам известно. Нет данных о том, сколько человек привели с собой лангедокские дворяне, хотя известно, что за два года до этого при Кастленаудари их силы значительно превосходили силы де Монфора в то время, когда Педро не было в поле. Подсчеты разных авторитетов сильно разнятся. Только в кавалерии крестоносцы, безусловно, превосходили по численности, по крайней мере, четыре к одному.

Численность южной пехоты, включая феодальную пехоту и общинное ополчение, оценивается в сорок тысяч человек. Данные о тулузском ополчении отсутствуют, но оно, несомненно, имело значительные силы. С другой стороны, боевой дух союзников был ниже превосходного боевого духа крестоносцев, а между лангедокцами и испанцами, как мы уже видели, существовали трения.

Реконструкция средневекового сражения - дело величайшей сложности, как известно каждому ученому, пытавшемуся решить такую задачу.

Даже когда (как в данном случае) под рукой имеется полдюжины современных отчетов, в них нельзя найти ничего, приближающегося к техническому описанию действия. Изредка, как в хронике Хайме Арагонского, где перечисляются различные ошибки, совершенные войсками под командованием его отца, мы получаем вспышку истинной военной оценки, но не более чем вспышку. На несущественных, но живописных происшествиях, таких как серия неудач, постигших де Монфора при монтаже, останавливаются, а основополагающие моменты действия остаются туманными.

Поэтому историк вынужден проверять свои авторитеты путем детального изучения местности, изучения местных традиций и всего здравого смысла в сочетании с военным суждением.

В отношении этого вопроса военного суждения возникает еще одна трудность, а именно: наше полное незнание тактики средневековой армии. В большинстве других аспектов наше незнание носит квалифицированный характер. Мы знаем, что наши европейские предки семь и восемьсот лет назад могли перебрасывать большие армии из Франции в Палестину, как по суше, так и по морю. Поэтому мы вынуждены признать за ними значительную степень дисциплины и наличие эффективной комиссариатской и разведывательной службы; отрицать столь очевидные выводы - значит просто выставить себя дураком. Мы хорошо осведомлены об их укреплениях и осадных работах, которые играли столь важную роль в их войнах. Но что касается деталей их тактических формирований и особенно регулярности этих формирований, мы не знаем вообще ничего. Поэтому современные высокообразованные солдаты-ветераны могут утверждать, что, например, не существовало общепонятного и практиковавшегося метода перехода из колонны в линию и обратно!

Поэтому неудивительно, что ученые расходятся во мнениях относительно битвы при Мурете и что ни одна полная реконструкция не представляется возможной.

Тем не менее, сопоставив все имеющиеся на сегодняшний день свидетельства, можно составить точную схему действий. Это я и попытаюсь сделать.

Крестоносцы вышли через Сальские ворота. Судя по свидетельствам, они прошли через замок, или флигель, и покинули укрепления через восточные ворота, через которые вошли в город. Затем они пошли по дороге между восточной стеной и рекой, все время маршируя с минимальным шумом, чтобы не привлекать внимания. Очевидно, что первая часть движения (т.е. проход через флигель) была притворным отступлением, намеренно показанным противнику, чтобы ввести его в заблуждение, а вторая (марш вдоль берега реки) - скрытым движением, чтобы добиться эффекта неожиданности. Колонна следовала тем же путем, которым пришла, пока не достигла моста через Гаронну. Затем, вместо того чтобы повернуть направо и перейти его, они пошли прямо, прошли под стенами замка и (все еще не замеченные противником) перешли по мосту Сен-Сернен в устье Лужа. Как только первый отряд переправился, он развернулся влево и обрушился на тех врагов (то есть часть тулузского ополчения, усиленного некоторыми каталонскими рыцарями под командованием графа Фуа), которые тем утром безуспешно атаковали Тулузские ворота. Вильгельм д'Энконтр и Вильгельм де Баррес нанесли им полное поражение и рассеяли их за несколько мгновений, "как пыль перед штормом".

Технические аспекты этой части действий, похоже, никогда не рассматривались историками. Поскольку они представляют определенный интерес сами по себе и, кроме того, проливают свет на вопиющую недисциплинированность южной армии, они заслуживают отдельного рассмотрения.

Известные элементы проблемы таковы: во-первых, неоспоримые факты, что неожиданность была полной и что успешное нападение совершили только около трехсот всадников; во-вторых, масса доказательств в пользу маршрута, только что описанного как маршрут вылазки.

Остается подсчитать временные затраты. Полное расстояние от Сальских ворот, мимо города, по мосту и по крутому подъему на равнину составляет почти 700 ярдов. Судя по многочисленным сохранившимся средневековым воротам, а также по сохранившимся кирпичным остаткам северной опоры моста, о котором идет речь, мы можем быть уверены, что они были построены в виде колонны из двух человек. Мы можем быть почти в равной степени уверены, что аллюр был прогулочным, поскольку (во-первых) было бы практически невозможно подниматься рысью по последнему крутому пандусу, (во-вторых) хотелось тишины, и (в-третьих) прохождение рысью через такое длинное узкое пространство подвергало бы кавалерию риску серьезного рыка в случае падения или плохого поведения одной лошади - *в этом случае вся операция была бы под угрозой*. Если предположить, что походка была прогулочной, то мы вправе сократить расстояние, занимаемое каждой лошадью, до трех ярдов, оставив между носом и крупом всего один фут. Таким образом, длина всей колонны должна была составлять не менее $450 \times 3 = 1\,350$ ярдов, что почти вдвое больше расстояния, которое предстояло преодолеть, а длина каждого эскадрона - 450 ярдов. Перед тем как расположиться за едой и питьем, мы можем быть уверены, что тулузцы и каталонцы должны были отступить по меньшей мере на 150 ярдов к северу от Тулузских ворот, чтобы столь крупная цель, которую они представляли, была вне зоны дальнего выстрела из лука. Поэтому голова крестоносной колонны оказалась бы в поле зрения практически сразу после того, как она преодолела бы пандус и вышла на равнину, а

историки, предполагающие, что развертывание могло быть осуществлено вне поля зрения тулузцев и каталонцев, просто никогда не прогуливались по полю боя. Если предположить, что скорость ходьбы составляет четыре мили в час, то есть 117 ярдов в минуту, то тылы первого крестоносного отряда оказались бы на равнине почти ровно через четыре минуты после того, как фургон появился в поле зрения противника перед Тулузскими воротами. Большая часть из 600 ярдов, отделяющих крестоносцев от врага, почти наверняка будет пройдена рысью со скоростью, скажем, восемь миль в час, а затем перейдет в галоп для последнего удара. Поэтому к первоначальным четырем минутам следует добавить две минуты, плюс время, необходимое для развертывания. В общей сложности с момента первого обнаружения крестоносцев командованием Фуа до нанесения крестоносного удара должно было пройти около десяти минут.

Поскольку люди Фуа значительно превосходили по численности первый крестоносный отряд, тот факт, что они не смогли (когда истекли семь минут отсрочки) оказать даже несколько мгновений эффективного сопротивления, показывает, что их дисциплина была плачевной. Мы знаем, что они совершили неосторожность, бросив есть и пить, что большинство каталонских рыцарей сняли доспехи и что не были приняты надлежащие меры безопасности. Тем не менее, кажется, что крестоносцы должны были хотя бы на несколько мгновений задержаться. Ни один из каталонских рыцарей Фуа не был убит!

Тем временем основная масса осаждающих садилась на коней, крича "Арагон", "Фуа" или "Комминс" в зависимости от своего подданства. Испанцы построились, но строй их был неровным. Отчасти это могло быть вызвано спешкой, хотя у них должно было быть более двадцати минут на то, чтобы выстроиться в линию, если учесть, что от объявления операции до развертывания второго крестоносного эскадрона должно пройти не менее десяти минут, и еще не менее десяти минут на то, чтобы второй эскадрон догнал первый и чтобы они вдвоем преодолели милю, отделявшую их от людей Педро. Отчасти это, конечно, было следствием глупости и недисциплинированности испанских рыцарей: каждый важный человек среди них (так рассказывает сын Педро король Хайме) хотел сам сражаться с врагом, что делало невозможным строгое выравнивание и совместные действия. Кроме того, как мы узнаем из других хроник, сам Педро не осуществлял эффективного командования, а поддался рыцарскому энтузиазму, обменявшись доспехами с одним из своих рыцарей и поставив себя в первые ряды - великодушная, но невоенная глупость, удивительная для воина его значительного опыта, поскольку она лишала его всякого контроля над силами в резерве. Арагонцы стояли лицом к югу на дороге Сейсес примерно в миле от Муре, слева их прикрывало болото Пески.

Разбив командование Фуа, первый крестоносный эскадрон должен был повернуть наполовину вправо, чтобы нанести удар по Педро. Второй же, имея более прямой курс, смог догнать его, и оба вместе понеслись на арагонцев, сметая на своем пути часть разбитых всадников Фоикса. Приказ графа Симона ни в коем случае не вступать в индивидуальные поединки, а атаковать сапогом к сапогу был выполнен настолько хорошо, что удар был одновременным по всей линии. Он был настолько сильным, что крестоносцы врезались в противостоящих им всадников "как камень, брошенный в воду". Люди Педро выстояли и сомкнулись вокруг них, скрывая их от третьей "битвы", а мелея раскачивалась взад и вперед с грохотом, "как бесчисленные топоры, валящие лес".

Де Монфор, намереваясь наступать слева от Педро, быстро продвигался на север и восток по болоту, пока не уперся в овраг Пески, который хронисты описывают как "фоссатум" (т.е. ров

или траншея). В крутых берегах этого препятствия была прорублена узкая тропинка, перекрытая с дальнего конца сильным арагонским боевым дозором или отрядом прикрытия. Такие отряды прикрытия были достаточно известны, как мы узнаем из "Сиете Партидас" Альфонсо Мудрого из Кастилии, написанной около 1260 года, в которой они называются *alas* или *citaras*. Если возразить, что Педро был не в том настроении, чтобы думать о таких деталях, как отправка этого отряда, то мы вполне можем представить себе какого-нибудь зажатого арагонского рыцаря, который знал достаточно, чтобы взяться за эту работу в одиночку со своими непосредственными последователями.

Переходить от колонны к колонне и пытаться пробить узкий путь перед лицом оппозиции было плохим делом, но у де Монфора не было выбора. Время шло, слева от него было болото, а справа простирался овраг. Во главе своих людей он пересек овраг и направил коня вскарабкаться на дальний берег. В этой невыгодной позиции, пытаясь защититься от ударов, на которые он пока не мог рассчитывать, он сломал кожу левого стремени - в третий раз за этот день та или иная часть его снаряжения сыграла с ним нечестно. С большой ловкостью он удержался на месте и, добравшись до вершины берега, отцепил ближайшего противника ударом кулака в челюсть - на испанце, должно быть, был не закрытый котелок, а стальной колпак с открытым лицом. Этот человек, по-видимому, был командиром отряда, так как, увидев его падение, его сторонники тут же рассыпались и обратились в бегство. Их бегство открыло перед графом Симоном левый фланг арагонской армии. Он переправил свои три сотни, развернул их и бросился в атаку.

Все это время первые два эскадрона крестоносцев вели тяжелый бой. Хотя их тесный строй и ярость наступления глубоко врезались в ряды врагов, последние все же не сломались, а сомкнулись вокруг них. Строгий порядок и выверенность исчезли, и бой шел по принципу "человек на человека". Рыцарь, взявший на себя роль Педро, не мог сравниться с его господином в доблести, а сам Педро забыл об осторожности и воскликнул: "Я - король". Тогда те, кто поклялся получить его жизнь, сомкнулись вокруг него и убили его, несмотря на его доблесть и умение владеть оружием.

Пал ли король до или после нападения де Монфора на , точно не известно - те, кто его убил, были из второго крестоносного отряда. В любом случае его падение и фланговое нападение решили исход битвы, и последовал всеобщий разгром. 500 рыцарей его дома, не поддержанные остальной безвольной массой всадников, пали почти все вокруг его тела. Южане жестоко поплатились за рыцарское безрассудство Педро, который ввязался в бой и тем самым отказался от попыток руководить операциями. Раймон и граф Комминж, похоже, вообще не участвовали в сражении. Мы слышим о них только как о беглецах с поля боя. Граф Симон, напротив, был столь же мудр в победе, сколь и яростен в атаке. Руководя или, скорее всего, разрешая преследование беглецов двумя первыми эскадронами, он держал под контролем третий эскадрон (свое непосредственное командование) и следовал за ним на расстоянии, чтобы вмешаться в случае переполоха. После непродолжительного преследования, как только он убедился, что бегущие вражеские всадники не в состоянии возобновить бой и направляются к Тулузе, он отозвал преследователей и во главе трех эскадронов вернулся к Мурету.

Тем временем тулузское коммунальное ополчение совершенно неправильно оценило результат кавалерийского боя. Лишь часть этих войск участвовала в неудачной атаке Фуа и последующем разгроме первого крестоносного отряда; из них только те, кто находился к северу от Лужа, действительно выдержали атаку крестоносцев и разгром. Те, кто находился между Лужем и Гаронной, просто отступили, причем достаточно поспешно, несомненно, для того, чтобы повторить бегство тех, кто находился к северу от ручья. Поэтому большая их часть

была совсем свежей. Сначала они забаррикадировались в своем лагере, опасаясь, что на них нападут. Но горожане в средневековых войнах были склонны страдать от опрометчивости; один из многих примеров - поведение лондонцев в Льюсе в 1264 году. Предполагается, что пыль могла скрыть бегство кавалерии от тулузцев, или же деревья закрывали им обзор. Зная, что де Монфор сильно уступает в численности, они поверили слуху о его поражении, выступили из своего лагеря и обложили город со всех сторон.

В Мурете о победе графа Симона уже знали от гонца. Епископ Фульк послал сообщить об этом своей непокорной пастве и предложил им пощаду, но они не поверили и ранили его парламентаря. Напуганные видом крестоносцев, возвращавшихся с победой и собиравшихся обрушиться на тыл их растянувшегося строя, они в панике разбежались и были истреблены повсюду. Одни направились в лагерь и были убиты там, другие побежали к лодкам, которые привезли осадные материалы и стояли на якоре в миле к северу от города.

Нескольким из них удалось спастись, но большинство было зарублено на высоком берегу людьми де Монфора.

В 1875 году разлив Гаронны подрезал и обрушил большую часть берега, обнажив огромную массу их костей напротив Саубенса и примерно в 700 ярдах вверх по течению от этой деревни. Другие скелеты разбросаны к северу от этого места; и по сей день их иногда поднимают лопатой и плугом.

Таковы подлинные элементы битвы при Мурете.

Общие потери побежденных были огромны, в то время как победители потеряли только одного рыцаря и, самое большее, восемь "сержантов" - полностью вооруженный человек, способный защитить себя, уже в 1213 году был так полностью защищен своими цепными доспехами. Пехота обычно составляла большую часть потерь в средневековых сражениях, и, конечно, сбитые и раненые рыцари проигравшей стороны могли быть уничтожены по желанию победителей, что они и сделали в данном случае.

С другой стороны, де Монфор проливал слезы над мертвым телом Педро - "как второй Давид над вторым Саулом". Король никогда не был отлучен от церкви, поэтому его тело было разрешено похоронить в освященной земле от рук госпитальеров, которые попросили на это разрешения.

Муре исчез Арагон как фактор в политике Лангедокии. Раймонд вместе со своим сыном, впоследствии графом Раймондом VII, бежал из страны и направился ко двору Англии. По всей видимости, одним из последних его действий была поимка его брата-бастарда Болдуина, который перешел на сторону де Монфора, а теперь был застигнут врасплох и взят в плен. Раймонд незамедлительно приказал его повесить. Ходила даже версия, что петлю завязал сам граф Фуа. Несколькими месяцами ранее король Иоанн поклонился папе римскому, а теперь вместе с Оттоном готовился принять военное решение против Филиппа Августа, чьих вассалов он развращал силой и властью. Он принял Раймонда любезно, подарил ему 10 000 марок, но не мог оказать никакой другой помощи, пока не сведет счеты с королем Франции. Раймонд присягнул ему на верность и, судя по всему, пробыл в Англии несколько месяцев. Тем временем де Монфор с триумфом переправился через Рону и овладел большей частью "маркизата Прованс" Раймона к востоку от этой реки. Чтобы не потерять руку, он ввязался в небольшую войну в графстве Фуа. После смерти Педро не осталось никого, кто мог бы выступить против крестового похода.

Однако успех де Монфора был ограничен тремя факторами. Первое - военное: его силы были настолько малы, что он не мог и подумать о том, чтобы что-то предпринять против самой Тулузы. Горожане чувствовали себя в такой безопасности, что вначале предложили епископу Фульку всего шестьдесят человек в качестве заложников вместо двухсот, которых он требовал, а когда он принял предложение о шестидесяти, отказались предоставить вообще кого-либо. Де Монфор предпринял военную демонстрацию до самых стен, но когда ворота были закрыты против него, он даже не стал атаковать. Второе ограничение было политическим: папа ни в коем случае не хотел устанавливать в Лангедоке новую светскую власть и теперь был полон решимости установить мир в этой несчастной стране. Третья причина также была политической: города, которые оказывали ему определенный прием как блюстителю общественного порядка, теперь, когда порядок был восстановлен, были возмущены постоянным присутствием "французов", которых они искренне не любили.

Назначение кардинала Петра Беневентского легатом было единственной уступкой, сделанной Педро в суровом письме Иннокентия от июня предыдущего года, которое подтолкнуло несчастного короля к войне. По прибытии нового легата стало иронически очевидно, что если бы вспыльчивый араговец не спешил, он мог бы выиграть игру в мире и безопасности. Ведь кардинал Петр, в отличие от всех своих предшественников, начал с того, что стал следовать политике Папы, а не партии насилия. Он провел аудиенцию в Нарбонне, на которой графам Фуа и Комминга, а также множеству мелких дворян, лишенных собственности, было позволено оскорблять де Монфора. Иннокентий дал кардиналу-легату свои распоряжения в трех буллах, датированных 20, 22 и 25 января 1214 года. Первая отклоняла притязания де Монфора на виконтство Нисмес до проведения расследования. Вторая разрешала графу Комминжскому и виконту Гастону Беарнскому, как бы они ни были виновны, примириться с церковью при условии их должного и полного подчинения. Третий предписывал, что город Тулуза также должен быть примирен, после полного подчинения, а затем снова переходить под папскую защиту. Право де Монфора на управление завоеванными землями было признано, но только в качестве "временного администратора" до решения Вселенского собора, который должен был собраться в Латеране в 1215 году. Более того, 22 января Иннокентий написал графу Симону письмо, в котором велел ему повиноваться легату и особенно выдать юного короля Арагона, которого предводитель крестоносцев получил в качестве своего подопечного на Нарбоннском соборе три года назад. Если де Монфор под каким-то предлогом откажется, то, писал Иннокентий в своем обычном высоком тоне, легат должен был выполнить устный приказ, который был ему отдан, - угроза, еще более грозная из-за своей неопределенности! Примерно в тех же выражениях духовенство Лангедока было заверено, что Святой Престол намерен не проявлять жалости к тем, кто откажется повиноваться новому легату. Папа твердо решил положить этому конец, и кардинал Петр полностью проникся духом отданных ему приказов.

Все виновные безоговорочно капитулировали. Раймонд в апреле подписал акт о покорности, передал легату все свои владения и даже дал обещание сослать себя в любое место, которое укажет Папа. Вернувшись из Англии, он и его сын некоторое время жили в Тулузе со своими женами как частные лица. Теперь мир казался обеспеченным.

Таким образом, неукротимый де Монфор получил еще одну тетиву для своего лука. Как раньше он использовал духовенство Лангедокии против папы, так теперь он использовал папского нунция при дворе Франции. Этот человек, по имени Робер де Куркон, активно проповедовал Альбигойский крестовый поход. Пока Петр Беневентский временно отсутствовал, сопровождая сына Педро в Арагон и организуя там регентство, де Куркон мог с полным правом претендовать на роль главного представителя папы во Франции. С обычной

независимостью средневековых агентов, находящихся на расстоянии от своего хозяина, нунций в Париже пошел наперекор желаниям этого хозяина. В июне он провел конференцию с де Монфором в лагере последнего, а в июле торжественной грамотой утвердил предводителя крестового похода во владении всеми землями в Альбижуа, Ажене, Руэрге и Кверси, уже отвоеванными или подлежащими отвоеванию у еретиков и их приверженцев!

Крестоносцы, которых де Куркон уговорил выступить в поход, начали свои действия на юге с захвата замка Маурильяк в Оверни. Здесь мы впервые слышим о сожжении вальденсов, то есть еретиков, не являющихся явными врагами общества. После падения местечка семеро из них отказались отречься перед де Курконом и были сожжены... "с огромным ликованием воинов Христовых". Это событие имеет большое значение, и мы еще вернемся к нему.

Полученные таким образом подкрепления позволили де Монфору с триумфом промаршировать по Ажене, Руэргу, Кверси и даже Перигору. Его престиж был настолько велик, что в июле он женил своего сына Амори на наследнице Дофине. Тем временем Филипп Август разбил Оттона и Иоанна Английского на решающем поле при Бувине так основательно, что ни один из них в дальнейшем не принимал участия в делах континентальной Европы. Неудивительно, что де Куркон, папский нунций в Париже, воспрянул духом. Впервые французская монархия могла свободно заняться альбигойскими делами. 7 декабря из Реймса прибыл курьер с письмом от де Куркона, созывавшего совет дворян и высшей церковной знати Лангедока, который должен был собраться в Монпелье 8 января. Партия де Монфора решила возобновить приговор о низложении Раймонда, вынесенный Лаворским собором, на этот раз более внушительным органом. Кардинал Петр Беневентский, вернувшись из Испании, вынужден был довольствоваться председательством в этом собрании, которое было намерено пойти против всего духа его действий.

Собор в Монпелье выявил резкий раскол мнений в Лангедоке. Монпелье был самым католическим из южных городов. Как мы видели в предыдущей главе, его владыка первым в регионе принял официальные меры против ереси. Ортодоксальность этого места никогда не подвергалась сомнению. Тем не менее, народные чувства здесь были настолько ожесточенными, что де Монфор не мог даже войти в стены, чтобы присутствовать на заседаниях Совета, опасаясь толпы. Он был вынужден оставаться в Доме тамплиеров, за стенами, и там советоваться с теми, кто приходил к нему. Однажды он все-таки въехал в город с двумя сыновьями и эскортом из нескольких рыцарей в ответ на особое приглашение кардинала Петра. Тогда горожане сразу же зашевелились, спокойно вооружились и выставили людей у ворот, через которые он въехал, и на улице, по которой он должен был проехать. Некоторые даже вошли в церковь Святой Марии, в которой заседал Совет. Граф Симон, чей злейший враг никогда не называл его трусом, был очень рад, что его тайно увезли через задние улицы.

С другой стороны, сам Собор был в целом монфортистским. Приняв множество законов о реформе духовенства, местных злоупотреблениях при взимании пошлин, репрессиях против еретиков и тех, кто им потворствует, и т. д., он единогласно постановил низложить Раймона и поставить вместо него де Монфора. Кардинал Петр, однако, сославшись на то, что его инструкции не дают ему на это полномочий, отказался подчиниться совету и передать часть земель Раймона, особенно Тулузу и Монтобан, которые отошли к нему как представителю Иннокентия, а не к де Монфору. Решение, по его словам, было специально отложено для предстоящего Латеранского собора. Тогда собрание Монпелье немедленно отправило архиепископа Эмбрунского в Рим, чтобы тот попросил папу признать де Монфора владыкой и даже королем ("dominum et monarchum") над землями еретиков!

Замок Фуа и цитадель Тулузы, известная как "замок Нарбонез", получили папские гарнизоны, последний - под командованием епископа Фулька. Лишенные собственности рыцари, известные как "фейдиты", получили привилегию свободно передвигаться по стране при условии, что они будут идти без оружия, с одной шпорой (!), на полукровках, но не на боевых конях, и избегать укрепленных мест. Рим не проявлял никаких признаков ослабления своей хватки, но явно начинал проявлять милосердие и, прежде всего, отказывался поддерживать де Монфора в самых амбициозных его замыслах.

При таком положении дел ситуация получила новый поворот. В апреле 1215 года принц Людовик, наследник Франции, впоследствии Людовик VIII, отправился в Лангедок. Если де Монфор всерьез намеревался сделать себя королем, он должен был опасаться деятельности французской монархии. В небольшой переписке между ними Париж ясно дал понять, что граф Симон - несомненный вассал и агент Капетингов. Но более вероятным представляется, что Симон предпочитал управлять своими безвольными южными подданными с помощью французской короны, а не вопреки ей. Как бы то ни было, он отправился во Вьенну, чтобы встретить Людовика, который мобилизовал свои силы на сборе 1209 года в Лионе, и приветствовал принца с видимой радостью. С кардиналом Петром все было совсем иначе. Как представителю Рима ему нечего было надеяться на Людовика, поскольку всякая оппозиция прекратилась, и нечего было опасаться, поскольку принц мог последовать политике своего отца Филиппа, решительно отстаивавшего независимость светской власти в своей собственной сфере, захватив такие города, как Тулуза и Фуа, которыми управляли папские войска, и распоряжаясь ими от имени французской короны.

Однако вскоре выяснилось, что Людовик отнюдь не обладал силой характера и проницательным умом своего отца. Молодой принц обладал приятными манерами и личной храбростью, но был мягкого характера, не отличался физической силой и никак не подходил для того, чтобы поджечь реку. Он совершил променад по Лангедоку между де Монфором и кардиналом Петром, посетив за сорок дней Сен-Жиль, Монпелье, Безье, Нарбонну, Каркассон, Фанжо и Тулузу, а затем отправился домой, не обменявшись ни с кем ни ударом, ни громким словом.

Но когда он в присутствии пэров Франции, многие из которых были родственниками Раймона, доложил отцу о высокой руке де Монфора на юге, Филипп Август прервал совет и удалился в свои личные апартаменты со словами: "Я надеюсь, что граф де Монфор и его брат Ги скоро умрут за своим делом, потому что их ссора несправедлива".

Мирное паломничество принца Людовика принесло два важных результата: разрушение стен Тулузы и Нарбонны и назначение де Монфора "похвальным" сеньором Тулузы и Фуа. Именно престиж сопровождения наследника Франции позволил графу Симону разрушить оборону двух сильнейших городов Лангедока. В случае с Нарбонной нам неизвестны причины приказа, хотя разумно предположить, что общественное мнение в этом месте, как и в других соседних городах, было настолько озлоблено против "французов", что казалось разумным сделать его беззащитным. Арнаут Амальрик, ныне архиепископ Нарбонны и претендент (в соперничестве с де Монфором) на герцогство, протестовал, но безрезультатно. Нарбонцы, как и тулузцы, были вынуждены снести свои собственные стены или (что более вероятно) проделать в них бреши, поскольку основательный снос был практически невозможен в то время, когда не было никаких средств разрушения, кроме огня и человеческих мускулов.

Кроме того, поддержка де Монфора принцем Людовиком во многом способствовала тому, что де Монфор получил временную власть над Тулузой и Фуа, поскольку усилила влияние лидера крестоносцев на кардинала Петра и тем самым помогла привлечь нового легата к партии насилия. Другим влиянием, работавшим на ту же цель, был значительный успех архиепископа Эмбрунского, который был послан в Рим Советом Монпелье. Он вернулся с папской буллой, наполненной похвалами в адрес графа Симона, выражающей надежду, что тот не устанет творить добро, и разрешающей ему временно владеть землями, секвестрованными кардиналом Петром. Поскольку средневековый "коммендант" пользовался доходами от земель, которыми управлял, худшая из трудностей де Монфора - нехватка денег - была на время преодолена. Хотя он и не мог окончательно завладеть всем, к чему стремился, все же его перспективы были самыми лучшими.

В течение года граф Симон пережил лишь одно испытание, когда 2 июля Иннокентий принял решение против него и в пользу Арнаута Амальрика в пользу герцогства Нарбоннского и объявил о своем решении в письме, полном суровых упреков. Но что это было по сравнению со столькими успехами?

11 ноября состоялось заседание Латеранского собора. Это было внушительное собрание, включавшее семьдесят одного патриарха и митрополита, четыреста аббатов и епископов, а также огромное количество делегатов с доверенностями от епископов, которые не смогли приехать. Присутствовал Иерусалимский патриарх, а также Константинопольский патриарх, поскольку Греческая православная церковь (впервые и в последний раз с IX века) находилась в полном общении с Римом, вследствие оккупации Константинополя недолговечной "Латинской империей", которую насадил там незаконный четвертый крестовый поход. В соответствии с известными законами, управляющими человеческими собраниями, этот августейший орган из-за своего огромного размера был неспособен к эффективному обсуждению и находился во власти манипуляций своих лидеров. В общем, его функция заключалась не столько в принятии решений, сколько в регистрации решений, принятых до его созыва. На трех своих заседаниях, 11, 20 и 30 ноября, Собор принял все представленные ему декреты, не менее семидесяти, которые были решены, как мы должны сказать, в комитете. Действительно, во всех вопросах, кроме альбигийского, папа Иннокентий, похоже, полностью контролировал ситуацию.

По трем основным вопросам - вера, церковное устройство и дисциплина - Собор утвердил транссубстанцию, определил порядок старшинства патриархов в порядке Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим, потребовал причастной исповеди раз в год и последовал обычной средневековой практике бесконечного принятия законов против нарушений духовенства. Орденосцам запрещалось работать хирургами, поскольку операции требуют пролития крови. Судебный процесс был запрещен. Суд через испытание был фактически отменен, запретив любые религиозные церемонии в связи с такими испытаниями, тем самым лишив их всякого основания для существования, так как вся их моральная сила зависела от религиозной санкции. Были приняты указы против "недержания, пьянства, охоты, посещения фарсов и сценических представлений" со стороны духовенства. Другие декреты упорядочивали процедуру и наказания против еретиков и их покровителей, как мы увидим более подробно в следующей главе. В политической сфере Собор подтвердил избрание Фредерика II, сына Генриха VI, императором Священной Римской империи и попытался решить будущее Лангедока.

На заседании присутствовали все главные действующие лица альбигойской драмы, кроме де Монфора, которого представлял его брат Ги. Арнаут Амальрик, архиепископ и герцог Нарбонны, Фульк и Ги, епископы, соответственно, Тулузы и Каркассона, и Феодосий, епископ Агды, представляли духовенство Лангедока. Против них с мирской стороны выступали два Раймона, граф Комминж, граф Раймон Роже из Фуа, самый смелый и энергичный из них, и мелкий дворянин Бермонд из Андуза, зять Раймона, который претендовал на права на тулузское наследство.

До нас дошли сведения о двух слушаниях по этому спорному вопросу. Местом первого из них был двор Латеранского дворца, предположительно выполненный в классическом стиле или с тонкими круглыми колоннами, изящными круглыми арками и разноцветной каменной инкрустацией школы Космати. Председательствовал Иннокентий, а вместе с ним и вся курия. Раймон Роже из Фуа, центр всеобщего внимания с его красивой фигурой и румяным лицом, выступил первым. Он отрицал свою вину и вину Раймона Тулузского. По его словам, они лишь защищались от разбойников, пришедших ограбить их под предлогом крестового похода. Младший Раймонд, утверждал он, никогда не был обвинен ни в каком преступлении. Он сам, по настоятельной просьбе Иннокентия, передал замок Фуа с его мощными крепостными стенами кардиналу Петру. Если это место, которым теперь владеет де Монфор, не будет возвращено, то торжественным договорам нельзя будет верить. Фульк Тулузский ответил яростно, напомним о преступлениях Раймона Рожера, о его гонениях на Церковь и защите ереси, о крестоносцах, которых он калечил и истреблял. Раймон Рожер ответил еще более яростно. Тулузский рыцарь вскочил на ноги и закричал, что если бы они знали, что из-за искалеченных крестоносцев будет поднята такая шумиха, то еще большее число крестоносцев лишилось бы глаз и носов; на что слушатели застонали и зароптали, как и положено шокированным зрителям. Затем граф Фуа напал на епископа Фулька. Не довольствуясь лживыми песнями и горькими сатирами, которые он сочинял как трубадур, епископ Тулузы, по его словам, стал причиной более пяти тысяч смертей, включая детей, ведя себя скорее как Антихрист, чем как римский легат. Иннокентий мягко ответил, что Раймон Роже хорошо изложил свою собственную позицию, но "немного" преуменьшил аргументы Церкви против него. Наконец, представитель выступил от имени наследника Безье и Каркассона, сына того самого Тренкавеля, который умер в тюрьме в 1209 году, заявив, что, поскольку отец был убит де Монфором и крестоносцами, папа, чтобы "спасти свою честь", должен вернуть виконтство сыну. "Справедливость восторжествует", - ответил Иннокентий и удалился в свои личные апартаменты.

Теперь место действия переместилось в сад Иннокентия, несомненно, какой-то формальный сад с подстриженными растениями, ведь итальянский вкус мало меняется. Папа знал, что большинство членов Собора настроены против него в отношении Лангедока. Насилие Раймона Роже, конечно, не было рассчитано на то, чтобы привлечь колеблющихся церковников, если таковые еще оставались. Но Иннокентию это насилие представлялось плодом великих злодеяний, совершенных во имя Церкви, которой он правил, Церкви, которую он страстно желал видеть вершительницей прав и вершительницей справедливости. Его чувство личной чести также было острым, как ни у кого в ту рыцарскую эпоху. Поэтому он был встревожен и стремился отвести от себя беду среди растущих вещей. Его преследовали епископы Лангедокии и другие, придерживающиеся их мнения. Если Симон получит землю, они будут спасены, говорили они. Если Раймонд вернется к власти, они и церковь в Лангедоке будут погублены. Сначала Иннокентий сопротивлялся, напоминая им о несправедливости отъема земель у такого католического дворянина, как Раймон, и говоря, что если де Монфор может оставить себе земли, отнятые у еретиков, то, по крайней мере, права вдов и сирот должны быть сохранены. Но они возмущенно наседали на него,

сначала Фульк, потом Феодосий, потом архиепископ Ауха, настаивая, что такое соглашение ничего не даст де Монфору, поскольку папа держит все три графства за католиков; тогда как де Монфор заслуживает многого. Они сами проповедовали против Раймона как нечестивого и отвратительного, и восстановить его означало бы полностью отречься от него. Все должно быть отдано на откуп де Монфору. Они осмеливались говорить, что невозможно отнять у него то, чем он владеет, ибо они будут рядом, чтобы защитить его. И все же Иннокентий держался. Он упрекал их в жестокости, в отказе идти на компромисс, в диких проповедях, в которых они настолько превышали его волю. Немногие поддержали его, среди них аббат Болье, который присутствовал в качестве посла от Иоанна Английского, и (что удивительно) Арнаут Амальрик. Этот свирепый старик не раз навязывал папе руку в интересах де Монфора. Теперь же, полный ссоры со своим бывшим другом, он велел Иннокентию не слушать ничьих советов, а идти своим путем. Тем не менее, голосов в поддержку мнения папы было так мало, что в конце концов Иннокентий согласился на то, чтобы Раймонд был низложен, а Симон стал графом Тулузы. Собор проголосовал за это в декрете и отправился домой, приняв закон во имя единой христианской Европы, на вершине церковной власти.

Потерпев поражение в главном вопросе - низложении Раймона, Иннокентий, тем не менее, продолжал делать все возможное, чтобы ограничить триумф де Монфора. Поговаривали, что он сказал Раймону, что скоро для него что-то будет сделано. Младший Раймон, пылкий и привлекательный восемнадцатилетний юноша, некоторое время после закрытия Собора находился в Риме в качестве гостя Папы. Даже условия немедленного урегулирования, которые были опубликованы в папском декрете 15 декабря, отнюдь не были полным одобрением амбиций де Монфора. Предполагалось, что Раймон был признан виновным в ереси и разорении Церкви. Вся часть Тулузского фьефа, принадлежавшая крестоносцам, была передана де Монфору с титулом графа Тулузского. При этом, в соответствии с обычной папской политикой оговорок, было оговорено, что новое поселение не должно ущемлять права ни одного католика, что вполне могло бы стать основанием, если бы Иннокентий был жив, для возвращения Раймона.

Кроме этой общей оговорки, было еще четыре менее значительных. Де Монфор должен был сохранять свои достоинства при условии принесения клятвы верности своему повелителю, королю Франции. Таким образом, если вождь крестоносцев всерьез надеялся сделать себя независимым государем, его лишали этой надежды. Жена Раймонда должна была сохранить земли из своего приданого. Сам Раймонд, хотя и был приговорен к изгнанию, должен был получать аннуитет в размере 400 марок в год, выплачиваемый из доходов его бывших владений. Самое важное, что младший Раймонд был подтвержден во владении той частью Тулузского фьефа, которая не была в руках крестоносцев, то есть Нисмом, Бокайром и "маркизатом Прованс" к востоку от Роны. Наконец, папское письмо от 21 декабря поставило под сомнение законность мер, принятых де Монфором против Раймона Роже из Фуа, предписывая епископу Нисма и архидиакону Конфлана захватить замок Фуа и провести дознание, чтобы решить, следует ли вернуть это место его первоначальному владельцу, что впоследствии и было сделано.

Письмо Иннокентия, вновь открывшее дело о Фуа, стало последним записанным актом великого папы в Лангедоке. Шесть месяцев спустя, слишком рано для него, чтобы услышать об антифранцузской реакции там, он лежал мертвым в Перудже, в полном расцвете сил среднего возраста, ведь ему еще не было пятидесяти семи. Он жил только ради своей страсти сделать папство и (через папство) Церковь верховной; он поднял Престол Петра на такую высоту непререкаемой власти, которой он никогда не достигал прежде и никогда не достигал с тех пор.

Вскоре после отъезда молодого Раймонда из Рима оба Раймонда вновь появились в непокоренной части своих уменьшившихся владений. Там они обнаружили, что народ, особенно горожане, так горячо настроен против "французов", что казалось возможным продолжать борьбу. Бокер, Авиньон, Тараскон выступили в поддержку своих бывших господ, а Марсель проявил симпатию к его делу. Старший Раймонд отправился в Испанию в надежде набрать там подкрепление. В Бокере замок удерживал гарнизон де Монфора, поставленный туда, несомненно, во время его операции к востоку от Роны после Мюре. Теперь горожане поднялись и осадили этот гарнизон, и де Монфор, соответственно, двинулся его освобождать.

По дороге в Бокэр граф Симон появился в Нарбонне, и там разгорелась ссора между ним и его старым союзником Арнаутом Амальриком. Стены, которые было приказано разрушить в предыдущем году, видимо, были подлатаны, так как Арнаут приказал закрыть ворота против де Монфора. Время, повторяю, не контролировало никаких средств разрушения, кроме огня и человеческих мускулов. Тем не менее, новая защита оказалась слабой, так как крестоносцы быстро ворвались внутрь и, войдя, пригрозили самому Арнауту Амальрику насилием за то, что он им противостоял. Старец отлучил де Монфора от церкви, дважды опубликовав приговор, и запретил посещать все церкви города до тех пор, пока отлученный от церкви предводитель крестового похода будет оставаться в этом месте. После этого христианские воины забросали дворец архиепископа камнями, а защитник католицизма шутил по поводу наложенной на него анафемы и даже явился на мессу, как обычно!

После обмена любезностями в Нарбонне де Монфор двинулся на Бокер, жители которого выступили за Раймона, и осадил это место. Ситуация осложнялась тем, что горожане в то же время осаждали гарнизон "крестоносцев" в замке на обрыве над Роной. Неоднократные штурмы де Монфора не увенчались успехом из-за отсутствия достаточного количества катапульт и другой осадной техники. Тем временем в замке катапульты людей Босера сильно повредили деревянную отделку крыш и кладов (деревянные галереи, выступающие наружу от вершин стен и башен, чтобы командовать их основанием). Тем не менее, гарнизон замка стойко держался, поймав таран веревкой, которая не позволяла тяжелому тарану отклониться назад, чтобы получить импульс для удара, и удерживая саперов от основания стен, спуская горящие связки буксира и серы на цепях с крепостных стен. Вскоре пришло известие, что Тулуза собирается объявить о переходе на сторону Раймона. Тогда де Монфор в ярости поднял осаду Босера, бросив осадные машины и многое из своего снаряжения, спеша навстречу новой опасности.

В ярости он сосредоточил все силы, которые мог перебросить из страны Разес в верховьях Ауде, в районе Каркассона, в районе Лаурагуа между Тулузой и Каркассоном и в самом районе Тулузы. Затем, сосредоточившись, он стремительно появился перед городом, скорее как враг, чем как законный повелитель, возвращающийся к своим. Тулуза, как и большинство крупных городов XIII века, была "вольным городом", практически независимой маленькой республикой, чьи выборные магистраты привыкли заседать в конференциях со своим номинальным феодалом и следовать его примеру собственного согласия, а не по его приказу. Соответственно, они попросили де Монфора войти мирно, без оружия и верхом на палфри. Он яростно отвечал, что послание за посланием доносят ему об их заговорах и изменах против него, и что он не снимет ни почтового хауберка, ни шлема из павийской стали, пока не возьмет заложников из числа цветов города.

После более высоких слов магистрат склонился к уступке и приготовился посоветоваться с де Монфором за стенами, но от того, чтобы отдать себя в его власть, его удержало общественное мнение, которое стало набирать силу. Примерно в это время несколько

оруженосцев, молодых джентльменов и пажей из армии де Монфора вошли в город и начали врываться в него и грабить. Этого оказалось слишком много. Начался типичный средневековый бунт. Мужчины всех возрастов и сословий, и даже женщины, хватали все, что попадалось под руку и могло послужить оружием. Перед каждым домом выросли баррикады из мебели, кольев и бочек, а на балконах появились груды камней и балок, готовые обрушиться на головы "французов". К крикам "Монфор" с одной стороны присоединились крики: "Тулуза! Бокэр! Авиньон!" с другой, и дело приняло такой жаркий оборот, что люди де Монфора, вынужденные отступить под дождем снарядов из домов, с трудом пробивались через баррикады, воздвигнутые, чтобы отрезать их. Видя, что удержать город не удастся, граф Симон приказал поджечь его в нескольких местах. Французы были рассеяны, а энергия тулузцев подвергала их опасности быть раздавленными, поэтому им пришлось сосредоточиться и пробивать себе путь в глубине колонн. К ночи в руках де Монфора оставалась только цитадель, замок Нарбонез. Сам он был "полон ярости и тревоги" из-за тяжелых потерь, которые понесли его войска.

Однако на следующий день епископ Фульк убедил тулузцев покориться и дать не только заложников, но и огромный выкуп в 30 000 марок. Де Монфор принял заложников и выкуп, а затем снова разграбил город, "разрушил" его укрепления (после того как официально снес их в предыдущем году), засыпал рвы и разоружил жителей. Непростой мир продлился до конца года.

Новый папа, Гонорий III, отличался мягким характером, так что даже если бы он захотел, то вряд ли смог бы бороться с крайней партией в Лангедоке. Вместо этого новый легат, которого он туда послал, - кардинал Бертран из Сан-Джованни-э-Паоло - оказался более жестоким, чем любой из его непосредственных предшественников.

Теперь, когда партии насилия нечего было бояться со стороны Рима, крестовый поход снова стал проповедоваться, так что весной в Лангедоке появились новые крестоносцы, а с ними и небольшой королевский отряд, присланный Филиппом Августом. С этими подкреплениями де Монфор действовал к востоку от Роны, когда во второй раз пришло известие, что Тулуза объявила против него войну. На этот раз дело было не в подозрениях и тайных заговорах. Горожане радостно приветствовали возвращение двух Раймонов и расправились со всеми французами, которым не удалось укрыться в замке Нарбонез. Графы Фуа и Комминж и многие дворяне вновь объединились для борьбы с "французами". Жена де Монфора, графиня Алиса, и один из его сыновей находились в замке Нарбонез, который устоял, хотя тулузцы и подвергались серьезной угрозе. Были посланы гонцы, чтобы сообщить графу Симону, что он должен поспешить с освобождением гарнизона. Он так и сделал, и в сентябре началась третья осада столицы Лангедока.

Следы стен Тулузы в 1217-1218 годах известны на большей части их протяженности. На юге они выходили из реки на углу нынешней улицы Ренфорт и тянулись по довольно ровной кривой, пока не упирались в линию нынешних внутренних бульваров чуть восточнее Сент-Этьена. Затем они шли по бульвару Лазаря Карно и улице Дютемп, разделяли Капитолий и его территорию и встречались с рекой в районе площади Сен-Пьер - окружность около мили и трех четвертей.

Дошедшие до нас фрагменты фундамента сложены из небольших квадратных камней, изредка скрепленных кирпичом, в манере поздней империи и темных веков. По всей длине

стена обрамлена круглыми башнями с интервалом около семидесяти ярдов, как это было принято у римлян.

Крепость, известная как замок Нарбонез, стояла недалеко от пересечения нынешней улицы Сен-Мишель с улицей Ренфорс. Она была прямоугольной в плане, не очень большой, с башней на каждом углу. Вместо того, чтобы быть частью городских стен, она стояла за ними, и тем более легко возвышалась над ними благодаря своей значительной высоте. Порт Сен-Мишель, через который проходила дорога в Нарбонну, пронзал городскую стену как раз напротив северо-западного угла замка, так что замок полностью доминировал над ней.

Внутри него снова пылал горячий местный патриотизм средневековой коммуны. Все ожесточенно работали, копали рвы, устанавливали частоколы и деревянные башни, чтобы заполнить бреши в стенах, образовавшиеся в результате недавних "сносов". Даже ночью работа продолжалась при свете факелов.

Первым отрядом крестоносцев прибыл Ги де Монфор, брат графа Симона. Разделавшись и отрубив часть древков своих копий, чтобы сделать их более удобными для уличного боя, "французские" воины атаковали город. Вход был взят с боем, но, как и в предыдущем году, нападавшие не смогли удержаться на улицах города, постоянно сталкиваясь с новыми баррикадами и попадая под град снарядов из домов. В итоге Ги и его люди укрылись в замке.

Тулузцы сражались так жестоко, что когда появился сам граф Симон и предложил новый общий штурм, Ги и те, кто видел новый дух горожан, в конце концов убедили его не делать этого. Предводитель крестоносцев, со всем презрением рыцаря Средневековья к горожанам, взявшимся за оружие, сначала не стал готовиться к регулярной осаде, а просто завершил сосредоточение и террасировал стены замка Нарбонез, установив катапульты для обстрела укреплений, которые тулузцы возвели для противостояния им. Но, несмотря на такую мощную "артиллерийскую поддержку", атака, которую он предпринял, была отбита с потерями, а Ги был ранен. Очевидно, что требовалась регулярная осада, и граф Симон созвал военный совет и в мрачном гневе прислушался к советам своих баронов и духовенства о том, как можно было бы провести такую операцию.

На протяжении всего истинного Средневековья было чрезвычайно трудно - фактически, почти невозможно - сдерживать, то есть удерживать непрерывные линии по всему периметру, один из первоклассных городов того времени. Внезапное, спонтанное расширение христианства, особенно отразившееся в размерах этих городов, не сопровождалось адекватным ростом государственной власти, отсутствием системы банковского дела и плавающего кредита. Поэтому было практически невозможно собрать и содержать армию достаточного размера для такого предприятия. Очень немногие средневековые полководцы рискнули бы атаковать, не говоря уже о регулярной осаде, первоклассный город. В данном случае окружность оборонительных сооружений, которые необходимо было атаковать, составляла более 1600 ярдов только на правом или восточном берегу, плюс плацдарм на левом или западном берегу. На военном совете епископ Фульк отметил, что было бы бесполезно блокировать сам город, если бы не был блокирован и плацдарм. Соответственно, была решена двойная задача.

Сдержав плацдарм, де Монфорт поставил перед собой главную задачу - максимально затруднить сообщение собственно города на правом берегу с открытой местностью. Даже если ему не удастся осуществить блокаду, он сможет досадить горожанам настолько, что они сдадутся.

На протяжении всей осады обе стороны продолжали получать подкрепления. Граф Фуа, а также некоторые арагонцы и каталонцы присоединились к осажденным, что позволило вести активную оборону с постоянными вылазками. Подкрепления де Монфора, похоже, прибывали медленнее и состояли в основном из наемных войск. Сначала сам де Монфор занял позицию на левом берегу напротив плацдарма, чтобы затруднить сообщение между городом и дружественной страной на юго-западе. Вскоре после прибытия Фуа и испанцев он был вынужден вернуться на правый берег, предприняв энергичную вылазку против замка Нарбонез и укрепившегося лагеря крестоносцев, который рос вокруг него к югу от города. Всю позднюю осень к югу от города, в пространстве между стенами и укреплениями лагеря, шли непрерывные ожесточенные перестрелки. Зимой крестоносцы предприняли внезапную атаку на рассвете и ворвались в город, но были отбиты, так ничего и не добившись. С наступлением весны обе стороны получили подкрепление. Де Монфор был вынужден отвести свой укрепленный лагерь на некоторое расстояние от города, оставив многие из построенных им укрытий. После этого осажденные начали атаковать замок Нарбонез, но высокий паводок на Гаронне не только затруднил их действия, но и затруднил сообщение с плацдармом, так что граф Симон смог, путем долгих и упорных боев, полностью завоевать плацдарм. Далее, благодаря постоянно прибывающим подкреплениям, он смог расширить свои укрепленные позиции от замка Нарбонез (стоявшего на берегу реки над городом) до точки напротив большой церкви Сен-Сернен. Но он не мог закрыть пространство между Сен-Серненом и берегом реки ниже города или предотвратить движение лодок по нижней части реки. Кроме того, хотя моральный дух осажденных был высок как никогда, а их оборона постоянно укреплялась, в лагере де Монфора напряжение начало сказываться. Легат доводил его до безумия своими неспособностями добиться решения. Денег на оплату многочисленных наемников не хватало. Напрасно папа Гонорий попеременно угрожал и умолял королей Франции и Арагона, графа Фуа, младшего Раймонда, жителей Тулузы, Авиньона, Марселя и всех остальных, кто попадался ему на глаза. Очевидно, что нужно либо довести дело до конца, либо поднять осаду.

Де Монфор был не из тех, кто признает себя побежденным. Он решил предпринять решительный штурм с помощью большой "кошки" - передвижной деревянной галереи с крутой крышей, покрытой сырыми шкурами для защиты от огня. Под таким прикрытием к обороне можно было подойти и ослабить ее. При первой попытке "кошка" была повреждена камнями из катапульт. Укрепившись, она двинулась вперед во второй раз, "двигаясь отрывистыми маленькими шагами", как сообщает очевидец. Не дожидаясь, пока она достигнет их линий, осажденные начали общую вылазку. Сам де Монфор был на мессе, когда ему принесли эту новость. "Я не уйду, - сказал он, - пока не увижу своего Спасителя". Только после вознесения воинства он принял командование. Затем он сосредоточил своих людей и оттеснил тулузцев к их стенам, когда камень из катапульты, сработавшей женщинами, ударил его по голове. Он упал и умер через несколько минут, его лицо было окровавлено и черно от удара шлемом. Через несколько дней после этого была предпринята последняя атака, которая была отбита, после чего осада была снята.

Несмотря на кажущуюся неудачу де Монфора, его работа была решающей. За восемь лет, в течение которых он удерживался в Лангедоке, многие "французы" не только получили там земли, но и моральный и политический престиж южных дворян был подорван до неузнаваемости. Тулуза окончательно потеряла все шансы сплотить вокруг себя юг, чтобы выступить против Парижа. Лангедок с его богатством, культурой и безразличием к моральному единству Европы был обречен на прозябание. Великие терпимые южные дома

должны были быть поглощены "христианнейшими" королями Франции, которые представляли собой новую, смутную, но огромную идею нации. Де Монфор, мертвый и, казалось бы, побежденный, изменил ход истории.

Следующие шесть лет крестового похода (1218-1224) были отмечены лишь небольшими войнами. Они отмечены одной короткой и безрезультатной кампанией, которой командовал Людовик Французский.

Постоянный эффект от деятельности де Монфора проявился не сразу. Его сын Амори не смог занять его место. Филипп Август быстро разрешил принцу Людовику возглавить еще одну крестоносную армию с кардиналом Бертраном, новым папским легатом, на его стороне. В Марманде была устроена резня, способная порадовать сердце любого средневекового крестоносца, но Тулуза успешно выдержала еще одну осаду, и армия вернулась домой, ничего не добившись. На самом деле беспорядочные бои, которые продолжались после его ухода, были несколько в пользу Раймонда. Сила Амори заключалась главным образом в его владении Каркассоном, благодаря его огромной естественной и искусственной силе в условиях того времени, а также мощной стратегической позиции на пути между Атлантикой и Средиземноморьем. Но сын Симона не обладал такими способностями, как его отец, и не смог помешать Раймону отвоевать, шаг за шагом, большую часть своих прежних владений. В 1220 году Раймон вновь захватил Лавор и перебил всех жителей, кроме нескольких человек, которые спаслись вплавь по Агуту. Крестоносцы не обладали монополией на массовые убийства.

Тем временем папа Гонорий пытался всеми доступными ему средствами продвинуть дела, но безуспешно. Новый легат, по имени Конрад Порто, основал военный орден по образцу тамплиеров и госпитальеров под названием "Рыцари веры Иисуса Христа", но новый фонд мало чего добился. В следующем году Гонорий опубликовал приговор об отлучении и отлучении от церкви всего дома Тулузенцев и собрал достаточно денег, чтобы организовать еще одну экспедицию под командованием принца Людовика. Но принц направил свою армию против Ла-Рошели и отнял этот город у Генриха III Английского, так что чистым результатом усилий папы по улаживанию лангедокских дел стало лишь ничто.

В начале 1222 года, через четыре года после смерти отца, Амори де Монфор признал свое положение безнадежным и предложил Филиппу Августу все, чем он владел или на что претендовал в Лангедоке. После этого начался год, полный дипломатии. Амори призвал Гонория поддержать его действия, и папа сделал это, указав на плачевное состояние религии в Лангедоке, где ересь проповедовалась открыто и казалась неистребимой. Филипп отказался, в нем была сильна упрямая осторожность Капетингов. Даже предложение двадцатой части всех доходов церкви во Франции вместе со всевозможными индульгенциями не соблазнило его. Далее Амори обратился с предложением к Тибо, могущественному графу Шампани, но король Филипп снова замял дело, отказавшись освободить Тибо от службы короне в случае разрыва с Генрихом Английским. В августе Раймон умер. Его сын, сменивший его на престоле под титулом Раймонда VII, незамедлительно обратился к Филиппу Августу с письмом, в котором просил помощи своего сюзерена в отмене приговора папы об отлучении и отлучении от церкви. В декабре Амори повторил свое предложение королю, и тот снова отказался.

Путанные и нерешительные переговоры 1222 года, по крайней мере, привели к тому, что убедили и нового легата, и короля Франции в том, что Лангедок должен быть стабилизирован, причем незамедлительно. Легат видел, что ересь снова разрастается, чему способствовало смятение, порожденное долгой войной. Король чувствовал, что близок к

концу - его мучили постоянные лихорадки, - и опасался, что после его собственной смерти Людовик, с его приятным характером и слабым здоровьем, окажется втянутым духовенством в дела Лангедока и умрет от усталости, так что королевство останется в руках женщины, жены Людовика, и младенца, который должен был стать Святым Людовиком. Поэтому, когда легат созвал совет в Сенсе, чтобы примирить Амори и Раймонда VII, Филипп попросил и добился переноса места встречи в Париж, чтобы присутствовать самому. Он находился в провинции, слег с очередным приступом лихорадки, но так глубоко чувствовал необходимость окончательного урегулирования, что рискнул отправиться в путь и умер по дороге. Верный своей политике поддержки де Монфоров, но осторожно и не отождествляя себя с их делом, в своем завещании он оставил Амори тридцать тысяч ливров.

Через несколько месяцев после смерти Филиппа произошло первое из событий, предвиденных его мудростью. Финансовое положение Амори стало настолько плохим, что в январе 1224 года он заключил временный договор с Тулузой и Фуа, использовал большую часть наследства Филиппа, чтобы расплатиться со своими гарнизонами, и окончательно эвакуировался из Лангедока. Архиепископ Буржа вместе с епископами Лангра и Шартра попросил Людовика вернуть ему должность коннетабля Франции, и с этим пониманием он в третий раз предложил свои лангедокские владения и претензии французской короне. В феврале предложение было принято.

С принятием предложения Амори французской короной начинается последний, или монархический, этап Крестового похода, который длится три года (1224-1227). В нем продолжается малая война, сменяющаяся единственной крупной операцией - вторым походом под командованием Людовика VIII, любезного сына мудрого и хитрого Филиппа Августа, который заканчивается неудачей. Несмотря на этот военный провал, война заканчивается политическим решением, направленным против Тулузского дома.

Жители Нарбонны (роялисты, как и все горожане, поддерживавшие внутренний мир и порядок, за который выступала корона) получили письмо от короля с заверениями, что он возглавит крестовый поход, который должен состояться через три недели после Пасхи. В отношениях с Папой Людовик выдвинул условия. Рим должен был предоставить ему в качестве легата одного из его собственных прелатов (архиепископа Буржа) вместо итальянского кардинала Бертрана из Порто, индульгенции должны были быть такими же, как для крестового похода в Палестину, любой из его вассалов, который может отказаться от службы, должен был быть отлучен от церкви, а римская дипломатия должна была сделать все возможное, чтобы обеспечить ему мир со всеми другими возможными внешними врагами. Наконец, церковь должна была выделять ему двадцать тысяч парижских ливров в год из своих доходов во время крестового похода, который должен был начаться и закончиться по выбору Людовика. Это был грозный список, но церковь вряд ли могла найти какие-либо условия слишком жесткими.

В этот момент дело застопорилось из-за еще одной из бесчисленных смен целей в Римской курии. Генрих III Английский был родственником Раймонда. Кроме того, Бордо и все земли, которые еще оставались у Плантагенетов в Аквитании, оказались бы в опасной изоляции, если бы Тулузское графство стало землей французской короны. Соответственно, английское влияние в Риме было использовано в пользу Раймона. Молодой граф Тулузы сам заставил своих послов пообещать полное повиновение престолу Петра и через них сделал очень красивые "подарки" всем, кто мог иметь влияние на Папу. Эта тактика оказалась настолько успешной, что Гонорий написал Раймонду благосклонное письмо, пообещав прислать нового легата (кардинала Романо из Сант-Анджело) для улаживания дел; и написал Людовику, что предполагаемый крестовый поход императора Фридриха II настолько важен,

что в настоящее время не может быть выдано никаких других крестоносных индульгенций. Далее в папском письме королю говорилось, что если Людовик будет продолжать угрожать Раймону, то граф должен уступить. Ветерану Арнауту Амальрику было поручено возглавить местных епископов и заставить Раймонда VII не делать никаких оговорок в своем предложении подчиниться Церкви. Легат официально отменил альбигойские индульгенции для крестоносцев и признал Раймонда VII добрым католиком на "парламенте" в Париже. Людовик с отвращением умыл руки и написал Папе, что с ним, Людовиком, играли и обманывали, и что Рим может делать все, что хочет, без его помощи, лишь бы его собственные права светского государя не были ущемлены. Французские войска, которые уже были наготове, были использованы для захвата некоторых аквитанских замков, которые все еще принадлежали Генриху III Английскому.

Некоторое время казалось, что мир сохранится. Под руководством Арнаута Амальрика Раймонд VII согласился ввести в действие антиеретическое законодательство, настолько тщательное, насколько мог пожелать даже старый мрачный цистерцианец. Заручившись подписью графа Фуа и епископа Безье, молодой граф обещал изгнание, конфискацию имущества и физическое наказание еретиков, увольнение всех наемников-бандитов, внутренний мир и порядок, восстановление церковных привилегий и компенсацию в двадцать тысяч марок, которая должна была пойти частично на возмещение ущерба, нанесенного церковной собственности в Лангедоке во время боевых действий, а частично (в случае, если Папа добьется формального и полного отказа от претензий монфористов) на компенсацию Амори. Если всего этого было недостаточно, Раймонд VII согласился полностью отдать себя в руки Церкви, оставив за собой лишь верность королю. Все это было согласовано на церковном соборе, на котором присутствовал Арнаут Амальрик, в Монпелье в июне. Амаури тщетно протестовал, прежде чем это решение было принято, говоря, что Людовик собирается действовать и что вся Церковь будет оскандалена таким соединением с Тулузским домом. В отличие от своего отца, Раймонд VII предпринял некоторую попытку подтвердить обещания делами, поскольку он вернул Феодосию престол Агды. Казалось, все указывает на то, что папа подтвердит соглашение и положит конец альбигойской войне.

И снова, как это часто случалось, Рим отменил решение Лангедокской церкви, только на этот раз местное духовенство выступало за мир, а курия - за войну. Обещания Тулузена слишком часто оказывались неисполнимыми. Ересь вновь поднимала голову; уже состоялись очередные публичные дебаты, подобные тем, что были в годы, предшествовавшие Крестовому походу, и множились еретические "епископства". Все это должно было быть хорошо известно в Риме. Кроме того, не мало местных священнослужителей увеличили свои владения за время войны и не желали возвращаться к *статус-кво*. В итоге Людовик отправил Ги де Монфора противостоять урегулированию. С октября 1224 года и до нового года Гонорий отказывался двигаться вперед.

Когда, наконец, решение папы было принято, оно было враждебно Раймонду. Кардинал Романо из Сент-Анджело был снова отправлен легатом во Францию, чтобы пригрозить молодому графу и попытаться заключить перемирие, чтобы Людовик мог свободно использовать все свои силы в Лангедоке. В течение этого года ничего не произошло. Раймонд VII, который разрешил доминиканцам проповедовать в Тулузе против ереси и приветствовал францисканца Антония Падуанского, предложил национальному церковному собору в Бурже такую безоговорочную покорность, что собор не смог заставить себя осудить его, но распался, не приняв решения. Чтобы справиться с ситуацией, легат кардинал Романо приказал каждому архиепископу посоветоваться со своими суффраганами и предоставить ему письменные решения для передачи Людовику и Папе. В отношении этих решений

должна была соблюдаться строжайшая тайна. Любой, кто разгласит их, должен был быть отлучен от церкви на месте. Очевидно, что такая система позволит Папе и королю поступать так, как им заблагорассудится. Раймонд не мог льстить себе, что нападение будет отложено надолго, тем более что англичане решили оставить Людовику возможность ослабить себя, взяв на себя трудную задачу сломить высокий дух округа, удаленного на такое большое расстояние от его базы операций. Кроме того, старый Арнаут Амальрик, который помогал играть в тулузскую игру с тех пор, как сам стал архиепископом Лангедока, выбрал этот неудачный момент, чтобы умереть, и его преемником в архиепископстве Нарбонны стал Петр Амьель, злейший враг молодого Раймонда.

В январе 1226 года в Париже состоялся большой парламент королевства. Людовику было вручено обращение знати с просьбой предпринять крестовый поход. Людовик так и поступил, оговорив, что он может прервать поход, когда пожелает. Полное подчинение Раймонда в Бурже за два месяца до этого склонило многих французских дворян в его пользу, но, тем не менее, почти все они приняли крест вместе со своим королем. Единственным перерывом в этом процессе стали действия Папы, который приказал тем дворянам Аквитании и Пуату, которые перешли из английского подданства во французское, переметнуться обратно. Действия Папы были вполне оправданы с точки зрения морали, но были вызваны (так утверждают летописцы) широким использованием английских и тулузских денег в Риме, поскольку любые неприятности между двумя коронами в это время принесут огромную пользу Тулузе. Людовик немедленно приступил к работе, чтобы проявить еще большую либеральность по отношению к курии; папские распоряжения были приостановлены, и подготовка к крестовому походу возобновилась. На заседании парламента, состоявшемся 29 марта, был отдан приказ сосредоточиться в Бурже 17 мая. Служба должна была продолжаться все время пребывания короля на юге, а не сорок дней, как раньше. Губительные последствия коротких призывов стали таким же проклятием для прежних крестовых походов в Лангедок, как для Вашингтона во время Американской революции. Раймона VII поддерживал только граф Фуа. Комминж заключил мир, а Людовик принял дипломатические меры предосторожности, чтобы предотвратить вмешательство Испании. Все указывало на полное завоевание Юга, кроме хрупкого здоровья короля, от которого зависело все предприятие, поскольку его присутствие в поле было необходимо, чтобы держать армию вместе.

В назначенный день армия собралась в Бурже. Людовик остался глух к мольбам многочисленного духовенства, которое умоляло его освободить его от тяжелой десятины, наложенной на них. Он еще больше пополнил свой военный кошелёк, приняв денежные выплаты вместо полевой службы от некоторых дворян, не стремившихся участвовать в экспедиции. Даже после этих освобождений армия была огромной для того времени. В ней было пятьдесят тысяч рыцарей и конных воинов, а также, как говорят, "бесчисленное множество" пехоты. Линия действий была направлена на Лион, а затем вниз по Роне, как и в 1209 году.

Сопrotивления не было, пока 10 июня не был достигнут Авиньон. Там горожане отказали "французам" во входе и укрепили свои стены, хотя и пообещали не беспокоить армию во время ее похода, если их оставят в покое. Это место находилось в пределах Священной Римской империи, но кардинал Романо, легат, убеждал Людовика уничтожить его, так как оно десять лет оставалось отлученным от церкви и неприкайным за терпимость к вальденсианству, и король осадил его. Этот инцидент показывает, как легко было повлиять на Людовика и отвлечь его от главного вопроса, а также, что очень важно, как вальденсы теперь подвергались нападкам с той же готовностью, что и манихеи. Осада затянулась на

все лето и осень. Раймонд Тулузский ловко воспользовался возможностью продвинуться вперед и опустошить страну, из которой осаждающая армия должна была черпать продовольствие и фураж. Болезни и чума мух во французском лагере усугубляли ситуацию. Вдобавок к этому Пьер Моклерк, троюродный брат Людовика, поссорился с королем и покинул армию. Филипп Август сделал этого человека графом Бретани, женив его на наследнице этого фьефа, а теперь, когда она умерла, он хотел жениться на наследнице Фландрии и был разгневан, когда Людовик помешал ему. Поэтому он уехал, прослужив сорок дней, и начал укреплять свои замки и интриговать с недовольными графами Шампани и Ла Марша в Пуату, которые, как предполагалось, были в сговоре с Раймондом. Но Людовика, хотя и легко было убедить, нелегко было отговорить. Он упорствовал до тех пор, пока 10 сентября, после трехмесячной осады, Авиньон не сдался. Горожане были очень подавлены длительной блокадой. Поэтому они согласились заплатить выкуп, снести или разобрать свои укрепления и принять от легата епископа, обязавшегося подавлять ересь.

После долгой задержки в Авиньоне армия наконец-то была направлена против Тулузы. Почти все города Лангедокии, включая Нисмес, Нарбонн, Каркассон, Альби, Безье, Марсель, Кастр и Пюилорен, уже объявили о своей поддержке церкви и короля. Но как раз в тот момент, когда казалось, что конец близок, тяготы кампании заставили Людовика вернуться домой, заболев дизентерией. В Монпансье, в Оверни, 8 ноября он умер. Спустя чуть более трех лет после смерти Филиппа Августа его опасения оправдались: королевство, на создание которого он отдал свою жизнь, оказалось в руках женщины и ребенка.

Несмотря на такое опасное положение дел, идеи централизации и государственности получили такой импульс, что их рост почти не был остановлен. Поначалу, конечно, царило смятение, но Раймонду удалось отвоевать свои позиции. Вдова Людовика, способная и благочестивая Бланш Кастильская, была занята тем, что короновала своего 11-летнего сына, Людовика IX, в Реймсе. Тем временем графы Ла-Марша, Шампани и Бретани активно интриговали друг с другом и с Англией и готовились к открытому восстанию. Положение Бланш было настолько тяжелым, что масштабные операции в Лангедоке не могли быть продолжены. Тем не менее, уже завоеванные позиции удерживались королевскими войсками под командованием энергичного Гумберта из Божо, которого Людовик оставил командовать на театре военных действий, когда отправился на родину, чтобы умереть. Пока войска Гумберта оставались "в строю" на юге, крестоносная десятина с церковного имущества продолжала поступать в королевскую казну. Во время Великого поста 1227 года местный церковный собор в Нарбонне отлучил от церкви тех, кто нарушил клятву, данную Людовику, и приказал ужесточить преследование еретиков, показав тем самым, что некоторые клятвы были нарушены и преследование велось не так верно, как могло бы быть. В течение всего года борьба то разгоралась, то затихала. Гумберт де Божо с архиепископом Нарбонны Петром Амьелем и епископом Тулузы Фульком взял замок Бекеде, расправился с гарнизоном и с радостью сжег нескольких еретиков. Раймонд VII, в свою очередь, отвоевал город Кабель-Саррасин на средней Гаронне, но его сил не хватило, чтобы удержать роялистов от опустошения сельской местности вплоть до стен Тулузы.

Обе стороны устали от войны. Королевские ресурсы серьезно истощались, особенно с учетом враждебного отношения трех северных графов, а церковная десятина поступала медленно и вызывала бесконечные трения при сборе. С другой стороны, Раймонд видел, что его положение в глазах всего мира неуклонно ухудшается, поскольку его владыка продолжал вести против него войну во имя Церкви. Очевидно, что если он может спасти хоть что-то, подчинившись, то ему лучше поспешить это сделать. Наконец, третья сторона в этом деле, папство, также жаждала мира в Лангедоке. В марте 1227 года умер мягкий и пожилой

Гонорий III, и его сменил на посту папы Григорий IX, такой же пожилой, но гораздо более суровый, чем его предшественник. Несмотря на свои восемьдесят лет, Григорий был полон решимости противостоять императору Фридриху II, который становился все более могущественным и готовым выступить против Церкви с тех пор, как умер его опекун Иннокентий III. Для столкновения с Фредериком Церковь должна была сосредоточить все свои силы. Лангедокское дело, таким образом, лучше было оставить в стороне.

Когда все три стороны спора были одинаково настроены на урегулирование, оставался лишь вопрос о путях и средствах. У Раймонда VII не было сына и только одна дочь, Жанна. Обручение ее с одним из младших братьев короля обеспечило бы окончательный переход всего наследства Тулузенов к короне. Церковь поддержала бы корону в достижении благоприятного для короля Франции решения, если бы были приняты решительные и систематические меры против ереси. Папское письмо от марта 1228 года, адресованное легату кардиналу Романо, показывает, что в центре переговоров был предложенный брак. Второе письмо от 21 октября того же года, продлевающее крестоносные индульгенции, показывает, что на Раймонда было необходимо оказать давление, чтобы заставить его принять предложенные условия. С этой же целью, судя по всему, было произведено дальнейшее опустошение территории Тулузена. В декабре Раймон уступил и назначил графа Тибо из Шампани своим агентом, наделенным всеми полномочиями вести переговоры от его имени. В январе 1229 года заинтересованные стороны, включая представителей муниципалитета Тулузы, встретились в Мо и подписали предварительное соглашение. В Страстной четверг перед большими западными дверями Нотр-Дам де Пари разыгралась последняя сцена долгой драмы. Раймон предстал перед легатом, босой, как его отец за двадцать лет до этого в Сен-Жилле, и одетый только в рубашку. Затем он прошел через всю церковь, чтобы его "примирили" как кающегося перед главным алтарем. После этого он стал пленником короля в Лувре до тех пор, пока его дочь и пять его замков не перейдут в королевские руки, а пятьсот "тозов" (более тысячи ярдов) многострадальных стен Тулузы не будут снесены. Конец наступил.

Условия были жесткими. Раймонд должен был беспрепятственно преследовать еретиков и их "фаворитов", вплоть до ближайших родственников. Снова появились знакомые условия - восстановление церковного имущества, увольнение наемников-бандитов и обеспечение общественной безопасности. Кроме того, граф должен был в течение десяти лет хорошо оплачивать работу "двух магистров теологии, двух декреталистов и шести магистров грамматики и гуманитарных наук" в качестве преподавателей Тулузского университета. Он также дал привычное обещание совершить крестовый поход в Палестину, а обязался сделать это в течение двух лет и оставаться в Святой земле еще пять лет. Он, а за ним и его дочь Жанна, должны были сохранить за собой Тулузу, Аген, Руэрг, Кверси, кроме Кагора, и часть округа Альби. Герцогство Нарбоннское и графства Велай, Геводан, Вивье и Лодев сразу же вернулись к короне. Церковь получила "маркизат Прованс" - вотчину империи к востоку от Роны. Обручение Жанны с принцем Альфонсом, девятилетним ребенком, рассматривалось как королевская "милость", оказанная Раймону, как и королевская амнистия многочисленным предписанным сеньорам Лангедока, за исключением еретиков среди них. Его вассалы и люди также подписались под условиями и поклялись признать короля своим единственным повелителем через сорок дней, если Раймон потерпит неудачу в каком-либо деле. Слава покинула Тулузу.

Это соглашение положило конец борьбе. Граф Фуа пришел и заключил мир в следующем году. Раймон, похоже, выполнил условия, за исключением того, что все время откладывал

крестовый поход в Палестину. В 1237 году легковесный Амори де Монфор разыграл дурака, назвавшись герцогом Нарбоннским и покушаясь на графство Мельгейль от своего имени и на Дофине от имени своей жены. Григорий IX обвел его вокруг пальца и приказал отправиться в Палестину. Ему не повезло; он попал в плен к сарацинам и содержался там три года, пока Григорий не выкупил его, после чего он закончил свою бесполезную жизнь в Отранто, по пути домой в 1241 году. В 1240 году произошел последний проблеск местной независимости. Последний из Транкавелов наскреб немного поддержки в Испании и осадил город своих предков Каркассон. В народе не было никаких движений в его пользу, и ему не удалось сократить королевский гарнизон, поэтому он опустошил сельскую местность, после чего удалился и исчез из истории. Семь лет спустя Раймонд VII умер, готовясь к давно отложенному крестовому походу в Палестину. Графиня Жанна и принц Альфонс, сочетавшиеся законным браком, унаследовали то, что осталось от его владений. В 1271 году они умерли, не оставив потомства, и король Филипп III, наследник Святого Людовика, забрал их земли.

Обобщая четыре этапа войны, можно сказать, что на первом крестоносцы, подчиняясь церкви, появляются в большом количестве и берут Безье и Каркассон. Эта фаза длится всего несколько месяцев в 1209 году.

Вторая фаза (1209-1212) начинается с назначения Симона де Монфора, номинально для управления завоеванной территорией, а на самом деле для искоренения терпимых южных домов. Личные интересы теперь занимают место религиозных. Второй этап длится три года. На протяжении этого периода Симон де Монфор использует свои скудные ресурсы с таким умением, что не только сохраняет себя, но и расширяет свои владения на большую часть спорной страны.

Третий этап (1213-1224) начинается, когда Симон разбивает грозную интервенцию Педро, короля Арагона. Столицу Тулузу он не может ни взять, ни удержать после того, как она была присуждена ему Латеранским собором, и в конце концов погибает под ее стенами. Его успех заключается в том, что он ослабляет престиж Тулузского дома из-за долгой войны, которая велась против него во имя религии.

После смерти Симона де Монфора его сын в течение семи лет продолжает терять позиции и в конце концов отказывается от своих претензий в пользу французской короны.

Третий, или королевский, этап длится три года (1224-1227). Смерть короля Людовика VIII предотвращает неминуемое решение вооруженным путем в пользу короны и против Тулузского дома, и, наконец, в 1229 году заключается договор, предусматривающий окончательное поглощение Тулузы короной.

Итоговыми результатами стали: (во-первых) установление французского национального единства вплоть до наших дней, без перспективы его разрушения: (во-вторых) восстановление морального единства Европы, которому в начале XIII века угрожало альбигойское движение; это моральное единство, восстановленное таким образом, продержалось до потрясений XVI века, в котором родился современный мир.

ГЛАВА VI. ОРДЕНА МЕНДИКАНТОВ И ИНКВИЗИЦИЯ.

Политическое решение, принятое Альбигойским крестовым походом в руках французской короны против Тулузского дома, позволило учредить инквизицию в Лангедоке, центре ереси XIII века. Предметом этой книги является не столько сама инквизиция, сколько силы, которые ее создали. Поэтому военная и политическая борьба, в которой участвовал Тулузский дом, а также события, предшествовавшие этой борьбе, описаны достаточно подробно. Но для нашей темы также необходимо отметить, как действовали эти силы, когда регулярное вооруженное сопротивление прекратилось.

Это сопротивление было оказано не во имя борьбы с ересью против католицизма, а лишь в защиту определенной степени терпимости государства к еретическим организациям. Терпимость даже не была прямо заявлена как мотив тех, кто сопротивлялся Крестовому походу, а лишь подразумевалась их поведением. Этот момент стоит отметить. Ни один из южных лордов, сопротивлявшихся Крестовому походу, сам не был еретиком. Ни один из них, за исключением Раймона Рожера из Фуа, не был уличен в том, что проявлял хоть какой-то интерес к ереси как к причуде, объекту любопытства. Педро Арагонский был вассалом Папы и "первым знаменосцем Церкви". Раймонд VI Тулузский всю жизнь был католиком и умер со всеми утешениями религии, в утро своей внезапной смерти дважды отправившись в церковь Ла Дорада в Тулузе, чтобы помолиться. После его смерти честь захоронения его останков долгие годы оспаривалась между приходом Святого Сернина и тулузскими рыцарями-госпитальерами. Те, кто сопротивлялся крестоносцам, сражались, чтобы их не заставили подавлять еретиков, среди которых они жили, и особенно чтобы их не лишили власти и владений северофранцузы, которые пришли захватить их земли на вечные времена в качестве награды за подавление ереси.

Нигде больше в Европе не было регулярной вооруженной оппозиции. В Италии, которая была (после Лангедока) оплотом средневекового манихейства, еретики Орвието устроили беспорядки и убили ревностного католического магистрата в 1199-1200 годах. В Витербо несколькими годами позже горожане избрали нескольких еретических магистратов, и потребовались суровые слова Иннокентия, прежде чем они согласились их дисквалифицировать. Но по сравнению с альбигойским делом это были детские игры. В Лангедоке битва была проведена и выиграна.

Но для того чтобы удержать страну, необходимо не только завоевать ее, но и организовать. После завоевания сила уже не нужна в больших масштабах, она все еще играет свою роль, но только в исполнении решений, принятых на основе определенной формы закона. И хотя сила играет более значительную роль в конфликтах идей, чем это теоретически допускается в настоящее время, тем не менее она не является главным инструментом этих конфликтов. Главный инструмент - это, конечно, убеждение. К концу Альбигойской войны в Европе уже не было организованной оппозиции против исполнения судебных решений по борьбе с ересью, и эти судебные решения принимала инквизиция. Тем временем, еще до прекращения боевых действий, уже существовали две новые мощные организации, организованные для использования убеждения в интересах Церкви, - доминиканцы и францисканцы, которые можно объединить в орден мендикантов.

С самого начала Франциск и Доминик пришли к согласию в том, что они освободили монахов от пострига. Вместо того чтобы удалять своих монахов от мира, они пускали их в самую гущу его, чтобы они наставлениями и примером стремились завоевать души. В частности, святой Доминик привлекал своих "монахов-проповедников" для проповеди

против ереси, а святой Франциск - для проповеди любви к Богу, что позволило избавиться от мрачности религии раннего Средневековья, которая питала слишком аскетичные ереси, такие как манихейская.

Трудно не задержаться на святом Франциске Ассизском. Настоящий итальянец и дитя своего времени, неудивительно, что иногда он кажется нам экстравагантным. Когда мы слышим о том, как он голым валяется в розовом кусте, чтобы отогнать сексуальные искушения, или как его таскают по улицам и бьют в наказание за съеденную в Великий пост курицу, это вызывает у нас не только недоумение, но и отвращение. Мы даже можем прислушаться к мнению врачей, которые говорят нам, что существует извращение плотских вожделений, называемое мазохизмом, при котором человек получает удовольствие от боли. Сам святой в конце концов раскаялся в том, что заставил свое тело страдать так, как он это делал; "Я согрешил против моего брата осла", - сказал он, умирая. И все же, в целом, он остается самым христоподобным из христиан. Его нежность к человечеству была всеобъемлющей и выходила за пределы человека к животным и даже к природным объектам. Для него вся природа была очаровательной младшей сестрой, над которой можно было посмеяться, погладить и приласкать. Солнце было нашим братом: ему он написал кантик. Птицы были нашими младшими братьями: он проповедовал им, когда они собирались вокруг него. Даже волк, которого святой отвратил от злого пути, был "братом Волком". Смерть была лишь "нашей сестрой, смертью тела", а сами дьяволы - "стражами Божьими".

Этот дух был полной противоположностью мрачности религиозного чувства столетия назад. Для людей начала двенадцатого века, например для Абеяра, требования религии были неумолимо суровы. Их нельзя было примирить ни с какими человеческими чувствами, как нельзя было приспособить непреклонную круглую арку к сводам неровных помещений нефа и амбулатория. В человеческом чувстве, как и в архитектуре, результатом было уродливое искажение, и именно это искаженное чувство породило манихейство. Очевидно, что если Бог добр и любящ, а мир совершенно мерзок, то Бог не создавал мир. Его сотворил дьявол, и в силу этого он стал равным, а то и превосходящим по силе самого Бога. Не так, говорит святой Франциск, земля принадлежит Господу, и она прекрасна. Только гордость, как гордость имуществом, так и гордость интеллектом, стоит на пути к счастью. Поэтому он с радостью женился на своей "леди Бедность" и однажды отказал колеблющемуся послушнику во владении даже бревиарием. Под кистью Джотто и других художников францисканской легенды Святое семейство, не переставая быть символом веры, стало также эмблемой невинной и счастливой домашней жизни.

Святой Франциск не начал гуманизацию религии. Изменения начались еще до середины двенадцатого века с культом Девы Марии. Существует легенда, что однажды, когда святой Бернард молился ей и дошел до слов: "Покажи, что ты мать", ему явилась Богородица и из своей груди капнула ему на губы три капли молока, вскормившего Спасителя. Это уже далеко от атмосферы Абеяра и Элоизы. Уже во времена святого Бернара северофранцузские архитекторы начали разбивать неподатливые норманнские и ломбардские круглые арки на остроконечные, и тот же период, очевидно, пытался разрешить искажение религии и человеколюбия. Святой Франциск чрезвычайно расширил и углубил новое течение религиозной мысли. Кульминация была достигнута после его смерти в истории о чуде в Больсене. Здесь в 1263 году священник, не веривший в реальное Присутствие Господа во Христе, увидел, что облатка, которую он сам только что освятил, покрылась каплями крови. За полвека до этого в соседнем Орвието манихеи убили ревностного католического магистрата. Теперь Церковь настаивала на том, что Бог отдал Самого Себя в пищу всем людям, даже бедным, крепостным и смиренным.

Святой Доминик был другого склада характера и по-другому подошел к решению проблемы. Данте называет его...

"...святой атлет,

Благосклонный к своим и жестокий к врагам".

и хвалит его за мудрость, в то время как святого Франциска он превозносит за "серафический пыл". Вместо того чтобы быть прежде всего поэтом и мистиком, как Поверелло из Ассизи, святой Доминик был организатором и государственным деятелем. В раннем францисканском ордене присутствовал оттенок церковного анархизма; некоторые "духовные" францисканцы конца XIII - начала XIV века восставали против религиозных авторитетов так, как не восставали доминиканцы. Там, где итальянский святой ставил пример выше наставлений, испанец ставил наставления выше примера. Для него слабость Церкви заключалась в том, что недостаточное количество ее духовенства досконально знало ее доктрину и было способно ее преподавать. Для него, как и для пророка Осии, "...народ был уничтожен из-за недостатка знаний". Его орден дал обет учиться. И действительно, именно доминиканец, святой Фома Аквинский, оставил нам самую полную и гармоничную из всех попыток человека проанализировать Вселенную. Вместо того чтобы атаковать с фланга, разрушая настроения, из которых выросли ультрааскетические и, в частности, манихейские ереси, святой Доминик атаковал ересь спереди прямыми аргументами. Его "Монахи-проповедники" соблюдали строгую бедность, не столько как благо само по себе, как это делал святой Франциск, сколько в духе солдата, который облегчает свой вьюк, чтобы выйти на поле боя. Когда они ходили туда-сюда, выпрашивая свой хлеб, они избегали зависти бедняков, которая преследовала богатых епископов и аббатов старших орденов. Таким образом, они могли свободно спорить с философами в бурных университетах или излагать Веру простым людям в односложных словах.

Организаторы, эти плотники и каменщики истории, неясны по сравнению с ее художниками и скульпторами. Так и личность святого Доминика (по крайней мере, в протестантском мире) была заслонена личностью святого Франциска. Даже церковь, которой они оба служили, канонизировала Франциска через два года после его смерти и ждала тринадцать лет, прежде чем канонизировать Доминика.

Но если в Поверелло из Ассизи было больше поэзии, то в испанском джентльмене - больше государственной мудрости. Организация францисканского ордена сильно колебалась и в конце концов сошлась на копии доминиканского. Согласно первому францисканскому правилу 1221 года, монах не обязан подчиняться своему начальству, если оно приказывает ему сделать что-то противное "жизни" - предложение настолько невыполнимое на практике, что оно просуществовало всего два года. С другой стороны, вплоть до 1240 года глава францисканского ордена был бесспорным кесарем, назначавшим низших чиновников и принимавшим законы либо без капитула (т.е. Ассамблеи), либо с капитулом, состоявшим исключительно из назначенных им самим чиновников. Это снова сработало настолько плохо, что в 1240 году организация была изменена таким образом, чтобы добавить выборных представителей генерального капитула и сделать назначение младших офицеров функцией генерального капитула, созданного таким образом; обе эти особенности были типично доминиканскими и входили в первую конституцию этого ордена.

Как и в случае с конституцией их ордена, так и в случае с высшим образованием. И здесь францисканцы оказались вынуждены в силу обстоятельств отказаться от отличительного учения своего основателя и последовать примеру доминиканцев. В то время как сам святой

Франциск боялся и ненавидел обучение, еще до его смерти некоторые из величайших ученых христианства носили францисканскую привычку.

К темам представительного правления и обучения я вернусь на мгновение в конце главы в попытке оценить постоянную ценность достижений XIII века. Сейчас я хочу сказать, что в обоих отношениях святой Доминик строил настолько лучше (по крайней мере, для своего поколения), чем святой Франциск, что сами францисканцы вскоре переняли доминиканские методы. И это было верно не только в отношении обучения и представительного правления, но и в отношении инквизиции.

Оба мендикантских ордена были созданы, как сказал бы современник, "для служения". Они были демократическими по конституции: доминиканцы были таковыми с самого своего возникновения. Действительно, с некоторым основанием утверждается, что именно доминиканцы впервые принесли в Англию представительное правление из своего первоначального дома в Пиренеях. В первую очередь они обращались к более бедным и менее удачливым слоям населения. В то время как старшие монашеские ордена удалились в пустыню или, по крайней мере, в деревню, доминиканцы трудились главным образом в быстро растущих городах, характерных для нового и внезапного подъема Средневековья из Темных веков. Именно в городах человеческая борьба за жизнь всегда наиболее остра, а результаты поражений вызывают жалость.

Хотя служение монахов часто сильно отличалось от служения современных "социальных работников", поскольку они в первую очередь стремились свидетельствовать о Вере, в то время как средний "социальный работник" озабочен в основном предоставлением материальных благ (подозреваю, что именно поэтому он или она не достигают большего), тем не менее у социального работника и монаха-подвижника есть одна общая черта: целью обоих было "делать вещи" для бедных. Увы! В саду "социального служения" бедных заблудших людей подстерегает змея, и имя ей - Тирания. Те, кто становится объектом служения, будучи людьми, слишком часто принимают его неохотно и предпочитают идти своим путем. А те, кто хотел бы служить, будучи такими же людьми, когда видят, что их добрые дела (как они их считают) отвергаются теми, кому они должны принести пользу, слишком часто пытаются силой заставить их принять.

Конечно, такие люди считают, что они лучше отвергающих (которые на практике являются более независимыми и уважающими себя бедняками) знают, что хорошо для последних. Но изучающий историю печально качает головой, зная, что бесчисленные угнетатели человечества верили, что могут управлять людьми лучше, чем те, кого они угнетали, могут управлять собой.

Связь самого святого Доминика с инквизицией (это слово используется в свободном смысле, чтобы охватить все юридические и судебные действия против еретиков), хотя и вызывает много споров, очевидна. Доказательства состоят из двух документов самого святого Доминика и традиции, записанной в ее нынешнем виде через шестьдесят семь лет после его смерти, которая была принята всеми изучающими его жизнь, включая тех, кто считает, что он не имел никакой связи с инквизицией. Первый документ - это разрешение одному из жителей Тулузы поселить в своем доме некоего обращенного еретика до тех пор, пока святой Доминик или кардинал-легат не отдадут распоряжение об обратном. Во втором перечисляются положения епитимьи, наложенной на другого обращенного еретика.

Хотя последняя цитата уже приводилась в другой главе, тем не менее будет не лишним повторить ее здесь. "Пока господин легат (Арнаут Амальрик) не распорядится иначе", несчастный должен вечно поститься "от плоти, яиц, сыра и всего, что происходит от плоти, за

исключением Пасхи, Пятидесятницы и Рождества, когда он должен съесть немного в знак протеста против своих прежних заблуждений". Он должен соблюдать три Великих поста в году, "постясь и воздерживаясь от рыбы, если только телесная немощь или жара погоды не освободят его от этого". В качестве компенсации он должен быть избит прутьями по голой спине, три воскресенья подряд, своим деревенским священником; он должен навсегда носить отличительную одежду, отмеченную крестами, чтобы обозначить его как бывшего еретика, слушать мессу каждый день, "если возможно", а также вечерню в дни праздников, читать семьдесят заклятий в день и двадцать среди ночи. Как должно было выполняться это последнее условие, если только какая-нибудь почти столь же несчастная душа не будет бодрствовать, чтобы следить за ним, не указано. Наконец, раз в месяц он должен показывать пергамент, на котором все это написано, деревенскому священнику.

Вот и все о документах. По преданию, святой добился освобождения некоего еретика, осужденного и приговоренного к сожжению, действуя на основании своей личной веры в то, что этот преступник в конце концов раскается. Через двадцать лет после этого, как гласит предание, человек действительно раскаялся и умер в благоухании святости, облачившись в доминиканскую одежду.

Для наших целей смысл всех трех свидетельств заключается в том, что власть освобождать подразумевает тесную связь с властью связывать. Президент Соединенных Штатов и губернаторы штатов, обладающие правом помилования, сами являются главными должностными лицами нации и штатов, и их клятвенная обязанность - следить за исполнением законов. В случае со святым Домиником вердикт неоспорим. С этим согласны практически все авторитетные ученые современности, включая римских католиков, пишущих под грифом "*nihil obstat*" и "*imprimatur*" кардиналов и архиепископов.

Среди этих последних Жиро так подытоживает вердикт: "Сравнивая со всеми этими документами канон Веронского собора, возобновленный в 1208 году Авиньонским собором, который предписывает, что вероотступники, которые после осуждения их епископами или их представителями за ересь, упорствуют в своих заблуждениях, должны быть переданы светской руке, следует, по-видимому, заключить, что в силу делегированных монахам-цистерцианцам полномочий св. Доминик должен был осудить еретиков; и что, осудив их, он косвенно, но несомненно, предал их казни, если только не приостановил актом милосердия действие этого послушного инструмента Церкви, светской власти. Несомненно, он не сам выносил смертный приговор; но во время суда над ними он играл роль эксперта в вопросах ортодоксии или даже присяжного заседателя, передавая суду обвинительный вердикт и в то же время имея возможность подписать рекомендацию о помиловании".

Конечно, правда, что "кровавый Доминик", это любимое пугало старомодных протестантских историков, никогда не существовал. С этим согласны не только болландисты и Лакордер, но и вся масса современной науки. Даже Леа, почти всегда точный в вопросах фактов, даже когда он наиболее изнурителен в своем полном отсутствии реализующего воображения, столь необходимого современному историку Средневековья; даже Леа, говорю я, признает, что чудеса, приписываемые Святому Доминику, почти все добрые, и что Святой отнюдь не отличался среди своих современников свирепостью в отношении еретиков. Он также не был "основателем инквизиции", хотя и работал в ней. Сила обстоятельств и, в частности, тот факт, что оба мендикантских ордена находились в особой зависимости от Папы (и, соответственно, не зависели от местного духовенства), впоследствии выдвинули сначала доминиканцев, а затем францисканцев на видное место в качестве инквизиторов.

Альбигойская борьба привела к появлению папской, в отличие от епископальной, инквизиции. До этого епископы обладали исключительной юрисдикцией в вопросах веры. Естественно, их политика в отношении еретиков сильно различалась, так что, как мы видели в главе II, светское правительство и даже местная толпа часто действовали под свою ответственность. Очевидно, что епископы были не в состоянии бороться с ересью в широких масштабах. Попытки заставить их выполнять свою работу, такие как императорско-папский указ, изданный из Вероны в 1184 году (см. главу II), остались мертвой буквой. В Лангедоке, где и местные власти, и толпа не желали действовать, местные епископы даже не пытались ничего предпринять. Поэтому, как мы видели, Арнаут Амальрик и другие легаты, за деятельностью которых мы следили, были посланы Иннокентием III, чтобы разобраться с ситуацией в силу полномочий, полученных непосредственно от него как Папы, без обращения к местным епископам - вполне в том духе, в котором президент Кливленд послал федеральные войска для подавления беспорядков в Чикаго в 1894 году.

Помимо необходимости иметь сильную руку в Лангедоке - главной причины создания папской инквизиции - существовала и вторая причина, которая помогла сохранить жизнь новообразованному учреждению даже после того, как военная и политическая поддержка ереси в Лангедоке прекратилась. Второй причиной была потребность в порядке и регулярности. В первой главе мы видели, как порядок и здравый смысл во всем были целями свежего, бодрого духа того времени, и каким огромным событием стало открытие заново римского права с его огромной логикой. Интеллектуальные аппетиты вновь пробудившейся Европы с жадностью ухватились за право как объект изучения, в то время как практические потребности растущего, интенсивно "прогрессивного" общества сделали регулярное управление правом одной из главных забот государственных деятелей. Для такого поколения было недопустимо, чтобы столь весомый вопрос, как отклонение от веры, решался бессистемно. Ради справедливости по отношению к обвиняемым в ереси и ко всему христианскому сообществу - что наши предки считали гораздо важнее - серьезное дело судейства в таких случаях следовало доверить самым квалифицированным специалистам, которых только можно было найти. Здесь были доминиканцы, а за ними францисканцы, сведущие в богословии, независимые от местных предрассудков, не склонные поддаваться местному влиянию, люди, которые отказались от всего, чтобы лучше служить Церкви. Даже если они и уклонялись, как это иногда бывало, от тяжелых обязанностей, усталости и личной опасности, связанных с деятельностью инквизиторов, высшие власти государства и церкви объединились, чтобы призвать их на службу.

В каком-то смысле именно стремление к справедливости, к замене самосуда в делах о ереси регулярной системой судопроизводства, продиктовало создание инквизиции (то есть инквизиции как нового инструмента, в значительной степени отделенного от старых церковных судов канонического права, управляемых епископами). В то же время есть три факта, которые, как кажется, свидетельствуют о более низменном сознании тех, кто участвовал в постепенном формировании нового института. Современного человека поражает тот факт, что способ допроса кажется недостаточно гарантированным от возможности серьезной несправедливости по отношению к обвиняемому; во-вторых, использование пыток для принуждения к признанию. Наконец, современного человека ужасает крайняя мера наказания - казнь через огонь.

Главной особенностью судебных процессов инквизиции является широкая власть инквизитора. Вместо того чтобы, как наши судьи, выступать в роли арбитра между противоположными сторонами, а прокурором был отдельный государственный чиновник,

инквизитор был главным действующим лицом всего процесса. По собственной инициативе он искал доказательства, допрашивал свидетелей и обвиняемых. В этом есть некоторое сходство с современной французской процедурой и, в меньшей степени, с процедурой американских военных судов, которые делают судью-адвоката одновременно обвинителем и гарантом прав обвиняемого. Этот метод заимствован из римского права. В те времена, о которых мы говорим, его практиковали "продвинутые" светские правительства того времени, такие как монархии Капетингов и Плантагенетов. Некоторые итальянские муниципалитеты также, по-видимому, использовали его. Помимо того, что она была известна современному светскому правосудию, она была знакома и образованным людям того времени, которые были погружены в воспоминания о классике.

При инквизиции дела обстояли примерно следующим образом: Инквизиторы разъезжали по подведомственным им территориям, читая проповеди против ереси, особенно в тех местах, где она была известна. В этих проповедях обещалось "время благодати", в течение которого все еретики, которые должны были прийти и признать свою вину, должны были быть приняты к милосердию и примирены с Церковью. Тем временем верующих просили сообщать информацию о местных еретиках. По истечении срока милосердия обвиняемые в ереси арестовывались вооруженными служителями Священной канцелярии и допрашивались инквизитором.

Доказательства обвинения обычно предоставлялись обвиняемому, но в большинстве случаев имена свидетелей, которые их давали, скрывались. Это было отклонением от современной процедуры, применяемой в каноническом праве в отношении епископов. Аргументом в пользу сокрытия было то, что это был единственный способ защитить свидетелей от репрессий со стороны друзей обвиняемого в случае вынесения приговора. Следует помнить, что общественная безопасность тогда была не такой, как сегодня. Лучший шанс добиться отмены обвинения заключался в том, чтобы обвиняемый доказал, что свидетели были его смертельными врагами. Поэтому инквизитор спрашивал его, есть ли у него таковые, и если у него был кто-то, кто (разумеется, неизвестный ему) давал показания, то улики вычеркивались, а все дело против него получало разрушительный удар.

Когда все показания были собраны и заключенный дал показания о своих смертельных врагах, наступил решающий момент допроса. Инквизитор должен был убедиться в виновности или невиновности подозреваемого еретика. При отсутствии организованной системы присяжных идеальным способом установления вины было добиться от обвиняемого признания. Поэтому признания добивались всеми мыслимыми способами: длительными теологическими дискуссиями с теми, кто был на это способен, попытками заманить в ловушку невольного заключенного или отложить расследование в упрямых случаях, чтобы время, иногда даже годы, проведенные в тюрьме, дали негодяю возможность все обдумать.

Инквизиция отличалась от всего светского правосудия тем, что была покаянной, то есть стремилась убедить тех, кто совершил определенные грехи, признать свою вину и подчиниться любящему наказанию Матери-Церкви. Инквизитор находился в уникальном положении судьи, который постоянно пытался превратить себя в отца-исповедника.

Когда против заключенного, который упорно отказывался признаться, имелись веские предположения, но не было убедительных доказательств, инквизитор оказывался в затруднительном положении. Его ответственность была даже больше, чем у современного судьи, поскольку в то время еще существовали лишь зародыши системы присяжных. Инквизитор мог, и обычно так и поступал, вызывать экспертов (*periti*) или "добрых людей" (*boni viri*) для обсуждения, и по обычаю он следовал их вердикту, за исключением тех

случаев, когда он считал его слишком суровым. Этот рудиментарный суд присяжных состоял из людей, сведущих в гражданском или каноническом праве, обычно монахов-подвижников. Его слабость заключалась в том, что было крайне сложно собирать квалифицированных людей достаточно часто, чтобы они могли по-настоящему рассмотреть каждое отдельное дело. Более того, это было физически невозможно сделать, когда требовалось рассмотреть большое количество дел, как это случалось в центрах ереси, где опасность для веры была наибольшей. Незнание имен заключенных снижало их полезность, ведь, по меткому выражению Вакандара, "...трибуналы должны судить преступников, а не преступления, подобно тому как врачи лечат больных людей, а не болезни в абстрактном смысле". Поэтому, чтобы облегчить совесть судьи при решении сомнительных дел, были введены пытки для принуждения к признанию, когда доказательства не были убедительными.

Упоминания о применении пыток редки в многочисленных записях инквизиции. Потому ли это, что ее применение было настолько противно духу христианства (и настолько ненадежным средством для выяснения истины), что летописцы избегали упоминать о ней на бумаге, мы никогда не узнаем. Люди Средневековья в целом не отличались откровенностью, и все же словесных двусмысленностей у инквизиции, как мы увидим, было немало. К сожалению, римские прецеденты были в ее пользу, хотя римский закон запрещал применять пытки только к рабам. Римские свободные люди подлежали пыткам только в случае преступления против императора. Люди Средневековья, по-видимому, думали о пытке как о замене испытания, которое, как мы видели, выходило из моды. Пытка была введена поздно. Леа находит упоминание о ней в светском праве "...в Веронском кодексе 1228 года и в Сицилийских конституциях Фридриха II 1231 года", и считает, что "...эти упоминания показывают, как скупое и нерешительное она применялась". В инквизиции он был впервые признан Иннокентием IV в 1252 году.

При применении пыток инквизиторами были установлены определенные ограничения, которым не подвергались светские суды. Они не могли применять пытки, которые угрожали бы жизни или конечностям жертвы, и это условие было в чем-то справедливо, поскольку светский судья был волен изобретать и применять любые изощрения жестокости, какие только мог придумать, и так часто, как ему было угодно. Но это было не так уж и много. Инквизиция имела право вырывать суставы своих жертв из гнезд с помощью дыбы или страппадо. Последняя представляла собой веревку с тягой, которая крепилась к запястьям жертвы. Запястья связывали за спиной, чтобы вывихнуть плечевые суставы, поднимая жертву к потолку, давая ей упасть, а затем рывком поднимая в воздух. Также разрешалось использовать огонь и воду; ноги можно было обжечь, намазав их жиром, или использовать "лечение водой" до тех пор, пока живот не становился ужасно растянутым, а заключенный почти задушенным.

Поначалу инквизиторы с неохотой разрешали присутствовать при пытках. Священники, а все инквизиторы были священниками, смотрели на такие сцены как на "непорядок". Но поскольку этот запрет затягивал дело, он был практически снят разрешением, данным папой Александром IV в 1260 году и подтвержденным в 1262 году папой Урбаном IV, чтобы инквизиторы освобождали друг друга от нарушений, вызванных наблюдением за пытками. В дальнейшем было принято, чтобы при пытках присутствовал сам инквизитор.

Другой запрет на применение пыток - предписание не подвергать заключенного пыткам дважды - был обойден путем двусмысленности. Вторую пытку просто называли "продолжением", а не "повторением" первой. Более того, свидетелей можно было пытать

бесконечно, и одной из главных задач инквизиторов было заставить заключенных доносить на еретиков, которые все еще находились на свободе. Часто им обещали пощаду при условии, что они дадут показания против других. В любом случае еретик, доносивший на других еретиков, сразу же становился свидетелем их вины и мог подвергаться пыткам столько раз, сколько было угодно.

Другая двусмысленность проявляется в форме, в которой оформлялись признания, сделанные под пытками или нет. "Обычно, - пишет Леа, - пытки продолжались до тех пор, пока обвиняемый не выказывал готовности признаться, тогда его развязывали и уводили в другую комнату, где и делалось признание. Если же признание было получено во время пытки, то впоследствии его зачитывали заключенному и спрашивали, правда ли это. В любом случае тщательно фиксировалось, что признание было "свободным и спонтанным", без давления "силы или страха". Если заключенный отказывался подтвердить признание, сделанное под пытками, ученые доктора инквизиции расходились во мнениях, что с ним следует делать. Одни считали, что его следует освободить, выдав справку о том, что против него ничего не доказано, другие - что его следует снова подвергнуть пыткам, пока он снова не признается!"

После осуждения следовал приговор. Раскаявшимся еретикам, заблуждающимся детям, осознавшим свою вину и принявшим любящее наказание Матери-Церкви, инквизитор сам выносил приговор в виде епитимьи. Теоретически не было никакой разницы между покаянием, наложенным любым духовником, и покаянием инквизиторов, а на практике единственным покаянием, свойственным инквизиции, было ношение крестов. Даже тюремное заключение - крайняя мера наказания для редких еретиков в раннем Средневековье - было частью монастырской системы покаяния. Уже в XIII веке приговоры к тюремному заключению были более распространены, чем любая другая форма наказания.

Когда приговор был пожизненным, теория о том, что такая суровость была не более чем спасительной мерой покаяния, была, конечно, натянутой. Если такой заключенный выходил из тюрьмы, его вина должна была заключаться в том, что он отвергал благотворное исправление, призванное по любви и доброте Церкви обеспечить его духовное благополучие! Однако существует так много записей о заключенных, отбывающих пожизненное заключение, которые были освобождены за хорошее поведение во время пребывания в тюрьме, что можно утверждать, что обычно никому, кроме "тяжелых случаев", не удавалось отсрочить отбывание наказания.

Очевидно, что идея наказания как покаяния не распространялась на тех, кто отказывался покаяться. Поэтому сама инквизиция, будучи институтом церкви, не могла наказывать в таких случаях. Но суть дела заключалась в том, что ересь была преступлением не только против церкви, но и против государства. Дело инквизиции заключалось лишь в том, чтобы определить, являются ли подозреваемые еретиками или нет. Если после осуждения человек раскаивался, государству изначально нечего было сказать. Инквизиция, действуя от имени Церкви, налагала епитимью, как мы только что видели, как и на любого другого раскаявшегося грешника. С упрямым еретиком церковь ничего не могла поделать. Поэтому таких заключенных "расслабляли", то есть передавали светским властям, с формулировкой, что правосудие Божье больше ничего не может для них сделать, поскольку они упорствуют в восстании против него, и что, следовательно, только правосудие человеческое имеет над ними власть. Во многих более поздних приговорах формула продолжает, в соответствии с каноническими санкциями, просить государство назначить только такое наказание, которое не будет угрожать жизни или конечностям и не приведет к пролитию крови. С точки зрения закона, власть принуждения признавалась принадлежащей только государству.

Государство же признавало исключительное право Церкви определять, что является ересью, а - еретиками, признавало инквизиторов экспертами в этих вопросах, беспрекословно принимало их вердикт и незамедлительно приступало к вынесению и исполнению приговора. В формулу "послабления" входило, что еретики должны быть наказаны "по заслугам (*animadversio debita*)". Эта эластичная фраза могла быть по-разному истолкована в соответствии с различными местными законами. Всегда это означало конфискацию имущества осужденного. Папы, начиная с Александра III, считали, что к конфискации следует добавить изгнание. Конфискация была частью наказания за государственную измену, которое Священная Римская империя слово в слово скопировала со старого римского права. Поэтому, говорит папа Иннокентий III, еретики заслуживают конфискации своего имущества даже больше, чем предатели, поскольку они предают величие самого Бога, который, очевидно, выше всех земных государей. Великий папа упоминает о том, что по римским законам предатели лишались не только жизни, но и имущества, и что ересь - это измена Богу, Царю царей, но не доводит свои предпосылки до логического конца. Только спустя годы после его смерти появился хотя бы намек на то, что Церковь в целом желала смерти грешника, даже если он был еретиком.

Эта сравнительная мягкость никогда не была универсальной на деле и постепенно исчезла даже из теории. Во второй главе мы уже отмечали любопытное зрелище, которое представляли собой одиннадцатый и двенадцатый века: с одной стороны, многие представители высшего духовенства помнили о христианской традиции милосердия, а с другой - миряне и низшее духовенство настаивали на смерти для нераскаявшегося еретика, причем, как правило, на смерти через костер. Теперь мы должны отметить медленный прогресс, в результате которого закон Линча превратился в писанный закон. Еще до Альбигойского крестового похода было по крайней мере два случая, когда сожжение заживо официально устанавливалось в качестве наказания за ересь. Один из них - закон, принятый в 1194 году графом Раймондом V из Тулузы, в самом центре бури. Другой - закон Педро II, принятый в соседнем Арагоне в 1197 году против вальденсов. По закону Раймонда V тулузцы позже утверждали, что "сожгли многих". Но даже если принять их утверждение за правду (а это представляется сомнительным), то, во всяком случае, практика не была продолжена. Педро Арагонский постановил сжигать заживо только тех вальденсов и других еретиков, которые не покинут его владения к определенному дню, так что его ссылка на кол вряд ли была не более чем угрозой, призванной привести в исполнение реальное наказание - изгнание. Сам де Монфор на заседании парламента, которое он провел в Памье в 1212 году, чтобы укрепить свои позиции на юге, постановил в качестве наказания за ересь не более чем изгнание и конфискацию. Более важным, чем все предыдущие, является закон, принятый в Ломбардии в 1224 году императором Фридрихом II, по которому еретиков полагалось либо сжигать, либо вырезать им языки, по усмотрению судьи.

В соответствии с тем, что мы знаем об этой теме в целом, первое церковное признание смерти в качестве нормального юридического наказания за ересь должно быть косвенным. Совет, заседавший в Тулузе в 1229 году, в год окончательной капитуляции Раймонда VII, отметив, как обычно, что еретики должны подвергаться "надлежащему наказанию", вскользь говорит, что "...еретики, *которые под страхом смерти* или по любой другой причине, кроме собственной воли, возвращаются к вере, должны быть заключены в тюрьму епископом города для покаяния, чтобы они не развращали других" (Ванкандард). После этого примеры множатся под влиянием Фридриха II и папы Григория IX. Однако так случилось, что только в 1252 году какой-либо папа официально настоял на смертной казни за ересь во всем латинском христианстве. Это сделал Иннокентий IV в той же булле "*Ad Extirpanda*", которая разрешала пытки. После этого инквизиция была практически завершена.

Этот институт быстро распространился по всей Европе. Исключением стала Англия, где, как ни странно, учитывая неизбывную эксцентричность английского ума, еретиков не было до самого позднего времени. Там даже не было положения о сожжении еретиков, пока в 1401 году парламент не принял статут "de heretico comburendo". Менее удивительно, что в таких далеких регионах, как Скандинавия, не было еретиков, а следовательно, и инквизиторов. В горах Боснии катарское манихейство стало государственной религией и сохранялось до прихода турок, когда еретики приветствовали новоприбывших и перешли в ислам. Босния была захолустьем в Европе с тех пор, как римские дороги от Адриатики до Дуная пришли в упадок в Темные века - даже сегодня здесь много магометан.

За пределами Боснии в латинском христианстве не было места, где бы не укрывались еретики, и где инквизиторы не покончили бы с ними. Манихеи были полностью выкорчеваны, хотя их необычайная жажда мученичества сделала бы их полностью побежденными, если бы грубая глупость сегодняшнего дня по поводу "создания мучеников" имела под собой истину. В Лангедоке они продержались до XIV века. Вальденсы пали так низко, что конфискации их имущества не хватало даже на оплату расходов инквизиторов, не говоря уже об излишках для государства. Для всех практических целей они тоже были уничтожены.

Сопротивление не доходило до убийства одного инквизитора, что ничуть не сказывалось на деятельности учреждения, так как новые рекруты заполняли все пробелы. Таким образом, инквизиция завершила начатую Альбигойским крестовым походом задачу по сохранению морального единства Европы. Находясь под серьезной угрозой в начале XIII века, это моральное единство оставалось нерушимым вплоть до великого катаклизма XVI века.

Вопрос, который ставит инквизиция перед студентом, двоякий. Во-первых, стоило ли сохранять моральное единство Европы или нет, а во-вторых, были ли средства, с помощью которых инквизиция помогла его сохранить, хуже, чем болезнь, в долгосрочной перспективе? Естественно, если будет решено, что цель, к которой стремились, не имела ценности, то вполне вероятно, что каждый, кто так решит, не одобрит и средства, использованные для ее достижения. Но обратное не следует. Отнюдь не исключено, что любой опытный человек может решить в каком-то конкретном случае, что, хотя предложенная цель была благой, средства, с помощью которых она была достигнута, были злыми.

Что касается первого пункта, то здесь ответ напрашивается сам собой. Совершенно очевидно, что средневековый мир стоило сохранить. В самом деле, вместе с Периклеанской Грецией, Империей при Антонинах и, возможно, миром Викторианской эпохи, тринадцатый век знаменует собой одну из кульминационных точек человеческой истории. Правда, слово "средневековье" до сих пор используется в насмешку. Но, с другой стороны, практически все образованные люди, знакомые с этим периодом, признают такое употребление поспешным и поверхностным. Средневековье привлекает нас совершенством искусств и ремесел, живостью и живописностью жизни, непосредственностью чувств, отсутствием лицемерия, упорядоченностью и ясностью интеллектуальной жизни, прежде всего свободой от серьезных внутренних напряжений. Из нашего мира попеременно мрачных и аляповатых машинных уродств, бессистемного и бессодержательного мышления, мучений хронической промышленной гражданской войны мы с сожалением оглядываемся на них. В литературе XIII века мы видим европейский ум счастливым и творческим... в то время как сегодня он неуверен и близок к отчаянию. Мы видим наши типичные институты, такие как представительное правительство, более крепкими и энергичными, чем они есть сегодня. Об

этом свидетельствуют такие ярые поклонники духа нашего времени, как Г. Г. Уэллс и Генри Адамс, если назвать только двух случайных людей. Интересна исповедь непостоянного социалиста Уэллса. В 1914 году он вскользь писал о "...законченной и обогащенной нормальной социальной жизни западного европейца в Средние века....". Я назвал Уэллса важным только потому, что он (с его человеческой чувствительной пластинкой ума, способной воспринимать так много противоречивых впечатлений) так аккуратно излагает суть дела. У таких людей, как Честертон и Беллок в Англии и Крэм в Америке, оценка средневековья является самой сутью их мышления. Было бы легко утомить читателя примерами. Средние века притягивают нас, стоит только взглянуть на них.

Слабость Средневековья заключалась в четырех вещах. Во-первых, была недостаточная организация государственной власти и коммуникаций, о чем мы поговорим в другом разделе этой книги. Во-вторых, было очень мало "естественных наук", то есть детальных знаний о свойствах материального мира. Так, именно невежество в области медицины и санитарии привело к великому бедствию XIV века - моровой язве, "Черной смерти", которая нанесла средневековой системе удар, от которого она так и не смогла полностью оправиться. В-третьих, это жестокость, а в-четвертых, контраст между огромными предположениями, сделанными церковью, и недостатками и слабостями самого человека - как обывателя, так и церковника. И жестокость, и претензии Церкви тесно связаны с нашей темой.

Жестокость инквизиции больше всего проявляется в применении пыток и казней через огонь. Вопросы, касающиеся формы судопроизводства и сокрытия имен свидетелей, являются второстепенными. Для современного цивилизованного правительства, сильного в совершенстве коммуникаций и всех государственных полномочий, вполне достаточно тщательно защищать тех, кто обвиняется в преступлении. Условия Средневековья во многом напоминали пограничные районы, где преступник может легко ускользнуть. Когда это так, правосудие должно быть быстрым и страшным, используя "грубые и готовые" методы. Иначе она не существует. В минуты откровенности адвокаты обычно признают, что девять десятых клиентов, которых они защищают, "виновны как черт". Изошренные меры предосторожности нашей процедуры оправданы только на том основании, что лучше ошибиться, позволив многим виновным скрыться, чем наказать одного невинного. А эта теория, в свою очередь, обоснована только при условии, что значительная часть преступников не наносит серьезного вреда обществу, уходя от наказания благодаря вышеупомянутым правовым гарантиям. С другой стороны, если на карту поставлена жизнь или смерть общества, то дело должно идти по-другому. Возможно, хорошим примером для нашего времени может послужить военная юстиция. Очевидно, что поддерживать дисциплину в армии чрезвычайно важно. Соответственно, военным судам предоставляется широкая свобода действий. И все же почти единодушное мнение тех, кто компетентен судить, заключается в том, что при исполнении приговоров опытными офицерами судебные ошибки в системе военного трибунала крайне редки, и что, с другой стороны, такая процедура, как в гражданских судах, была бы разрушительной для всей надлежащей дисциплины, поддержание которой, в конце концов, является необходимой целью, к которой стремятся. Применительно к инквизиции, помимо мирского благосостояния общества, необходимо также учитывать доктрину исключительного спасения, как мы увидим через некоторое время. Широкая свобода действий, предоставленная инквизиторам, несомненно, порождала случаи несправедливости, но, вероятно, никакая система, допускающая "спорные перепалки юристов" (по выражению инквизиторских руководств), не смогла бы решить поставленную задачу.

Обвиняя инквизицию в физической жестокости при обследованиях и казнях, современный мир не приходит в суд с абсолютно чистыми руками. Даже исключение из рассмотрения России и Азии не совсем исправляет ситуацию. Например, жестокость проявляется, более или менее откровенно, когда белый человек контактирует с теми, кого он считает низшими расами.

Что касается допроса пленных, то вымышленный герой Киплинга, милый Малвэни, бьющий своего пленного бирманца чистящим прутом, чтобы выяснить местонахождение друзей-бандитов страдальца, может служить вымышленным примером той жестокости, которую часто практикуют цивилизованные армии, действующие против дикарей. Американская армия на Филиппинах, вместо того чтобы прибегнуть к таким примитивным методам, как порка, переняла пытку водой у местных жителей, которые, в свою очередь, научились ей у испанцев. На самом деле, это была одна из любимых пыток испанской инквизиции позднего средневековья и начала нового времени. Офицер, который ввел "лечение водой" в американской армии, случайно известен писателю, который может поручиться, что это очень добрый человек, который не причинит вреда даже насекомому, кроме как по долгу службы. Общеизвестно, что американский ум более гостеприимен, чем британский, к новым и незнакомым идеям. Даже в больших современных городах, в которых (по любопытной реверсии) появляются деградировавшие, преступные типы, аналогичные дикарям, пытки при допросе заключенных не являются чем-то совершенно неизвестным. Я имею в виду полицейскую "третью степень". Здесь факты не являются достоянием общественности, но есть все основания полагать, что пытки в различных формах используются при допросе заключенных, чтобы заставить их признаться и назвать своих сообщников. Нет необходимости вдаваться в достоинства и недостатки этой практики. Речь идет лишь о том, что мир еще не нашел способа полностью отказаться от применения пыток при допросе заключенных.

Тем не менее, между современным и средневековым применением пыток на экзаменах существует реальная разница. Сегодня это тайный прием, тогда же это было общепризнанным, привычным делом. И хотя эта разница отчасти объясняется нашей большей безопасностью, а отчасти - лицемерием, порожденным нашей характерной, почти женской, современной несклонностью смотреть в лицо неприятным фактам, все же верно, что в сознании людей европейского происхождения произошли реальные изменения в отношении к пыткам. Нас возмущают жестокости, которые не так давно, кажется, воспринимались почти как , настолько, что, как мы видели, они позволяли даже священникам присутствовать в камере пыток. Наши нервы более чувствительны, чем у наших предков, как отмечали Ницше и Гюисманс, но это не объясняет моральных изменений.

В отношении сожжения заживо положение несколько схоже. Здесь мы также имеем яркий современный пример, произошедший в регионе, где белый человек сталкивается с большим количеством людей той расы, которую он считает ниже своей собственной. Я имею в виду линчевание негров, обычно обвиненных в изнасиловании белой женщины, в южных штатах. Здесь сочетание изнасилования и расовых чувств привело к состоянию, очень похожему на то, что наблюдалось в Западной Европе в одиннадцатом и двенадцатом веках, когда еретики, а не негры-наильники, сжигались толпами. И здесь, наряду с поразительным сходством, есть и важные различия. Эта практика не показывает никаких признаков превращения в официальный писанный закон. Напротив, даже в соответствующих общинах наблюдается мощный организованный протест против нее. В то время как в раннем Средневековье только часть высшего духовенства может быть найдена в оппозиции, да и то

не в конкретной оппозиции к сожжению заживо, а в целом против любой смертной казни для еретиков.

Разительный контраст между средневековым отношением, после того как сожжение заживо стало писаным законом, и современным отношением к этому вопросу обсуждался во второй главе. Беллок использует факт этого контраста как иллюстрацию одной из главных трудностей истории - неуловимости "духа времени" прошлых эпох, того факта, что они принимали как должное некоторые первичные предположения, которые казались им слишком очевидными, чтобы их стоило фиксировать. Рассматривая это, он замечает, что искажение, которое этот неуловимый дух времени ... "как представляется, производит в морали, когда на нее смотрят через посредство другого духа, принадлежащего другому времени, нашему собственному"[32] Его первые иллюстрации этой истины взяты из Французской революции, от которой он переходит к обсуждению сжигания заживо в Средние века и ранний современный период, которое частично уже цитировалось в других местах этой книги.

У Фрэзера в "Золотой ветви" есть отрывок, подкрепляющий утверждение Беллока о символическом и квазисакраментальном духе, в котором рассматривалось сожжение заживо. Огонь был суверенным средством против колдовства. Было принято сжигать предметы, чтобы предотвратить их околдовывание, или предметы или животных, которые были околдованы, чтобы зараза не распространялась, или, наконец, сжигать самих ведьм. Наши современные южные линчевания на кострах должны предостеречь нас от излишней деликатности. Кроме того, верно, что сожжение заживо было римским наказанием за государственную измену, а также за колдовство и соответствовало традиционному отвращению церкви к кровопролитию - оно не проливали крови. И все же не исключено, что в Средние века между колдовством и ересью существовала взаимосвязь, поскольку и то, и другое было связано с представлениями о крайне вредоносных духовных силах - короче говоря, любимых отпрысках самого дьявола.

Конечно, впоследствии сожжение преступников стало торжественной церемонией, отнюдь не сопровождавшейся ненавистью к жертве. Об этом свидетельствуют примеры тех, кого задушили перед сожжением, как Савонаролу. Еще более убедительно это доказывает знаменитый случай с Жилем де Раисом. Этот случай уже упоминался во второй главе, но здесь он настолько актуален, что заслуживает более подробного повторения. Жиль был бретонским дворянином, одним из лейтенантов Жанны д'Арк, но впоследствии впал в колдовство, сексуальные извращения и всевозможные утонченные проявления жестокости. Когда инквизиция приговорила его к повешению и сожжению заживо по обвинению в поклонении демонам, он жестоко изменил свое мнение. Среди прочих назидательных знаков раскаяния он умолял людей, чьих маленьких мальчиков он похитил, затем развратил, а потом сотнями замучил до смерти, молиться за его душу. После чего они прошли процессией, горячо молясь о вечном спасении этого чудовища с его пристрастием к крайностям в обоих направлениях духовной жизни. После чего он был должным образом казнен. "Мы далеки от американского закона Линча", [33] как замечает М. Гюисманс, описывая эту сцену. В свете такого случая можно поверить вместе с Беллоком и Фрэзером, что то, что нам кажется зверской жестокостью, связанной с сожжением заживо, могло быть лишь побочным явлением по отношению к другим соображениям, занимавшим умы тех, кто отдавал такие приказы. Для него самого человек - непостижимая загадка.

Наконец, мы подошли к вопросу о претензиях Церкви. Я не ставлю перед собой задачу спорить об этих утверждениях, а просто изложу их в том виде, в каком они затрагивают моральную проблему инквизиции. Очевидно, что единственной причиной существования Церкви является вера в то, что в христианском откровении она имеет нечто высшее и уникальное для человечества. Афанасийский Символ веры, независимо от того, следует ли воспринимать его как проклятие язычников и "добросовестных еретиков", несомненно, должен быть истолкован как означающий, что те, кто "преступно упорствует" в еретической вере, не могут быть спасены. В Средние века христианские ученые расширили этот необходимый минимум, чтобы учение Церкви включало проклятие как язычников, так и всех еретиков, тем более что возможность существования ереси без определенного отречения от католической веры отдельного еретика вряд ли приходила в голову людям во всеобщем католическом обществе. Как мы уже видели, Церковь была цементом этого общества. Брак был одним из ее таинств и не имел ничего общего с гражданской церемонией. Нарушив Церковь, вы разрушаете семейную жизнь. Отказать ей в праве санкционировать присягу означало уничтожить важнейшую феодальную клятву верности. Поэтому люди без колебаний приняли идею о том, что подделывать веру хуже, чем подделывать земную монету, что предать Бога через ересь хуже, чем предать земного государя, совершив государственную измену. Эта нота снова и снова звучит в мрачных формулах, устанавливающих пытки и кол. Если человеческое правосудие жестоко карало меньшие преступления против людей, то тем более оно должно было карать большие преступления против Бога. Учитывая жестокое уголовное право того времени, а также Афанасийский Символ веры, восходящий к словам Господа: "Верующий и крестящийся спасется, а неверующий осужден будет" (Св. Марк хvi), и логическая последовательность завершена.

Тем не менее, даже во времена ясного, логического мышления, такие как Средневековье, люди редко действуют, руководствуясь только логикой. Поступать так - признак фанатика, и хотя фанатик часто бывает силен, большинство людей все же не фанатики, и ни одно общество не может долго управляться фанатизмом в чистом виде. После нескольких лет изучения и размышлений над этим вопросом я пришел к выводу, что действия Церкви и правительств XIII века определялись не только формальной логикой ситуации, но и особенно отталкивающей природой альбигойской ("катарской", или манихейской) ереси, главной ереси эпохи.

Как бы то ни было, но случилось так, что законы, подавляющие ересь, были кодифицированы острыми юридическими умами нового времени под воздействием конкретной ереси самого ненавистного сорта. Саймондс записал две миланские эпитафии, датируемые серединой XIII века. В одной из них архиепископ восхваляется за то, что он "... перерезал горло еретикам (... jugulavit haereses)". В другом подеста (главный исполнительный магистрат) города также восхваляется за то, что "он исполнил свой долг и сжег катаров (Catharos ut debuit ussit)".^[34] Историки, похоже, не заметили связи между этими двумя чувствами. Была ли бы ересь в целом так же жестко подавлена, если бы не существовало конкретной манихейской, альбигойской или катарской ереси, можно только гадать. Поразительно то, что время, которое могло восхвалять архиепископа за то, что он перерезал горло еретикам, считало ересь типичной для этой конкретной секты. Другая иллюстрация - известная история о святом Фоме Аквинском. Кажется, что величайший из христианских философов, однажды сидя за ужином с Людовиком Святым и его двором, внезапно выпалил (несомненно, глубоким голосом, соответствующим его массивной фигуре): "У меня есть убедительный аргумент против манихеев (Conclusum est contra Manicheos)"^[35] Многие студенты улыбались над чувствами придворных; для наших целей важно то, что до нас не дошло ни одного подобного современного анекдота о вальденсах, арнальдидах или любой другой из

многочисленных ересей того времени. Богословы учили, что любая ересь - это грех, отсюда и антиеретическое законодательство, и соответствующая задача по его исполнению. Огромная сила атаки на альбигойцев была вызвана тем, что рядовой христианин, оказавшись с ними лицом к лицу, решил, что долг - это удовольствие.

Правда, огромный двигатель, впервые приведенный в движение гневом против этой бесчеловечной секты, вскоре был обращен против всех еретиков, и этот факт не удивит никого, кто хоть немного разбирается в практической политике. Историк, когда он прокладывает курс государственного корабля, спокойно сидит в своем кабинете. Но сам корабль, когда он прокладывал курс, был разорван в разные стороны самыми яростными человеческими страстями, и так происходит до сих пор. Редко кто из офицеров и команды, когда шторм достигает своего апогея, может удержать судно в устойчивом положении. Чаще всего его курс становится таким же злобным, как у молнии. Не американцу с его отношением к Югу и негритянскому вопросу со времен Гражданской войны бросать камень в тринадцатый век.

В Лангедоке тринадцатого века, как и в Америке девятнадцатого века, война положила конец приятным различиям. Во время конференции в Памье в 1207 году, еще до начала Крестового похода, Петр де Во-Керне мог четко различать вальденсов и "еретиков" *par excellence*: то есть манихеев. В 1226 году, девятнадцать лет спустя, кардинал-легат Святого Престола убеждает Людовика VIII Французского напасть на город Авиньон, потому что там было много вальденсов, и это несмотря на то, что он был вотчиной Империи. С самого начала Церковь исходила из того, что врагом является сама ересь, а не какой-то отдельный вид ереси, каким бы отвратительным он ни был. Еще до окончания Альбигойского крестового похода мы видим, что эта теория воплощается в жизнь.

Что же мы должны сказать о государственных деятелях и их народах, которые поощряли или позволяли принять в качестве закона эту масштабную теорию, провозглашенную церковью? Очевидно, что люди XIII века не видели в этом никакой моральной проблемы, а лишь выполняли необходимую задачу. Никаким другим предположением нельзя объяснить успех, с которым были преодолены трудности на пути нового инквизиторского института. Так, например, существовал чрезвычайно деликатный вопрос о точном отношении инквизиторов к местным епископам. Если бы у светских властей было хоть малейшее желание помешать инквизиции, можно было бы легко переиграть одного против другого, ведь бедный средневековый правитель не мог добиться поддержки некоторых епископов практически по любому вопросу. Но ничего подобного мы не слышим. Напротив, сложный вопрос о соотношении инквизиторской и епископальной власти триумфально разрешается на практике без каких-либо серьезных заминок. То же самое происходит и с народным сопротивлением. Через большие промежутки времени мы иногда слышим о небольших бунтах, а то и об убийстве инквизитора. Но это редчайшие исключения из правил. Это легче понять, если осознать, что только в немногих центрах еретического сопротивления инквизиторская деятельность носила радикальный характер. Так, в Руссильоне, расположенном за границей Лангедока, атмосфера полностью меняется. Здесь благодаря тщательным исследованиям неутомимого М. Брутайса удалось обнаружить всего четыре приговора инквизиции.^[36] Все они направлены против баронов-разбойников, представителей того вредительского племени, деятельность которого мы уже отмечали. Что случилось с двумя из этих несчастных, неясно. Те, чья судьба известна, понесли наказание лишь в виде выкапывания и торжественного сожжения их мертвых костей, в одном случае через сорок лет после смерти. Суровость инквизиции, хотя она и занимает огромное место на объемных страницах "Леа", была нечастой и локальной для всего христианства XIII века.

Более того, эти редкие и локальные суровые меры обычно применялись против "альбигойских" еретиков, которые пользовались заслуженным отвращением. Только двести лет спустя, в фантастическом и застойном конце Средневековья, мы находим что-то похожее на царствование террора. Тем не менее, основная идея всего этого дела настолько чужда нам, что мы едва ли можем ее понять.

Даже чтобы приблизиться к пониманию такой вещи, необходимо говорить притчами. Итак, давайте представим себе сцену среди теней. Призрак схоласта XIII века беседует с другими призраками - древним римлянином, мудрецом Индостана, мандарином из Китая и американским гражданином.

"Правительство есть правительство, - говорят последние четверо, - а религия есть религия. Если люди согласны жить в мире друг с другом и подчиняться закону, то они не должны соглашаться и в отношении божественных вещей, и это доказывается тем, что мы сами видели и знали. Если кто преступит закон, пусть будет наказан. Но пусть он поклоняется любому Богу или никакому, как ему угодно, лишь бы он не оскорблял религиозного чувства и чувства приличия своих соседей, особенно если большинство из них согласны в таких вопросах".

На что схоласт: "От вас, восточных и древнеримских, эти слова мало что значат. Ни один закон естественного права не лежал в основе ваших государств. Когда хоть один из вас утверждал, что существует Бог, в глазах которого все люди равны? Вместо этого вы придерживались рабства и глубочайшего неравенства между людьми. Мы боролись больше вас, потому что стремились опираться на вечную справедливость. В наших глазах было справедливо, чтобы каждый человек пользовался всеми плодами своего труда, оставляя лишь налог, который платится тем, кто воюет, судит или управляет. И чтобы такая справедливость могла восторжествовать, необходимо было, чтобы Церковь была сильна, чтобы на основе четких предписаний установить долг каждого человека по отношению к своему ближнему".

"Завоеванный сарацин в Испании и Сицилии был лишь исключением, терпимость к нему не приносила вреда. Более серьезным исключением был еврей, ибо по слабости людей ему было удобно разрешать обычаи, запрещенные христианам. Тем не менее он был отдельной расой. Но чтобы меч Евангелия терял свое острие, притупляясь и раскалываясь от неосвященных толкований людей, называющих себя христианами, - это было для нас непереносимо. Ибо среди такого лепета языков мы боялись, что люди не будут слушать никого, но будут следовать своим жадностям и похотям, куда бы последние ни привели, пока распри между ними не прекратятся только от усталости".

После того как он закончил говорить, наступила тишина. Затем американец отвечает и говорит: "Это правда, что люди должны согласиться, в некотором роде, в том, что правильно, и это правда, что это трудно. Но вера - это вера, а люди - это факты. Более того, раз уж мы заговорили о вере, существует гражданская вера, которая стремится связать людей на земле, независимо от того, откуда они пришли туда и куда они пойдут. Но вера или не вера, люди как граждане должны тонуть или плавать вместе, и если они не могут договориться о вещах этого мира, они непременно погибнут. О Боге они никогда не смогут договориться, поэтому пусть расходятся так мирно, как только могут".

"Но разве не правда, - говорит схоласт, - что вы потерпели неудачу? Ведь тени, недавно пришедшие сюда из солнечного света, говорят, что в верхнем мире все чаще и чаще в

городах происходят распри между богатыми и бедными. Даже в твоей стране есть много тех, кто зовется свободным, но не владеет ничем".

"Это так, - ответил американец, - но мой друг приезжал сюда только на днях и сказал, что они еще не потерпели поражения".

ССЫЛКИ:

[32] "О чем угодно", Hilaire Belloc, p. 72 и далее.

[33] Huysmans' "Là-bas", p. 439.

[34] "Возрождение в Италии", Джон Аддингтон Саймондс, издательство "Смит, Элдер и Ко", Лондон, 1904. Сноска к с. 129 тома I трактата "Католическая реакция".

[35] "Mont St. Michel and Chartres", Adams, *supra*, p. 348.

[36] "Etude sur la Condition des Populations rurales en Roussillon." Pp. 297, 298.

ГЛАВА VII. ЭПИЛОГ О ЗАПРЕТЕ.

В воображаемой дискуссии, которой завершается последняя глава, я намеренно не упоминаю о запрете. Если бы схоласт настаивал на этом пункте, как на примере религиозного преследования по закону, американцу пришлось бы рассматривать движение за запрет как исключение, паразитический нарост, который закрепился на Конституции. Тогда ему было бы трудно поддержать аргумент. В мире теней или в любом другом месте, где есть время свести все к главному, определяющий фактор религиозных преследований в движении за запрет должен быть признан.

Как уже говорилось в предисловии, именно шок от осознания этого факта (благодаря общению с агитаторами запрета во время работы в Ассамблее штата Нью-Йорк) заставил настоящего писателя изучить создание инквизиции как единственный сравнимый пример столь радикального вмешательства религии в политику. Во всей долгой истории христианства нет ни одного третьего случая столь систематического и масштабного религиозного преследования. Поначалу писатель полагал, что одного лишь рассказа о политической и военной борьбе, приведшей к учреждению инквизиции, будет достаточно, чтобы читатель смог воочию убедиться в истинной природе "Запрета". Однако в ходе неизбежных задержек последних нескольких лет от этого первоначального убеждения пришлось отказаться. В результате многочисленных бесед на эту тему писатель теперь считает, что реальные силы, ответственные за "Запрет", достаточно неправильно поняты, особенно среди протестантов, и поэтому в эпилоге желательно показать существенную связь между сектантским протестантизмом и "Запретом", истинную природу "Запрета" как сектантско-протестантского, религиозного преследования и, наконец, сходство и различия между "Запретом" и инквизицией тринадцатого века.

Когда началась письменная история, все цивилизованные и получивилизованные люди, а также многие дикари, как выяснилось, пили какой-нибудь перебродивший ликер, вино, сидр

или один из многочисленных видов пива. За пределами письменной истории традиция гласит, что эта практика существовала с незапамятных времен. Ни один народ не передал из уст в уста историю о том, что в раннем прошлом такой алкоголь не был неотъемлемой и привычной частью ежедневного рациона, обычно во время еды. Правда, греки говорили, что Вакх-Дионис пришел из Азии, принес с собой виноградную лозу, младшую из богов, и некоторые ученые считали, что это свидетельствует о памяти о том времени, когда первобытные греки были бескорыстными несчастными. Однако этот аргумент не выдерживает критики. Ведь, во-первых, даже если представить себе раннее время, когда греки не пили вино, ничто не доказывает, что они не знали другого вида брожения, как это делали галлы до завоевания их Римом. Более того, в "Илиаде" и "Одиссее" люди пьют вино, но, похоже, ничего не знают о его божестве; оно было знакомо, но еще не было священным.

Кроме того, бродильные напитки были распространены повсеместно и использовались практически одинаково. Это был предмет ежедневного рациона, настолько, что без него не обходилась ни одна трапеза. На праздниках и фестивалях его пили более свободно. Пьянство было крайне редким явлением. Ветхий Завет предполагает, что люди должны "вставать рано утром" и "продолжать до ночи", прежде чем вино "разгорячит их"[37], и порицает тех, кто упорствует в этом. У греков был обычай смешивать вино с водой, несколько частей воды к одной части вина. Шлиман говорит о надписи, фиксирующей закон одного из ионийских городов, который предписывает наказание за употребление неочищенного вина. Один из ранних вавилонских сводов законов предписывает суровые наказания владельцу любой винной лавки (англичанин назвал бы его "мытарь", а американец - "владелец салуна"), в которой происходит беспорядок. Однако читатель должен быть предупрежден, что опасность беспорядков в то раннее время, несомненно, была связана как с присутствием большого количества незнакомых друг с другом людей, так и с выпивкой, которая там происходила. В любом случае, примеров из древнееврейского и древнегреческого языков достаточно, чтобы доказать, как относились люди самого раннего исторического времени к случаям пьянства (очевидно, редким), которые они видели. Не успел острый греческий ум развиться и начать анализировать, как он заложил общий принцип воздержанности как одной из главных добродетелей. В конкретном случае с ферментированными напитками, который мы сейчас рассматриваем, Беллок аккуратно заметил: "Было замечено (также с незапамятных времен), что если человек пил слишком много любого из этих напитков, он пьянел, и если он часто напивался, его здоровье и способности ухудшались"[38] Вот вам и историческая справка.

Учитывая древнее повсеместное употребление перебродивших напитков, а также признание редкого зла привычного пьянства, поучительно отметить, что до XVI века в Европе и на Ближнем Востоке (за одним исключением) нет сведений о привычном употреблении дистиллированных спиртных напитков и (опять же за одним исключением) нет сведений об идее греховности пьянства.

Сначала о дистиллированных спиртных напитках. Дистилляция напитков была известна еще в Древнем Китае. Первые европейские мореплаватели, побывавшие на Таити, обнаружили, что дикари практикуют ее, что указывает на вероятность ее большой древности в этом застойном, примитивном обществе. Само слово "алкоголь" арабского происхождения, как и многие другие похожие слова, такие как "алембик", "алгебра" и т. д. Сладкие, ароматные ликеры, производимые средневековыми монахами (бенедиктин - бенедиктинцами, шартрез - карфузианцами и т. д.), вряд ли являются исключением из правила, поскольку по своей сути они являются скорее сердечными напитками, чем напитками. Бренди (жженое вино, брантовое вино, брендевин, бренди-вино) было известно во Франции с XIV века, но, похоже,

его пили в основном как сердечный напиток, как это происходит и по сей день в этой стране. Во всяком случае, скудные упоминания о нем свидетельствуют о том, что оно мало использовалось. Единственным значительным исключением является употребление виски (usquebaugh, произносится "вискибау") среди горных шотландцев и ирландцев. У этих народов виски был традиционным. Древнеирландские эпосы о Кухулине и Финне полны упоминаний о нем, как и гомеровские поэмы о вине. Хотя споры о датировке ирландских эпосов можно смело оставить специалистам, совершенно очевидно, что они появились задолго до шестнадцатого века. Как и вино, пиво и сидр у других народов Европы, виски у ирландцев, безусловно, возникло еще до начала письменной истории. Но в Европе до шестнадцатого века его употребление ограничивалось Ирландией и Шотландским нагорьем.

То, что употребление перебродивших спиртных напитков греховно, было неизвестно, как неизвестно было и употребление дистиллированных спиртных напитков. До XVI века мы находим аскетов или избранные ордена, отказывающиеся от вина, но всегда, как истинные аскеты, либо с идеей сделать свое воздержание отличительным знаком, либо с идеей отказа от удовольствий, законных или даже необходимых для общества в целом, ради особой практики в самоконтроле. Так, среди древних евреев некоторые мужчины посвящали себя в "назарее Господу" и в качестве таковых давали обет никогда не пить вина, не стричь волосы и бороду. Чаша с вином была не большим злом, чем ножницы, воздержание от того и другого было лишь отличительным знаком особого посвящения. Точно так же аскетичные христиане отказывались от вина, кроме как в причастии; пример тому - святой Доминик. Он был трезвенником в течение многих лет, но в конце концов отказался от этой практики. Здесь речь идет о полной преданности служению Богу. Даже вполне законные и правильные удовольствия должны были быть свободно отложены человеком, чтобы все плотские желания как таковые были "умерщвлены", и чтобы душа даже на волосок (через мгновенное наслаждение "творениями") не рисковала отклониться от полной и абсолютной преданности Творцу. Аскетичные христиане были склонны отказываться от мясной пищи даже чаще, чем от вина. И, конечно, никто, кроме самых яростных еретиков, никогда не утверждал, что в употреблении мяса как такового есть что-то греховное. Такие отказы были всего лишь двумя из многих форм самонавязанной "дисциплины". В том же духе благочестивый мирянин, подобно святому Людовику, мог воздерживаться от супружеских отношений во время поста. Помимо практики всеобщего аскетизма, древний и средневековый мир знал лишь один великий пример страха и ненависти к вину. Этим ужасающим исключением стало учение Магомета.

Однако в самом христианстве теологическое и моральное влияние ислама было незначительным. Единственное из различных магометанских нововведений в области морали, которое нашло хотя бы краткий и частичный отклик среди христиан, - это запрет Пророка на изображения. Что касается обсуждаемого вопроса, употребления вина, то учение Мухаммеда не нашло отклика у наших предков. Наставленные в христианских традициях, с браком в Кане и таинством, постоянно находящимся перед ними, фанатики-трезвенники не смогли овладеть ими. Летописцы говорят о нем лишь как о странности, подобной еврейскому табу на свинину, которое магометане также скопировали.

Так обстояли дела до великого разрыва с традицией в XVI веке. Когда конвульсии религиозных войн прекратились, Скандинавия, северные германские страны, включая Голландию, и особенно Англия предстали в определенном противостоянии с тем, что осталось от морального единства Европы. Разрыв был разным по степени, так как Англия сохранила основную кафоличность своей национальной церкви, хотя и почти задушенную массой протестантских нововведений, в то время как Северные Германии полностью отпали.

Тем не менее в то время разрыв казался окончательным и в Англии. Со времен Константина, принявшего веру, не было такой резкой смены направления, такого сознательного отказа от ближайшего прошлого. Можно даже сказать, что разрыв XVI века был более значительным из двух, поскольку новаторы XVI века презирали своих предков так, как ранние христиане никогда не презирали язычников. Теологические споры, определившие эту капитальную перемену, нас здесь не интересуют, но только то влияние, которое оказало принятие протестантских догм на мораль и, следовательно, в конечном счете, на социальную структуру христианства.

Католики обладали и, разумеется, до сих пор обладают всеохватывающей, аргументированной схемой этического учения. Эта этическая схема была заимствована церковью у древних греков, и особенно у Аристотеля. К аристотелевской этике были добавлены (подобно надстройке, которая расширяет, а не нарушает первоначальный замысел здания) христианские богословские добродетели и сопутствующие им пороки. В соответствии с этой широкой схемой серьезные моральные проступки классифицировались по тем или иным "семи смертным грехам" - гордыне, зависти, гневу, скупости, чревоугодию, лени и похоти.

Эта этическая структура, созданная совместно греческим гением и христианским откровением, была настолько разрушена протестантизмом, что средний протестант наших дней, даже будучи образованным, не может даже сказать, что такое семь смертных грехов. Немногие протестанты, если их заставить задуматься с помощью сократовских вопросов, не согласятся с реальностью всех семи. Тем не менее на практике протестанты вообще перестали считать большинство из них грехами. Пусть читатель, склонный сомневаться в столь огульном утверждении, просто потрудится опросить нескольких своих друзей. Если же он предпочитает подходить к этому вопросу через общие, а не частные примеры, пусть на мгновение задумается о современном индустриальном обществе, а также о всеобщей и ожесточенной борьбе между "капиталом" и "трудом", которая возникла в этом обществе. Затем пусть он вспомнит, что современный индустриализм зародился в Англии - стране протестантской по нравам и морали, где католический характер самой национальной церкви так часто игнорировался и понимался неправильно. Пусть он также помнит, что за пределами Англии промышленная система пустила глубокие корни в протестантских северных германиях и в протестантских Соединенных Штатах. Несмотря на свой материальный успех, в католических странах ей лишь частично подражали по этим протестантским образцам. Рассмотрев эти очевидные и неоспоримые факты, пусть он вспомнит, что на протяжении веков ни одному из ста протестантов, даже среди образованных людей, не было ясно сказано, что такие вещи, как скупость, лень и зависть, являются грехами. Затем пусть он отрицает, если сможет, то, что протестантизм разрушил то, что когда-то было симметричной структурой христианской морали.

Вместо всеобъемлющих, обоснованных этических принципов протестант установил фрагментарные табу. Отвергая христианскую традицию, он был вынужден строить только на Писании. Ни в одной из канонических книг он не мог найти этических принципов Нового Завета с их следствиями, собранных в согласованное руководство по этике. Более того, ранние, формирующиеся протестанты отдавали огромное предпочтение Ветхому Завету, который показывал древних евреев на стадии табуированной морали, а не специфически христианским традициям исторической Церкви. Табу - это стадия, на которой мораль не является вопросом обоснованных общих принципов поведения, а состоит лишь из разрозненных запретов на конкретные действия. Конечно, в католицизме есть свои табу, например, воздержание от мяса по пятницам, но это скорее знаки отличия религиозных

обрядов, чем общие правила поведения. В своей Библии, которую он очистил от традиций, протестант нашел древние иудейские табу, впечатляюще кодифицированные, в отличие от христианских принципов, разбросанных по Новому Завету. С его исповеданием христианства, отказом от христианской традиции и глубоким восхищением древними евреями его этический курс был ясен. Ту часть католической морали, которая не могла быть выражена в твердых и жестких табу, он не отрекся, но постепенно позволил забыть. Так было, например, со скупостью и завистью. Соответственно, мы видим, что великие призывы власти и социального отличия присуждаются в результате успешной скупости в погоне за богатством; зависть безудержна, а леность бессовестна как в "капризном" рабочем, который ограничивает свою производительность, так и в богатых, которых обычай больше не обязывает выполнять какие-либо услуги или обязанности в обмен на заложенную в них экономическую власть. С другой стороны, протестантизм концентрирует свой моральный пыл на тех элементах традиционной христианской морали, которые могут быть даже приближены к ней через табу. Поэтому незаконные половые связи и излишества в еде и питье особенно осуждаются. С течением времени, поскольку дурные последствия переедания были менее очевидны, чем последствия пьянства, последнее стало стоять в одном ряду с прелюбодеянием и блудом в качестве мишени для протестантской моральной атаки. Сегодня образованные протестанты иногда говорят вам, что христианская жизнь состоит главным образом в том, чтобы воздерживаться от женщин, кроме своей жены, и от выпивки!

Конечно, такая позиция является отступлением от здоровой европейской традиции, которая считала грехи, проистекающие из избытка естественных чувственных желаний, гораздо менее отталкивающими, чем подлые и отвратительные грехи, кульминацией которых является предательство, проистекающее из извращения духовной природы человека.

Но протестантизм пошел еще дальше. В самом его начале Лютер в своем "Обращении к немецкому дворянству" (1520 г.) предложил не соблюдать "...дни всех святых с их гуляньями, кроме воскресенья". И не успел протестантизм достичь своей наиболее развитой формы при Кальвине, как он начал организованную войну против народных праздников и всей декоративной стороны жизни. Фанатики, ставшие острием его копья, прониклись идеей, что Богу можно поклоняться только умом. Процитируем Честертона о пуританизме (английской форме кальвинизма): "Лучше поклоняться в амбаре, чем в соборе, по той лишь причине, что собор был красив". Физическая красота была ложным и чувственным символом, стоящим между интеллектом и объектом его интеллектуального поклонения..... Поэтому нечестиво поклоняться... танцуя, или пить причастные вина, или строить красивые церкви, или произносить молитвы в полусонном состоянии"[39].

Естественно, что при абсолютном разводе красоты и святости следовало ожидать, что красота должна считаться по сути злом. Более того, при такой системе пуританам было необходимо не только избавиться от красоты, но и от развлечений, чтобы (в нерабочее время) людям было чем заняться, кроме как размышлять над своей теологией и искать ее подтверждение в Библии.

Разумеется, столь оголтелый и отталкивающий фанатизм, стремящийся навязать свою тиранию людям-христианам, сам по себе не смог бы пробыть. Даже гнев, охвативший тогда всю Европу в связи со скандалом, устроенным церковной властью, был бы недостаточной маскировкой для подобных бесчинств. Но за фанатиками стояли представители меркантильного класса, на чьи плечи авантюристы уже начали сыпать золото Индии. Эти "экономические люди" увидели свой шанс. У масс, лишенных праздников и удовольствий, появится больше времени не только для прослушивания проповедей, но и для работы. Ведь

негласным кредо этих людей становилось то, что бедняк, который должен добывать свой хлеб в поте лица своего, существует главным образом для того, чтобы они могли "быстро разбогатеть". Благодаря своему влиянию купцы стали движущей силой фанатиков. В Англии протестантизм не сразу перерос в пуританство под сильным влиянием Кальвина, чей Бог, как говорил Уэсли, обладал точными функциями и атрибутами дьявола.

Вдохновленные таким божеством, пуритане начали действовать. Театр, танцы, карточная игра и т. д. были им отвратительны. Более того, и в этом вся суть дела, они сочли за благо сделать все возможное, чтобы заставить других людей, равнодушных или враждебных к их необычным убеждениям, жить по их мрачной моде. К черному стыду пуританства с его прославлением частного суждения, оно никогда не довольствовалось, когда было у власти, указанием своим приверженцам практиковать свой особый вид праведности и оставлять других на их собственную совесть. В этом, как и во многом другом, пуританин ближе по духу к магометанству, чем к исторической церкви. Действительно, соответствия между пуританством и магометанством в отношении изображений, обрядов, разводов, выпивки и т. д. заслуживают большего изучения, чем они получили. В самом крайнем случае Церковь претендует на юрисдикцию только над теми, кто принадлежит к дому веры. Пуританизм стремится наложить свои запреты даже на чужака, входящего в его ворота.

Кроме того, пуританство содержит существенный элемент лицемерия. В определенной степени это заслуга самого основателя Кальвина. Вместо тайной аурикулярной исповеди или общей исповеди он мог заменить лишь деятельность "...добрых людей... которые должны быть выбраны из разных кварталов города, чьей обязанностью было доносить на злодеев священникам, чтобы те наставляли их или отстраняли от Вечери" ...[\[40\]](#) имея в виду причастие. Комментарии по поводу такого пахучего комитета излишни.

Кроме того, типичное пуританское лицемерие проистекает из ярко выраженного меркантильного элемента, присутствовавшего в пуританстве с самого начала. Богатый человек, отстаивающий пуританские табу в целях поощрения аскетизма среди своих рабочих, может исповедовать пуританство или нет, но он очень редко чувствует себя обязанным жить в соответствии с ним. Разумеется, благодаря возможности уединения, которую дает богатство, ему легко избежать открытого скандала.

Помимо извечной пуританской привычки подговаривать членов общины шпионить друг за другом, и, во-вторых, того, что пуритане придают большое значение экономическим мотивам, как их видит купец или торговец, есть еще и третья причина, порождающая лицемерие среди пуритан. Это влияние разума (в сочетании со смутным наследием многовекового католицизма), демонстрирующего незначительность проступков, которые пуритане стараются обличать, по сравнению с низкими грехами. Поэтому мы видим, как многие пуритане, по сути своей порядочные люди и полезные члены общества, все это время бессовестно нарушают табу, например, табу на выпивку, которое они соблюдают на словах. Конечно, во всех обществах и религиях есть свои лицемеры, но лицемерие пуританства превосходит их всех.

Можно возразить, что надуманно считать протестантизм шестнадцатого века (с его английским развитием пуританства) причиной промышленных распри двадцатого века. Почему же тогда промышленный конфликт не возник раньше, в частности, почему он не возник в те времена, когда протестантская философия (или, если читатель предпочитает, протестантская "догма") была гораздо более ясной и более интенсивной? В любом случае, как можно считать, что система, созданная в основном купцами и торговцами, стала

причиной зависти и лени, которые вызывают и сопровождают наши промышленные распри?

Ответ заключается в том, что протестантизм появился как раз в начале современного усиления власти над природой, которое в течение трехсот лет продолжало открывать новые земли для колонизации и в то же время совершенствовало технику сельского хозяйства и увеличивало количество продуктов промышленности. Все это привело к беспрецедентной в истории трехвековой экспансии. В начале этого периода была установлена протестантская догма, согласно которой частное суждение человека в вопросах религии было выше корпоративного религиозного авторитета. Такое учение неизбежно порождало одиночество в душе. Но в большинстве своем люди по-прежнему ощущали себя членами друг друга, поскольку постоянное расширение территории ослабляло давление конкуренции между классами и отдельными людьми. Любой житель более густонаселенных регионов, недовольный своей участью, видел, что его манит граница. Экспансия, как и в двенадцатом веке, способствовала оживлению умов, но, в отличие от двенадцатого века, в этом нраве было слишком много презрения к прошлому (из-за разрыва с традицией в шестнадцатом веке, а также из-за беспрецедентной экспансии); в то время как двенадцатый и тринадцатый века чувствовали, что они лишь частично отвоевывают римский порядок. Отсюда наивная вера в "прогресс" как таковой, достигшая кульминации в конце XIX века, и столь же наивная иллюзия, что физическая наука сама по себе каким-то образом обеспечит счастье.

Хотя полное воздействие зла было отложено до наших дней, тем не менее обвинение в адрес современного индустриализма не ново. Едва ли так называемая "промышленная революция" привела к тому, что зло в высшей степени распространилось за пределы протестантских обществ, доминирующих в нашем мире, как обнаружилась изнаночная сторона этого бизнеса. В Англии XIX века (родительнице и, до вчерашнего дня, центре этой системы) индустриализм подвергался активным нападкам со стороны таких людей, как Диккенс, Рёскин и Уильям Моррис. Но протесты не были эффективными, так как, несмотря на них, благодушие оставалось типичным настроением викторианской эпохи. Возникшие в результате этого разрушительные политические движения и забастовки уже были тоскливо знакомы до 1900 года. Протестантизм, разрушив корпоративные религиозные узы, которые делали людей членами друг друга, высвободил разрушительные силы в человеческой природе, которые невозможно было контролировать. Кстати, действие этих сил как раз противоречило "экономическим" намерениям, присутствовавшим в сознании многих первых протестантов! Еще до 1914 года было очевидно, что ситуация становится серьезной, а теперь напряжение Великой войны настолько усилило промышленные трения, присущие нашему обществу, что эти трения стали главной проблемой, стоящей перед цивилизацией.

Хотя насущный характер проблемы нашей хронической промышленной гражданской войны теперь признан во всей полноте, природа самой проблемы все еще неверно диагностируется. В качестве корня проблемы обычно называют "промышленную революцию", в то время как промышленная революция лишь полила злое семя, посеянное в шестнадцатом веке моральными изменениями в Европе. Так и движение за запрет не рассматривается в его истинном свете как результат продолжающейся деятельности того же самого духа, который привел к нравственным изменениям шестнадцатого века, то есть союза между узким религиозным фанатизмом с одной стороны и алчностью торговца и "капитана промышленности" с другой. Принятие американской поправки о запрете совпало по времени с окончанием Великой войны, в результате которой разгорелась промышленная борьба. Для тех, кто достаточно просвещен, чтобы понять, что запрет и промышленный раздор - дети протестантского духа, это совпадение является символом и предупреждением.

Напомним: протестанты шестнадцатого века провозгласили верховенство частного суждения над корпоративным религиозным авторитетом. Медленно, но неотвратно такая доктрина, сделав религию не корпоративной, а личной, ослабила связи между человеком и человеком. Обратите внимание, как из образовавшегося заслона между отдельными людьми и классами возникает тот злой лес недовольства, который омрачает христианский мир в наши дни. В странах, где крупные помещики и торговые классы, действуя под прикрытием узкого энтузиазма фанатиков, одержали свой великий триумф в шестнадцатом веке (в Англии, Голландии и Северных Германиях), этот триумф привел к конфискации церковной собственности государством и ее быстрому поглощению не народной массой, как во Франции после революции, а самими вышеупомянутыми крупными помещиками и купцами. Благодаря возросшему влиянию, вызванному этим увеличением их богатства, они смогли постепенно вытеснить фермеров и в торговле и промышленности заменить систему гильдий неограниченной конкуренцией; но напряжение, которое в противном случае быстро ощущалось бы в протестантских обществах, было ослаблено, как мы видели, великим веком экспансии. Когда новые открытия конца XVIII и начала XIX веков привели к промышленной революции в Англии, эта революция произошла в обществе, в котором масса людей уже забыла о своей прежней экономической свободе. Они уже привыкли к тому, что в их экономической жизни доминируют купцы и лендлорды (над которыми они не имеют никакого контроля), не признающие никакого определенного морального авторитета. За двести лет, прошедших с начала этого процесса, стало казаться естественным, что немногие контролируют средства производства и что эти немногие, богатые, смотрят на бедных людей в основном как на инструмент для своего дальнейшего личного обогащения. Именно из-за разрушительных моральных изменений XVI века и ни в коем случае не из-за какого-либо качества, присущего новым машинам, открытие этих последних так сильно способствовало несчастью и раздорам. Правда, машины чрезвычайно ускорили длительный процесс, который уже привел наемного работника от христианской свободы, которой пользовались его предки, к чему-то очень похожему на крепостное право. Но главное, что необходимо понять, - это то, что машины *лишь* ускорили этот процесс, они не привели к нему и не изменили его природу.

Неотъемлемой частью всего этого было движение за запрет. Запрет уходит корнями в великие победы фанатизма и жадности в шестнадцатом веке. Он появился на земле благодаря открытиям в области физической науки, которые повлияли на общество, окрашенное протестантскими победами, хотя сами по себе эти открытия не имеют никакой связи с моралью. Она одержала великую победу в Америке и пытается вторгнуться в Англию в настоящее время, когда напряжение хронической промышленной войны стало острым и всемирным.

Историческая связь между протестантизмом и запретом мало изучена. Тем не менее ее очертания предельно ясны. Запрет не был одним из первоначальных протестантских табу. Даже пуритане и, насколько известно, анабаптисты (которые вместе составляли "крайне левую" секту XVI века) не были готовы настолько полностью отказаться от христианской традиции, чтобы считать бродильные напитки греховными. Но протестантизм *par excellence*, то есть пуританство (от его первоначального убеждения, что поклонение возможно только через разум и никогда через чувства), начал с разрыва религии с красотой и перешел к ненависти к декоративной стороне жизни и особенно к простым удовольствиям населения.

Протестантские общества создали современный индустриализм с его массами деградирующих пролетариев. Как открытия в области физических наук усилили зло индустриализма в целом (хотя и не создали его), так и в конкретном случае с напитками

коммерческая дистилляция "крепких" спиртных напитков еще больше усилила зло неводержанности. Последовательность действий очевидна как в общем, так и в частном случае. Уже в шестнадцатом веке протестантизм породил пролетариев и общественное пьянство в таких масштабах, что первые законы против пьянства появились при Эдуарде VI, а при Елизавете был принят первый Закон о бедных, учреждавший работные дома. Пока отец Эдуарда и Елизаветы, Генрих VIII, не упразднил монастыри, которые дополняли гильдии в том, что мы должны назвать "социальной работой", не было необходимости строить работные дома для бедных и сажать в тюрьму пьяниц. Конечно, очевидно, что нужда и пьянство, как привычный результат нужды, росли. И все же крепкий алкоголь не был в изобилии в Англии до самого конца семнадцатого века. Во времена Генриха VIII в Англии было открыто несколько винокурен по производству виски, но пиво по-прежнему оставалось повседневным напитком англичан, а вино - английских джентльменов.

Только в 1689 году, когда правительство отменило все ограничения на дистилляцию джина, в Англии стало много крепких спиртных напитков, и тогда они стали изобиловать с неистовой силой; процесс пролетаризации продолжался уже более ста лет. Чтобы завершить череду протестантизма, пролетариата и крепкого алкоголя, появилась доктрина о врожденной греховности пьянства. По-видимому, впервые ее проповедовали методисты XVIII века, которые появились как отдельный раскол от Англиканской церкви в 1740 году. Тридцать лет спустя их учение стало достаточно привычным, чтобы его заметили в театре. В песне о выпивке в первом акте пьесы Голдсмита "Она стремится завоевать", впервые поставленной в 1773 году, мы находим следующие строки:-...

"Когда приходят методистские проповедники,

Проповедуя, что пить грешно,

Я ставлю на этих негодяев крону.

Они всегда лучше всего проповедуют с помощью скинфула....".

К середине девятнадцатого века другие секты, пресвитериане, индепенденты или конгрегационалисты и баптисты, вслед за методистами приняли магометанский фанатизм полного воздержания.

Последний шаг - попытка заставить всех быть трезвенниками с помощью запретительных законов - был сделан не в Англии, где полное воздержание было впервые проповедано во имя религии, а в Америке. В Англии сектанты-"нонконформисты" всегда были в меньшинстве, а после недолгого господства пуритан в XVII веке нация ожесточенно ополчилась против них. В Америке, напротив, они с самого начала составляли большинство. Виргинию заселили англикане, Мэриленд - католики, но остальные английские колонии были почти поголовно пуританскими. Колония Массачусетский залив с момента своего основания в 1629 году на протяжении более полувека была абсолютной теократией конгрегационалистов.

В Англии, во время недолгого правления пуритан (1649-60 гг.), сектанты использовали всю мощь государства для подавления народных праздников и декоративной стороны жизни. Было запрещено праздновать Рождество и Пасху. На другом конце шкалы запрещалось приманивать медведей, "не потому, что этот спорт причинял боль медведю, а потому, что доставлял удовольствие зрителям", как выразился Маколей в знаменитой фразе. В одном из своих кульминационных злодеяний - закрытии театров - пуритане проявили характерное для них лицемерие. Вместо того чтобы откровенно признать, что театральные представления оскорбляют их особую религию, они привели в качестве причин для их закрытия чуму и

Гражданскую войну. Но когда чума и гражданская война прекратились, разрешили ли они вновь открыть театры? Ни в коем случае. Танцы и карточная игра считались у них кардинальными грехами. Их одежда должна быть печального цвета, хотя в этом отношении она ничуть не хуже, чем мужская одежда в наши дни. Их "дома собраний", которые они заменяли церквями, были специально сделаны голыми, как сараи.

Но было одно безобразие, на которое они не покушались. Они не пытались запретить бродильные напитки, которые в соответствии с вековой традицией и примером Самого Господа разрешались христианам. Правда, они отказались пить здравицы, поскольку эта практика добавляла церемонию к пиршеству и, по их мнению, была причиной неводержанности. Но дальше этого они не шли. Кстати, следует отметить, что во времена правления пуритан в Англии не было известно ни одного напитка, кроме ферментированных. Чай, кофе и шоколад оставались диковинкой вплоть до Реставрации. В любом случае, ферментированные напитки были единственной формой социального удовольствия, разрешенной англичанам во времена пуританского правления.

В Новой Англии кальвинизм буйствовал. В Европе он был вероучением меньшинства, живущего среди народов, твердых в традициях христианства. Поэтому, хотя в Европе он был достаточно плох, он никогда не чувствовал себя всемогущим. В Новой Англии, напротив, кальвинизм изолировал общины, основанные специально для его прославления, и результат был ужасен. "Ее записи похожи на записи из сумасшедшего дома, где религиозные маньяки вырвались на свободу и заперли своих зрителей. Мы слышим о мужчинах, забитых камнями до смерти за то, что они целовали своих жен в субботу, о влюбленных, которых били камнями или пороли за хвост телеги за то, что они целовались друг с другом без разрешения дьяконов, а кульминацией всего этого была безумная паника с массовым демонизмом и сжиганием ведьм"[41] Эту картину можно дополнять до бесконечности, изучая городские записи пуритан Новой Англии. Для ее развития один из их потомков, Брукс Адамс, написал книгу "Освобождение Массачусетса", в которой они повешены, заклеены и прокляты навеки, и к этой книге я отсылаю своих читателей, которые могут проявить любопытство в этом вопросе. Это были ужасные люди.

Для целей данного исследования важно помнить, что ослабление пуританского пыла в Америке в восемнадцатом веке было не смертью, а сном. Или, , если использовать другую метафору, когда казалось, что его поток пересыхает, он все еще мощно струился под землей. Такой человек, как Джон Браун, с его диким и почти безумным фанатизмом, был бы вполне уместен в армии Кромвеля или у Славы-Бога-Богоносца и ему подобных.

После Гражданской войны американский индустриализм стал развиваться огромными темпами. Капитан промышленности", второй партнер союза шестнадцатого века против традиций, превращался в гиганта. Недостаточная поддержка в этом квартале, по-видимому, стала одной из причин провала первого американского движения за запрет. Оно процветало некоторое время в середине девятнадцатого века. Это была работа чистого фанатизма, и на какое-то время она имела большой успех. Все штаты Новой Англии, а также Нью-Йорк, Огайо, Индиана, Иллинойс, Мичиган, Айова и Южная Дакота приняли государственные законы о запрете. Но через несколько лет эти законы начали отменять. В итоге только закон штата Мэн остался на бумаге... и продолжал так часто нарушаться на практике, что стал посмешищем для всей страны.

Естественно, фанатики не смогли бы добиться даже временных успехов без помощи людей другого сорта. Америка с самого начала была страной "крепкого алкоголя". Виски и ром были национальными напитками, а пьянство - обычным делом. Владелец салуна, как и

большинство торговцев в протестантских странах, был мало сдерживаем общественным мнением. "Бизнес был бизнесом". Вино было роскошью для богатых, неизвестной населению, а пиво, похоже, было почти неизвестно. Фронтир, с его тенденцией к грубости мышления и полным отсутствием социальных ограничений, оказал глубокое влияние на американский ум, предрасполагая его к грубому решению любых проблем, тем самым укрепляя доминирующий в стране протестантизм с его упованием на табу. Влияние католицизма с его округлой, универсальной этикой было пока незначительным. Но несмотря на все эти факторы, короткого опыта запрета оказалось вполне достаточно для несчастных штатов, которые его опробовали.

Только в начале двадцатого века агитация вновь набрала силу. За это время на сайте появились новые силы, одни из которых выступали за, другие против уничтожения христианской свободы. На первый взгляд, многим казалось, что свобода укрепилась. Католицизм рос, в основном за счет иммиграции из Ирландии, Италии и славянских стран. Иммигранты из Германии начали варить пиво, так что даже население стало замечать, что у крепкого алкоголя появился возможный конкурент. В Калифорнии начали делать вино. С исчезновением границы люди верили, что грубость ума, порожденная пограничными условиями, вскоре перерастет в понимание необходимых сложностей оседлой цивилизации. К настоящему времени эта идея оказалась ошибочной, но сама по себе она не была смешной. Гораздо глупее было другое представление современников, а именно, что растущая легкость и частота общения приведет к католичности ума и упадку партикуляризма и провинциализма в целом.

Однако эти достижения для дела христианской свободы отнюдь не были решающими. Хотя влияние католицизма возросло, он ни в коем случае не был доминирующим. По сей день ни одна из двух основных партий не может выдвинуть на пост президента римского католика. Римско-католическая церковь, самая многочисленная из трех католических общин, не имела даже той власти, которую могли бы дать ей ее члены, потому что ее итальянские и славянские члены мало что значили в политике страны в целом. Латиняне занимали особенно незначительное место в общественной жизни. О пиве и вине по-прежнему думали в основном в связи с "иностранными элементами" в населении. Коренные жители пили виски, а слово "ром" использовали как общий термин для обозначения как дистиллированных, так и перебродивших спиртных напитков! Протестантские секты составляли подавляющее большинство населения, и их врожденное пуританство в морали оставалось неизменным. На их теологии настаивали меньше; большинство образованных протестантов отказывались от тяжелого труда определения, и пыл, который раньше был в протестантских теологических дискуссиях, теперь начал рассеиваться в смутном гуманизме. Частично эта протестантская энергия (ранее использовавшаяся на теологию, которая теперь исчезает из человеческого сознания) была готова быть использованной для наложения табу.

Здесь уместен анализ Честертоном соответствующих условий на Британских островах. Он отмечает, что "...необычный факт: хотя крайний протестантизм умирает в развитой и рафинированной цивилизации, именно варварские его части живут дольше всего и умирают последними. Современный протестант отказался от цивилизованной части вероучения Джона Нокса и сохранил только дикарскую часть. Он отказался от той великой и систематической философии кальвинизма, которая имела много общего с современной наукой и сильно напоминала обычный и повторяющийся детерминизм. Но он сохранил случайное вето на карты или комические пьесы..... Все ужасные, но возвышенные утверждения пуританского богословия исчезли. Остались только дикие отрицания; такие,

как то, с помощью которого в Шотландии каждый седьмой день вероучение страха накладывает свой палец на все сердца и заставляет улицы хранить злую тишину."

"К середине девятнадцатого века этот тусклый и варварский элемент пуританства, будучи всем, что от него осталось, добавил еще одно табу к своей философии табу; вырос мистический ужас перед теми ферментированными напитками, которые являются частью пищи цивилизованного человечества. Несомненно, многие люди занимают крайнюю позицию в этом вопросе исключительно из расчета на социальный ущерб; многие, но не все и даже не большинство. Многие люди считают, что бумажные деньги - это ошибка и приносят много вреда. Но они не вздрагивают и не хихикают, когда видят чековую книжку. Они не шепчут с недобрым лукавством, что такого-то и такого-то человека "видели" заходящим в банк..... Это чувство, конечно, в значительной степени мистическое... оно защищается социологическими причинами; но эти причины могут быть просто и резко проверены... Если пуританин скажет вам, что он возражает не против пива, а против трагедий, связанных с его избытком, просто предложите ему, чтобы в тюрьмах и рабочих домах (где количество может быть абсолютно регулируемым) заключенные выпивали по три бокала пива в день. Пуританин не может назвать это излишеством, но он найдет, как это назвать. Ведь он возражает не против излишеств, а против пива. Это трансцендентальное табу...."[42].

К концу века на помощь американскому пуританству в его противостоянии традиционной христианской свободе пришел новый и все более мощный союзник - индустриализм. После 1865 года Америка начала концентрировать свои силы на строительстве заводов и железных дорог. В течение трехсот лет не существовало универсальной религиозной организации, связывающей всех людей общей моралью. В таком обществе появление машинной индустрии усугубило зло неограниченной конкуренции между отдельными людьми и классами. Эти пороки, следует повторить, были прямым результатом моральных изменений XVI века, то есть разрушения всеобщего религиозного авторитета и последующего ослабления моральной солидарности между людьми. Машинная индустрия не породила пороков неограниченной конкуренции и не изменила их характер. Но она значительно усугубила их, поскольку увеличила размер промышленной единицы и тем самым свела к нулю личные контакты между владельцами и наемными рабочими. Владелец и наемный работник все меньше и меньше смотрели друг на друга как на товарищей, занятых общим делом ради взаимной выгоды, все больше и больше как на абстрактные товары - если не как на определенно враждебные силы, "капитал" и "труд". Наемные работники объединялись в профсоюзы, которые в конечном итоге должны были развить огромную силу экономического противодействия, но пока что не способствовали конструктивной реформе промышленности. Владельцы тем временем размышляли, как сделать из "труда" более эффективный инструмент для собственного обогащения.

Справедливости ради стоит отметить, что "капитаны индустрии" не были полностью хладнокровны в этом вопросе. Они питали жуткую привязанность к новым и огромным силам, находящимся под их контролем, и в этом им подражали их многочисленные поклонники из числа людей, которых европеец назвал бы средним классом. Такие люди не только допускали механизацию жизни, но и активно поощряли ее. В результате, по словам Генри Адамса: "Типичный американец держал руку на рычаге, а глаз - на повороте дороги; его жизнь зависела от поддержания средней скорости в сорок миль в час, стремящейся всегда стать шестьдесят, восемьдесят или сто, и он не мог допустить эмоций, тревог или подсознательных отвлечений, как не мог допустить виски или наркотиков, не сломав себе шею."[43] То, что поклонение новым механическим энергиям разрушает нервы

состоятельных американцев и американцев среднего класса и угрожает всему обществу, было идеей, которая только начала зарождаться. Почти все образованные люди соглашались с бесчеловечным процессом и называли его такими прекрасными именами, как "прогресс" и "эффективность".

Между тем, несмотря на Генри Адамса и его "типичного американца", наемный работник, составлявший подавляющее большинство индустриальных сообществ, не очень-то жаловал этот вечный процесс ускорения. Время от времени он укрывался от монотонной работы за станком в обильном питье крепких спиртных напитков по моде, неизвестной католическим крестьянским обществам Европы, и эта его привычка раздражала капитанов промышленности и приводила в ярость пуритан.

Принятое решение поразило бы наших предков. Мы можем только надеяться, что, если запись сохранится, она вызовет скандал у наших потомков. Вместо того чтобы попытаться восстановить положение вещей, при котором нормальные люди могли бы спокойно зарабатывать себе на жизнь и наслаждаться естественными для человека социальными удовольствиями, лидерам нашего времени показалось проще и желаннее попытаться уничтожить социальные удовольствия. Как и в XVI веке, "деловые круги", для которых главной целью человека было зарабатывание денег, объединились с фанатиками, для которых развлечения были грехом.

Два других, менее значительных фактора, как бы случайно вмешались и помогли делу запрета.

Первым из них стало изменение политической власти на Юге. Примерно до 1890 года в политике Юга доминировали "качества", то есть люди, имевшие традиции богатства и социального возвышения. "Политики" были "качествами", так гласила поговорка. Затем наступили перемены: мелкие фермеры, ремесленники и лавочники получили контроль над ситуацией. Качество на Юге, как правило, "епископальное", но никак не пуританское. "Простые люди" - это почти все баптисты или методисты. Ни одна из этих сект не является кальвинистской, как первые пуритане, но обе агрессивно пуританские в своей дисциплине. Баптисты - косвенные преемники анабаптистов, "крайних левых" в религиозной борьбе XVI века. Методисты возникли как раскольники из Англиканской церкви и, как мы уже видели, были первыми христианами, проповедовавшими полное воздержание вместо умеренности в питье. В качестве замены выпивке и другим формам социального удовольствия, осуждаемым их дисциплиной, они находят выход в оргиастическом поклонении. Отсюда и эпитет "шоутинги". Из всех христианских сект эти две наиболее далеки от традиций. Доля мужчин и женщин, получивших образование в колледже или иным образом окультуренных, в обеих деноминациях невелика. Даже их служители обычно необразованны. С другой стороны, эти проповедники трудолюбивы, ревностны и преданны своему делу, поэтому они обладают большим влиянием. Естественно, что с такими служителями умственные усилия, необходимые для определения этических норм, не требуются, и табу роскошествует. "Пить" для этих людей означает пить виски в шумных забегах. В первом десятилетии двадцатого века южные штаты под руководством своих новых хозяев начали проводить запретительные меры.

Южане, желая избежать упреков в нетерпимости, иногда говорят, что главным мотивом для запрета было желание скрыть спиртное от негров. Спиртное, мол, разжигает страсти негров и склоняет их к попыткам изнасилования белых женщин. С другой стороны, присутствие негров не имело никакого отношения к ситуации, описанной в последнем абзаце, и такой

авторитет, как Уильям Гаррот Браун, сам южанин, записал свое мнение о том, что расовый вопрос имел мало отношения к южному запрету.

Тот же автор говорит нам, что о псевдонаучной пропаганде против пьянства почти не было слышно во время кампаний по запрету на юге. По его словам, они проводились и выигрывались "...в основном с помощью методистского возрождения...; устрашающих и довольно грубых эмоциональных ораторских выступлений с кафедры и трибуны, перемежающихся пением и молитвами; парадов женщин и детей, натренированных для этой цели; своего рода преследования, не ограничивающегося бойкотом, видных граждан, склонных голосовать "за"; ...и, наконец, довольно грубых эмоциональных выступлений с кафедры и платформы....и, наконец, путем прямо-таки толпы женщин и детей, поющих, молящихся и делающих все возможное, чтобы смутить и напугать каждого избирателя, явившегося без белой ленты на лацкане".

"Именно эти методы, постепенно совершенствуемые в ходе кампании за кампанией, принесли Запрету столько побед...."[44].

Очевидцы рассказывали настоящему писателю об использовании подобных методов при навязывании запрета в северо-западных штатах.

Второй случайностью, сыгравшей на руку сторонникам запрета, стал новый элемент политического механизма - прямые праймериз.

Традиционным американским методом выдвижения кандидатов на должность был "съезд". Съезды могли быть самоназначенными, созданными на волне энтузиазма. Обычно это были обычные собрания, представляющие установленные партии в различных политических подразделениях страны, штатах, графствах, городах и т. д. Такое собрание избиралось избирателями партии, формулировало "платформу", то есть декларацию принципов и целей партии, а также выдвигало кандидатов для участия в выборах на основе этой платформы. Если принималась платформа, которую какой-либо делегат не мог заставить себя поддержать, то его моральным долгом было "выйти" из съезда и отделиться от партии. Следовательно, целью разработчиков платформы было изложить такие принципы, которые позволили бы сохранить в партии как можно больше тех, кто обычно голосует за ее билет, и в то же время привлечь как можно больше голосов "независимых" и избирателей, записанных в другие партии. В такой системе меньшинства "чужаков" были в меньшинстве.

Изменение системы съездов стало одним из результатов смены типично американских настроений - от безграничной самоуверенности к преувеличенной самокритике. Часть новой самокритики была направлена против руководства различных политических партий. С трогательной американской верой в юридический механизм как средство исправления условий, не связанных ни с юридической теорией, ни с практикой, было предложено поставить выдвижение кандидатов в зависимость от предварительных выборов или "прямых праймериз", на которых зарегистрированные избиратели данной партии могли бы выразить свое мнение независимо от партийных "боссов" (по крайней мере, так наивно надеялись те, кто поддерживал эту схему).

Неспособность прямых праймериз улучшить политические условия в целом не является предметом данного исследования. Но среди различных последствий, немногие из которых их сторонники предвидели, они, несомненно, способствовали развитию движения за запрет, повышая политическую значимость любой организованной группы "чужаков", то есть людей, заинтересованных в одном конкретном вопросе государственной политики в ущерб другим вопросам. Прогибационисты были восхитительным примером такой группы, но и

другие активные меньшинства, такие как суфражистки, получили огромную пользу от прямых праймериз. Прежде всего, оказалось практически невозможно заставить среднего гражданина отдать свой голос на прямых праймериз, потому что в случаях оспаривания кандидатур на второстепенные должности вышеупомянутый средний гражданин мало что знал и меньше всего переживал по этому поводу. К чудачкам он относился с забавной и презрительной терпимостью. Он не мог поверить, что новый механизм выдвижения кандидатов может дать власть таким людям. Таким образом, всевозможные чудачки приобретали влияние, несоизмеримое с их численностью, и быстро оказывали его на кандидатов в депутаты, особенно на кандидатов на второстепенные должности, такие как члены законодательных собраний штатов. При системе съездов было очень трудно включить запрет на продажу в партийную платформу, поскольку за таким шагом сразу же последовало бы отделение от партии со стороны многих, кто привык голосовать по партийному билету. Но при прямых праймериз кандидат на выдвижение знал, что те, кто является чудачками в определенном вопросе, поддержат или выступят против него в соответствии с его отношением к их любимой теме, не обращая внимания на его общую пригодность к должности по сравнению с его оппонентами. Помимо непосредственного эффекта, прямые праймериз имели и конечный эффект, еще более важный в пользу запрета, поскольку ослабляли партию как орган политической мысли. Съезд служил форумом для обсуждений и протестов. Лишенные этого форума, названия партий превращались в простые ярлыки, а преданность среднего избирателя своей партии становилась все слабее, поскольку партия стала значить все меньше и меньше. Соответственно, избиратель становился более склонным время от времени перебрасывать свою партию, и снова относительное значение приобретали чудачки. Даже если бы прямые праймериз привели к свержению "босса" (а этого не произошло), результат был бы дорого куплен из-за возведения на престол чудачка.

Еще одна черта американца способствовала ограничению свободы. Мы уже упоминали о его наивном уповании на мнимую силу законодательных актов, способных ниспровергнуть давно устоявшиеся обычаи. Это ошибочное убеждение возникло следующим образом.

Патриотизм (который является почти религией для нас, современных людей) рождается от двух родителей: во-первых, привязанность к людям и местам, дорогим нам по долгу службы; во-вторых, привязанность к определенному духу, который является суммой мыслей и действий нации в целом.

В Америке сравнительная краткость нашей национальной истории и кочевой образ жизни многих наших людей привели к тому, что привязанность к местным достопримечательностям здесь не так сильна, как в Европе. С другой стороны, национальный дух здесь соответственно силен. С самого начала были предприняты все усилия, чтобы определить и тем самым усилить его. Нация сознательно ведет свою историю от Декларации независимости, а затем от принятия Федеральной конституции. Эти формулы настолько сильны, что в Америке, более чем в какой-либо другой стране, можно использовать почти взаимозаменяемые слова "национальный дух" и "национальная доктрина".

Действительно, главные положения этой национальной доктрины заключаются в том, что люди обладают определенными неотъемлемыми, естественными правами... преимущественно правом на "свободу", что они равны в этих правах и во всех других вопросах, касающихся закона. Очевидно, что это подразумевает, например, что ни один гражданин или группа граждан не могут быть уполномочены принуждать своих собратьев потреблять или воздерживаться от какого-либо вида пищи или напитков.

С другой стороны, благоговение перед писаным законом, основанное на Декларации и Конституции, привело к широко распространенному заблуждению относительно природы самого закона. Величественные формулы Декларации и государственные рамки, установленные в Конституции, никак не изменили нравы и обычаи американцев. Их сила заключалась в том отклике, который они вызывали в укоренившихся инстинктах людей европейского происхождения. Дух христианства вдохнул в них жизнь. К несчастью, масса американцев, оторванных от традиций - во-первых, протестантизмом, во-вторых, Атлантикой, - вместо того чтобы признать традиционный источник, из которого черпалась сила их национальной формулы, ошибочно полагала, что эта сила проистекает из того факта, что эти формулы были положены в основу американского статутного права. Вместо того чтобы признать в статутном праве лишь ратификацию установившегося обычая, являющегося результатом совокупности человеческой деятельности, они ошибочно решили, что человеческая деятельность может быть принуждена к соответствию статутам только потому, что эти статуты провозглашены как имеющие силу закона, и независимо от фундаментальных законов человеческой природы и неумолимых человеческих ограничений, которые лежат в основе этой деятельности. "Люди не создают законы. Они лишь открывают их", - говорит вице-президент Калвин Кулидж из Массачусетса[45]. И в этом высказывании он указывает на один из величайших провалов американской мысли.

Итак, рассмотрев реальные силы, способствовавшие введению запрета, нам остается лишь упомянуть некоторые из наиболее распространенных глупостей, которые были в ходу у сторонников запрета. Например, утверждалось, что "вино" на браке в Кане Галилейской было неперебродившим! Когда настоящий писатель был членом законодательного собрания штата Нью-Йорк, лоббист запрета торжественно убеждал его в этом. Воображаемая картина того, как древние евреи и наш Пресвятой Господь возились с бензоатом соды или чем-то подобным, не нуждается в комментариях. Псевдонаучная белиберда на тему "алкоголя"; пытались доказать, что это яд. Сразу же была высказана утешительная мысль, что это, должно быть, очень медленный яд, поскольку все наши предки на протяжении бесчисленных поколений ежедневно употребляли перебродившие спиртные напитки, содержащие заметное количество этого вещества. Этот аргумент был на одной волне с утверждениями вегетарианцев о том, что мясо - это яд. Также пытались доказать, что "алкоголь" несовместим с работой; то же самое можно было сказать и о сне. Появился целый ряд диких заявлений, связанных с "рабочим человеком", рассматривая его не как существо, подобное нам по страстям, а как странное чудовище, трансмогрифицированное воображением среднего класса. Утверждалось, что "пьянство" заставляет его бить жену даже в тех случаях, когда она ничего подобного не заслуживает. Утверждалось, что если лишить "рабочего человека" его главного развлечения (которым, по общему признанию, является "выпивка"), то результатом станет рост благосостояния и добрых нравов в его семье. Малейшего знакомства с магометанскими странами было бы достаточно, чтобы опровергнуть подобные измышления. Эти фантазии "рабочего человека" красноречиво свидетельствуют о барьере, воздвигнутом между классами общества веками протестантизма. Вместе с остальным запретительным бредом они заслуживают того, чтобы быть записанными в тройном размере, чтобы стать предметом смеха или жалости грядущих поколений.

Наше поколение достигло высокого искусства анонимности и использования "манекенов" в финансовой сфере. Поэтому сейчас невозможно, да и, скорее всего, останется невозможным, раскрыть истинные источники, из которых пуритане двадцатого века черпали свои пропагандистские средства. Общеизвестно, что многие, если не большинство, крупных работодателей "рабочей силы" симпатизировали пуританскому делу... как и в шестнадцатом веке. Считается, что Рокфеллеры дали огромную сумму, и тот факт, что они являются самыми

известными баптистскими мирянами в стране, если не в мире, делает это предположение вероятным.

Принятие Восемнадцатой поправки не положило конец движению за запрет в Америке. Пока что задача по обеспечению соблюдения запрета оказалась невыполнимой. Вероятно, количество потребляемых ферментированных и дистиллированных спиртных напитков заметно сократилось. Безусловно, цена на спиртное выросла, а его качество ухудшилось. Никто не может предсказать будущее: пророки - это шуты потомков. Учитывая, что отменить поправку к Конституции крайне сложно (для отмены потребуется большинство в две трети голосов в Сенате США, затем в Федеральной палате представителей, а после этого - положительное голосование в обеих ветвях законодательной власти в трех четвертях штатов), кажется вероятным, что Восемнадцатая поправка останется в законодательных актах, по крайней мере, в течение значительного времени. Однако уже есть одна поправка, пятнадцатая, призванная обеспечить право голоса неграм Юга, которая дремлет в законодательных актах. В настоящее время во многих густонаселенных штатах поправка о запрете является фарсом, а на плечи налогоплательщиков ложится бремя оплаты труда чиновников, следящих за соблюдением закона. Положение этих чиновников несколько напоминает положение пиратов-викингов девятого века. У них огромная территория, на которую они могут совершать набеги практически по своему усмотрению и на которой они могут досаждают жителям. Но их так мало, что, даже имея в распоряжении современного правительства огромные возможности передвижения и связи, они не в состоянии сдерживать деятельность миллионов людей, среди которых они действуют. Подобно старым пиратам, этих чиновников часто можно подкупить, чтобы они стали безвредными. Тем не менее, если кто-то захочет, можно поверить, что вековые традиции христианства уступят писаному закону, подкрепленному горсткой чиновников.

Это зрелище представляет огромный интерес для изучающего историю, который олицетворяет память расы. В более сангвинических настроениях он видит пологие виноградники на берегу Луары, слышит, как Рабле смеется из своих глубоких легких, и предвкушает счастливое посрамление глупцов. И снова он чувствует, как античное язычество оседает на него, словно серый туман, и вспоминает о мести богов, о которой рассказывал Еврипид в "Ипполите" и, прежде всего, в "Вакхах". Ибо изучающий историю знает, что силы нашей человеческой природы, которые древние олицетворяли как богов, бессмертны. Человек может преследовать их, но не может убить, и под его преследованием они становятся демонами, которые обращаются и разрывают его, как обнаружили Савонарола и старые английские пуритане. Даже смертное ложе святого Франциска было немного омрачено воспоминаниями о его собственных аскезах. "Я согрешил, - сказал он, - против брата моего осла". И что такое добровольные страдания одного монаха или всех монахов вместе взятых, как грехи против "богов" жизни, по сравнению с преднамеренной, насильственной попыткой трезвенничества целой нации?

Что такое посягательство на человеческую свободу, чем была даже инквизиция по сравнению с Американской антисалунной лигой?

В заключение давайте еще раз проанализируем точки схождения и расхождения между инквизицией и запретительным движением. Оба движения были религиозными по своей сути; протестантская деноминация сделала второе так же несомненно, как католическая церковь тринадцатого века сделала первое. Оба движения, будучи религиозными, основывались на убеждениях, выходящих за рамки человеческого разума. В случае с инквизицией речь шла о католической вере; в случае с запретом - о вере во врожденную греховность дистиллированных и ферментированных напитков. Оба движения имели как

светскую, так и доминирующую религиозную сторону. Человек XIII века, легкомысленно относящийся к вере, даже неверный по своим убеждениям, мог сердечно одобрять суровые меры против еретиков, поскольку присутствие явных еретиков вызывало в обществе неприятие. В качестве примера можно привести неверного императора Фридриха II с его радикальным инквизиторским законодательством. Точно так же человек может быть искренним сторонником запрета на продажу алкоголя, имея представление о вреде "выпивки" для всего человечества, особенно для "работяг", хотя сам он считает ее употребление благотворным. Действительно, ничтожное меньшинство сторонников запрета, считающих себя хорошо образованными, обычно относится именно к этому типу. Наконец, как инквизиция противоречит духу учения Господа, так и запретительное движение, безусловно, противоречит Его практике - на браке в Кане, на Тайной вечере и вообще на протяжении всей Его жизни.

С другой стороны, несмотря на столь большое сходство, между инквизитором и запретителем есть важные различия. Прежде всего, это глубокое различие в интеллектуальной честности и искренности. Католическая вера и мораль были и остаются определенными. С того момента, как Церковь появилась в свете богатой исторической летописи, в первые годы третьего века, она рассматривала их определение как одну из своих главных функций. Ее корпоративная традиция заявляет, что так было с самого ее начала, и документы, сохранившиеся от первых двух веков, не могут, по меньшей мере, противоречить этому выводу. Протестантизм, с другой стороны, с самого начала был бунтом против авторитетного корпоративного определения. Начиная с XVI века и до настоящего времени его теологическая и этическая неопределенность возрастала, пока не достигла кульминации, как кажется, в вопросе запрета.

Ни одно четкое заявление о кредо запретителей никогда не было сделано и одобрено хотя бы большинством участников движения. Была предпринята попытка сказать, что "умеренность" подразумевает умеренность в употреблении того, что полезно, и полное воздержание от того, что вредно. Но эта попытка неудачна в двух отношениях: она путает умеренность с чисто светской добродетелью благоразумия, которая не имеет никакого отношения к спасению человека и поэтому не может быть частью нравственного учения любого христианского тела, и она явно противоречит общечеловеческому опыту, называя умеренное употребление бродильных напитков "вредным".

Контраст здесь столь же велик, как и между цивилизацией и варварством. Конечно, определение, как и любая другая деятельность, может быть доведено до крайности, как признал Папа Лев XIII в своей энциклике о схоластике, где он упоминает о "слишком большой тонкости" некоторых средневековых врачей. Но, несомненно, существенное интеллектуальное различие между цивилизованным и варварским человеком заключается в том, что варвар охотно мирится с неясностью мышления, тогда как цивилизованный человек постоянно стремится уловить и сформулировать законы, управляющие вселенной вокруг него в той мере, в какой его разум способен их постичь.

Во-вторых, существует еще одно огромное различие в остроте социальных и политических соображений, обусловивших эти два движения. Как мы видели в первой главе, средневековый человек создал общество, в котором все люди выполняли определенные функции и в котором разрушительная конкуренция между классами и индивидами была сведена к минимуму. Несмотря на недостаточный контроль над жестокостью и грубостью, несмотря на скудность знаний по истории и естественным наукам, это время породило общий уровень мастерства, столь же неизвестный с XVI века, сколь и не имевший себе равных до XII (исключая лишь короткий лучший период Греции). В деле содействия счастью

человечества в целом средневековое общество, кажется, никогда не имело себе равных. Безусловно, жизнерадостность мемориалов, которые оставил нам тринадцатый век, уникальна. И в этом обществе Церковь была центральной и незаменимой. Для образованного средневекового человека (который, хотя и уступал своим современным коллегам в объеме информации, в то же время превосходил нас в ясности и рациональности) - для образованного средневекового человека, говорю я, было очевидно, что разрушить Церковь, напав на ее Веру и Мораль, означало бы полностью разрушить его сбалансированное общество и заставить людей по-волчьи охотиться друг на друга. Простые люди, в силу своего рода инстинкта, были столь же решительно настроены на этот счет. И более того, их страх был оправдан, что с избытком доказали последние три столетия, хотя век экспансии и отложил до наших дней всю полноту зла раздоров между человеком и человеком. Поэтому люди Средневековья были правы, когда противостояли нападкам на Церковь как нападкам на все, что они ценили в гражданском обществе, а также в религии.

Светские аргументы в пользу запрета не так сильны, как светские аргументы в пользу инквизиции. Можно возразить, что индустриализм является центральным и основополагающим явлением в нашем обществе, и что запрет, который, как утверждается, направлен на "повышение эффективности промышленности", поэтому напоминает инквизицию, поскольку является слугой фундаментальной вещи в жизни общества, в котором он возник. Но даже если признать истинность этой идеи, то все равно остаются упрямые факты. Индустриализм процветал и до запрета. Более того, еще предстоит выяснить, приведет ли попытка отменить одно из главных удовольствий человечества к выгоде даже промышленной системы. По крайней мере, не менее вероятно, что если промышленный рабочий будет действительно лишен спиртного, то его энергия снизится из-за ослабления стремления к жизни, характерного для христианства. Конечно, история и нынешнее состояние магометан, придерживающихся запрета, свидетельствуют об энергии, значительно уступающей энергии христианских людей, веселящихся со своим пивом, сидром и вином. Даже если предположить, что в условиях запрета энергия промышленного рабочего будет возрастать, все равно нет никакой уверенности в том, что он сконцентрирует ее на своей работе. В таком случае, по крайней мере, не менее вероятно, что он обнаружит, что скука и монотонность его жизни, и без того разрушительно скучной и однообразной, настолько возросли под запретом, что он решит потратить значительную часть своей энергии на промышленную борьбу или на революционные движения. Ведь обычный современный человек не любит индустриализм так, как средневековый человек любил мир, который он создал. Гильдсмен XIII века с радостью сражался за свою гильдию и свои обычаи, современный же человек приносит себя в жертву жизни фабрики так же сильно, как язычники-семиты приносили людей в жертву Молоху. Инквизиция была мерой защиты. Ее костры горели от имени вещей, которые масса человечества видела и чувствовала как добро. Запретительное движение - это акт агрессии, имеющий сомнительную ценность даже для своей уродливой цели. Единственным аналогом запретительного движения спонтанных народных линчеваний еретиков в двенадцатом веке была разгромная деятельность вираго Кэрри Нэйшн.

И наконец, между инквизицией и запретительным движением существует, по крайней мере, разница в степени противоречия учению и примеру Господа (записанному в канонических Евангелиях). Чтобы встретить возможную оппозицию на полпути, давайте откажемся от выводов преподобного А. Вермерша, S.J., который, похоже, считает, что не было никакого противоречия между инквизицией, с одной стороны, и учением и примером Господа нашего, с другой. Настоящий автор должен признать, что сильная работа ученого иезуита несколько ослаблена следами любопытной косности ума, как, например, когда он определяет

"религиозную свободу" как "свободу истинной религии!". Для аргументации против запретителей давайте опираться на выводы Вакандара, чья книга скрывается за целым рядом "Nihil Obstat" и "Imprimatur" от римско-католической церковной власти, равных по внушительности тем, что демонстрирует Вермерш. Вакандар называет инквизиторские формы процедуры "деспотичными и варварскими" и прямо говорит, что "суровые наказания, такие как кол и конфискация... были чужды духу Евангелия". Тем не менее, противоречие между инквизиторской суровостью и "духом Евангелия" должно быть в определенной степени оговорено. Логический вывод неотразим: если (как и все христиане) мы принимаем учение и пример Господа нашего за неопределимую ценность для человечества, мы должны признать, что любая попытка извратить это учение и пример, чтобы заставить нашего Благословенного Господа говорить и делать то, чего он не делал, является более серьезным делом, чем любое преступление, признанное законом. Более того, этот довод разума в определенной степени подкреплён авторитетом Самого Господа, поскольку Он с особой горечью осудил фарисеев за извращение религии.

С другой стороны, противоречие между запретом и Евангелиями является полным и абсолютным. Согласно Евангелиям, наш Господь проводил большую часть времени в обществе мужчин и женщин. Особенно он освятил, постоянно употребляя вино, украшение общественной жизни вином, настолько, что враги называли его "чревоугодником и виночерпием"[46]. Мы видим, как он сотворил чудо, чтобы свадебная вечеринка, включая его самого, была в изобилии снабжена вином... как будто любая свадебная вечеринка со времен сотворения мира могла заботиться о том, чтобы их бесконечно снабжали виноградным соком. Он сделал даже больше - сделал вино частью таинства - единственного церемониального акта, который он предписывал. Вакх-Дионис, как учили языческие греки, также сделал вино таинством общения, человеческого и божественного. В отличие от тупого и отталкивающего фанатизма, которому учат в так называемых христианских протестантских церквях в Соединенных Штатах сегодня, традиционный христианин, как и языческий поклонник Вакха, ищет и всегда искал общения со своим Богом в питье вина.

ССЫЛКИ:

[37] Исаия, гл. V, стих 2.

[38] "То, это и другое", Хилер Беллок, стр. 18, 19.

[39] Chesterton on Shaw, p. 43.

[40] "Thought and Expression in the Sixteenth Century", by Henry Osborn Taylor, published by Macmillan Co., New York. 1920. Глава о Кальвине.

[41] Из главы I "Истории Соединенных Штатов" Сесила Честертона, стр. 31.

[42] Chesterton on Shaw, pp. 48, 49, 50.

[43] "Воспитание Генри Адамса, автобиография" (The Education of Henry Adams, an Autobiography). "Vis Inertiæ", p. 445. Houghton, Mifflin Co., New York, 1918. Глава XXX.

[44] "Новая политика и другие эссе", Уильям Гаррот Браун, изд. Houghton, Mifflin, New York. 1913. Pp. 157-158.

[45] "Верьте в Массачусетс", Калвин Кулидж, стр. 4.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Тема инквизиции рассматривалась так часто, что сомнительно, чтобы повторное обращение к оригинальным источникам принесло большую пользу. Срабатывает закон убывающей отдачи.

Источники, цитируемые в этой библиографии, неравноценны. Как толкователь духа Средневековья Генри Адамс стоит на первом месте, а после него - Тейлор. Для альбигойства и святого Доминика лучше всего подходит Гиро, а для механизма и духа инквизиции XIII века - Вакандар. По средневековым войнам в целом нет почти ничего ценного. Дельпеш - лучший, дополненный Дьелафуа в отношении Мурете.

Единственный автор, который охватил всю тему, включая весь ход Альбигенской войны, - это Леа, чья обширная образованность и точность в вопросах фактов сделали бы его великим историком, если бы он обладал хоть крупницей воображения или хотя бы искрой симпатии к Средним векам. В этом отношении Люшар выигрывает благодаря гражданству в католической стране, но его книга заканчивается со смертью Иннокентия.

Я включил в книгу ряд книг, использованных для иллюстрации отдельных моментов, а также горстку старомодных протестантских историков, которых читатель будет ценить больше за то, что их работы расскажут ему о нем самом, чем о его предмете. Лимборх не так уж плох; его образованность, очевидно, боролась (и проиграла) с его пристрастием.

"Жизнь святого Доминика и очерк о доминиканском ордене". Введение преподобного Дж. С. Алемани. P. O'Shea: New York.

"Воспитание Генри Адамса: Автобиография". Houghton, Mifflin and Co: Нью-Йорк и Бостон. Риверсайд Пресс: Кембридж.

"Мон-Сен-Мишель и Шартр", введение Ральфа Адамса, Крам Генри Адамс. Houghton, Mifflin and Co: New York and Boston. Риверсайд Пресс: Кембридж, 1913.

"Деградация демократической догмы", Генри Адамс. Хаутон, Миффлин и Ко: New York and Boston. Риверсайд Пресс: Cambridge, 1913.

"В стране святого Доминика" (Предисловие преподобного Т. М. Шветнера, O.P., S.T.L.), К. М. Антоний. Лонгманс, Грин и Ко: Лондон и Нью-Йорк.

"Эмансипация Массачусетса", Брукс Адамс. Houghton, Mifflin and Co: New York and Boston, 1919.

"Баталия Муре" (памфлет), Жозеф Англад. Эдуард Шампион: Париж, 1913. Эдуард Приват: Тулуза, 1913.

"La Conquête de la Vicomté de Carcassonne" (брошюра), J. Astruc. Опубликовано в августе 1912 г.

"Relation de l'Inquisition de Goa", Деллон Авер. Этьен Роже: Амстердам, 1919.

"Новая политика и другие статьи", Уильям Гарротт Браун. Houghton, Mifflin and Co: Нью-Йорк и Бостон.

"Доминиканский орден и созыв", Эрнест Баркер, М.А. Clarendon Press: Oxford, 1913.

"Les Dominicains dans l'Université de Paris", Abbé Eugène Bernard. E. de Soye et Fils: Paris, 1883.

"Etude sur la Condition des Populations Rurales du Roussillon au Moyen Age", Jean Auguste Brutails. Альфонс Пикар: Париж, 1891.

"Этюд об эсклаваже в Руссильоне", Жан Огюст Брутайс (в "Nouvelle Revue Historique", июль-август, 1886).

"Джордж Бернард Шоу", Гилберт К. Честертон. Джон Лэйн и Ко: Нью-Йорк и Лондон.

"История Соединенных Штатов", Сесил Честертон. George H. Doran and Co: New York, 1919.

"Укрепления римского и средневекового периода в квартале Сен-Мишель в Тулузе", М. Ж. Шаланд. Imprimerie et Librairie Edouard Privat: Toulouse, 1914, (брошюра).

"Les Fortifications Romaines et du Moyen Age" (брошюра). Entre la Porte St. Michel et la Porte Montgaillard. М. J. Chalande (брошюра).

"Святой Фома Аквинский - биографическое исследование ангельского доктора", о. Пласид Конвей, О.Р. Longmans, Green and Co: Нью-Йорк и Лондон.

"Auxilia римской императорской армии", Ф. Л. Чизман, М.А. Clarendon Press: London, 1914.

"Жизнь святого Доминика", Августа Теодосия Дрейн. Бернс и Оутс: Лондон. Benziger Bros: Нью-Йорк.

"Дух доминиканского ордена", Августа Теодосия Дрейн. Р. Дж. Уошборн: Лондон, 1910. Benziger Bros: Нью-Йорк.

"Биографии доминиканцев". Общество католической правды: Лондон, 1912.

"Summa Theologica святого Фомы Аквинского" (перевод). 12 vols. Benziger Bros: New York.

"Жизнь святого Доминика и очерк о доминиканском ордене". Р. О'Shea: New York, 1892.

"Les Institutions de Tauler, Religieux de l'Ordre de St. Dominique". A. Tralin: Paris, 1909.

"La Tactique au XIII Siècle", Henri Delpech. Альфонс Пикар: Париж, 1886.

"Баталия Муре", Марсель Дьелафуа. Imprimerie Nationale: Париж, 1899.

"Королевство Арль и Вьенн (1138-1378)", Поль Фурнье. Альфонс Пикар: Paris, 1891.

"Тайны инквизиции и других тайных обществ Испании". М. В. де Фераль.

"Создание Западной Европы", К. Р. Флетчер. E. P. Dutton and Co: New York, 1912.

"Cartulaire de Notre Dame de Prouille", Jean Guiraud (Preface by). 2 тома.

"Святой Доминик" (перевод), Жан Гиро. Р. и Т. Уошборн: Лондон. Benziger Bros: New York, 1913.

"Les Bienheureux Dominicains (1190-1577)", М. С. de Ganaz. Perrin et Cie: Paris, 1913.

"Лакордер" (перевод), граф д'Оссонвиль. Герберт и Дэниел: Лондон, 1913.

"Франциск и Доминик и ордена мендикантов", Джон Херклесс, доктор философии. Charles Scribner's Sons: New York, 1901.

"Филипп Август", Уильям Холден Хаттон, Ph.D. The Macmillan Company: Нью-Йорк и Лондон, 1896.

"Смысл истории и другие исторические фрагменты", Фредерик Гаррисон. The Macmillan Company: Нью-Йорк и Лондон, 1902.

"Век гонений при государях Тюдорах и Стюартах" (на основе современных записей), преподобный Джордж Кирнан Хайланд, доктор философии, доктор философии: London, 1920. E. P. Dutton and Co: Нью-Йорк.

"Темные века", У. П. Кер. Scribner's: N.Y., 1904. Introd., pp. 6-8.

"Genius Loci, заметки о местах", Вернон Ли. John Lane and Co: New York.

"Renaissance Fancies and Studies", Vernon Lee. John Lane and Co: Нью-Йорк.

"История безбрачия в христианской церкви", Генри К. Ли, LL.D. 2 тома. Williams and Norgate: London, 1907.

"Суеверие и сила", Генри К. Леа, доктор философии, Lea, Bros, and Co: Philadelphia, 1892.

"Инквизиция в испанских владениях", Генри К. Леа, LL.D. The Macmillan Company: Нью-Йорк и Лондон, 1908.

"История инквизиции в средние века", Генри К. Леа, доктор права: Нью-Йорк и Лондон, 1908.

"Исторический очерк ордена святого Доминика", отец Лакордер. P. O'Shea: New York, 1869.

"Vie de Saint Dominique", Father Lacordaire. Librairie Poussielque: Paris, 1912.

"Письма к молодым людям", отец Лакордер. Лондон, 1903. "Каска и меч", Чарльз Ленц, доктор философии.

"Иннокентий III", Ахилл Люшер. La Croisade des Albigeois, Rome et l'Italie. Librairie Hachette, 1907.

"Социальная Франция во времена Филиппа Августа" (перевод), Achille Luchaire. John Murray: London, 1912.

"История инквизиции" (перевод). Филипп А. Лимборх: Лондон, 1731.

"История святой католической инквизиции", введение преподобного Сайруса Мейсона. Генри Перкинс: Филадельфия. Кори и Фэйрбэнк: Цинциннати, 1835.

"Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs", R. P. Mortier. Альфонс Пикар: Париж, 1909.

"Краткая история крестовых походов", Дж. Л. Момберт, д.и.н. News Printing Co: New York, 1894.

"Кровавый трибунал", Джон Марчант, Джент. Золотой ключик, Лондон, 1756.

"Джон Лакленд", Кейт Норгейт. Макмиллан Компани: Нью-Йорк и Лондон, 1902.

"История военного искусства в Средние века с четвертого по четырнадцатый век", Чарльз Оман, М.А., F.S.A. Methuen and Co: London, 1898. G. P. Putnam's Sons: New York.

"Доминиканцы", под редакцией преподобного отца Джона Проктора, С.Т.М. Р. и Т. Уошборн, Лтд: London. Benziger Bros: New York, 1909.

"Дух романтики", Эзра Паунд, М.А. J. M. Dent and Sons: London.

"Схоластика", Джозеф Рикаби, S.J. Dodge Publishing Co: New York, 1908.

"Бренд Доминика", преподобный Уильям Х. Рул. Carlton and Phillips: New York, 1853.

"История инквизиции", преподобный Уильям Х. Рул. Hamilton Adams and Co: Лондон, 1874.

"Аверроэс и аверроизм", Эрнест Ренан. Calmann Lévy: Paris.

"Что такое современный романизм?" Джордж Франклин Сеймур, доктор философии, LL.D. Young Churchman Co: Milwaukee, 1888.

"Средневековая цивилизация" (перевод), Дана Карлетон Манро и Джордж Кларк Селлери. Century Company: Нью-Йорк, 1904.

"Возрождение в Италии", Джон Аддингтон Саймондс. 7 vols. Smith, Elder and Co: London, 1904.

"Очерки и исследования в Италии и Греции", Джон Аддингтон Саймондс. 3 vols. Smith, Elder and Co: London, 1907.

"Вино, женщины и песни", Джон Аддингтон Саймондс. Doubleday, Page and Co: New York, 1907. G. P. Putnam's Sons: New York, 1907.

"Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History from the Earliest Times to the Reign of Edward I", William Stubbs, М.А. 2 vols. Clarendon Press: London, 1875.

"Конституционная история Англии в ее происхождении и развитии", Уильям Стаббс, магистр права, Кларендон Пресс: London, 1875.

"Торквемада и испанская инквизиция", Рафаэль Сабатини. Brentano: New York, 1913.

"Сумма теологии святого Фомы Аквинского" (перевод). Benziger Bros: Нью-Йорк, 1914.

"История инквизиции, включая секретные операции этих ужасных трибуналов". Дж. Дж. Стокдейл: Лондон, 1810.

"Мысль и выражение в шестнадцатом веке", Генри Осборн Тейлор. 2 vols. The Macmillan Company: New York, 1920.

"The Mediæval Mind", Henry Osborn Taylor. Macmillan and Co: London, 1914.

"Древние идеалы", Генри Осборн Тейлор. The Macmillan Company: New York, 1913.

"Империя и папство", Т. Ф. Тэйт, М.А. Rivington's: London, 1909.

"Жизнь и труды святого Фомы Аквинского", архиепископ Воган, O.S.B. Burns and Oates: Лондон. Католическое издательское общество Нью-Йорка, 1890.

"Инквизиция: Критическое и историческое исследование принудительной власти церкви" (перевод), Э. Вакандард. Лонгманс, Грин и Ко: Лондон и Нью-Йорк.

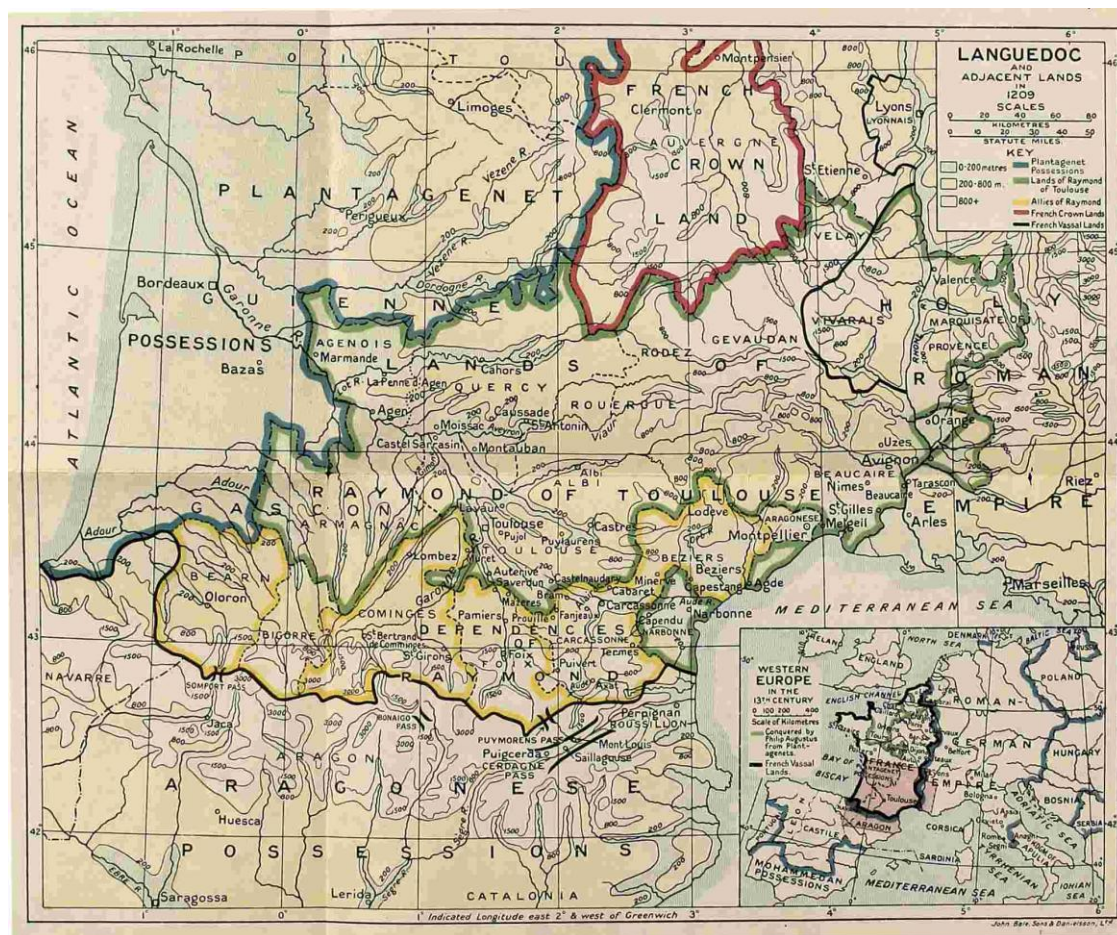
"История Лангедока", Жан Жозеф Виссе. 16 томов E. Privat: Toulouse, 1872.

"Bullaire du Bienheureux Pierre de Castelnau". В Виллемань. Librairie M. Valat: Montpellier, 1917.

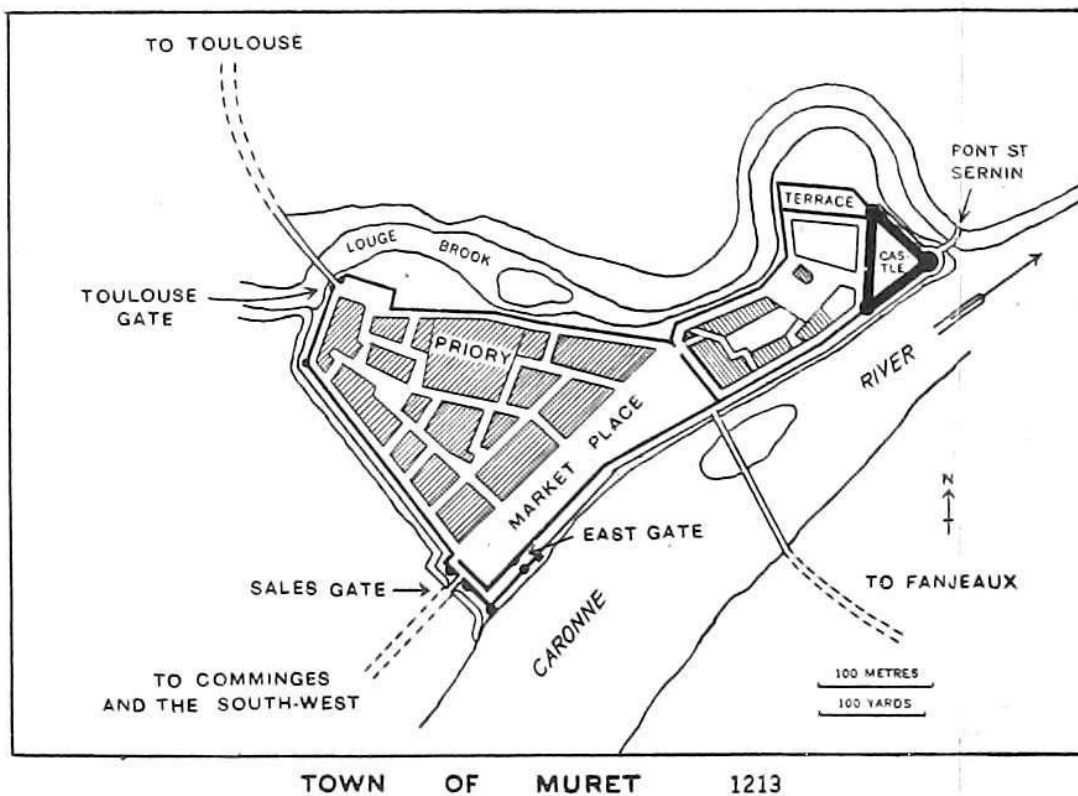
"Данте и Аквинский: Being the Substance of the Jowett Lectures of 1911," Philip H. Wicksteed. J. M. Dent and Sons, Ltd.: Лондон и Торонто. E. P. Dutton and Co: New York.

"Традиции европейской литературы", Барретт Уэнделл. Charles Scribner's Sons: Нью-Йорк, 1920.

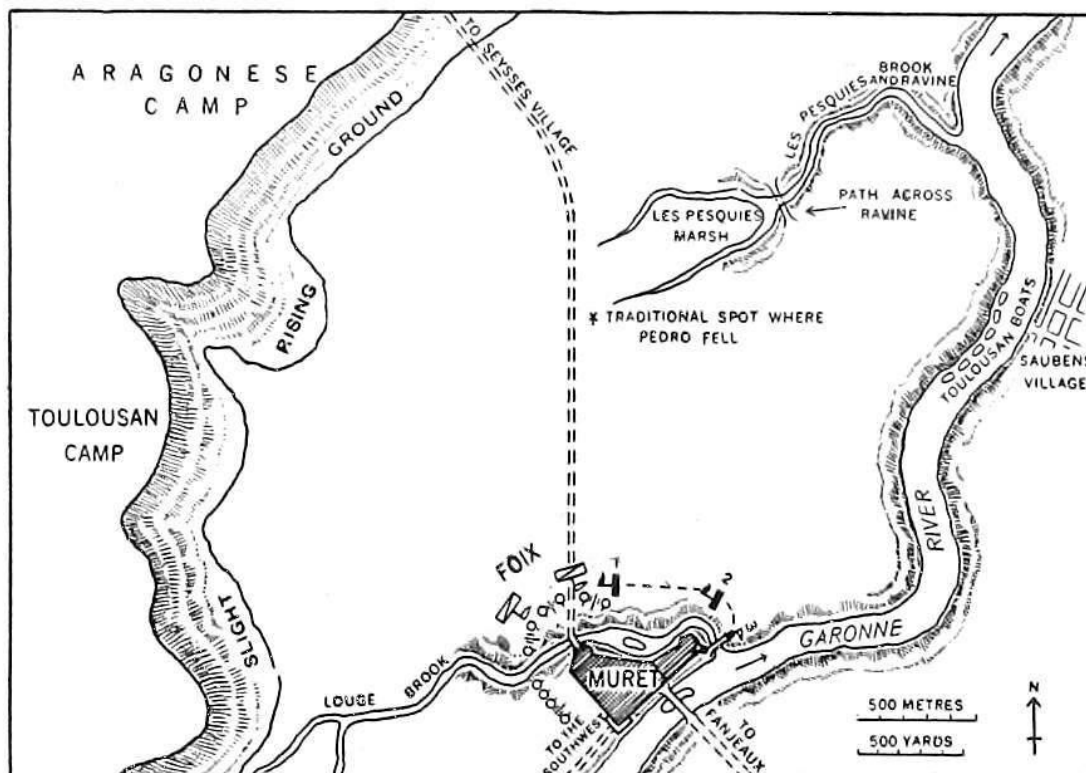
John Bale Sons & Danielsson, Ltd., 83-91, Great Titchfield Street, London, W.



ЛАНГЕДОК И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ЗЕМЛИ В 1209 ГОДУ



ГОРОД МУРЕ 1213



BATTLE OF MURET, SEPT. 11, 1213

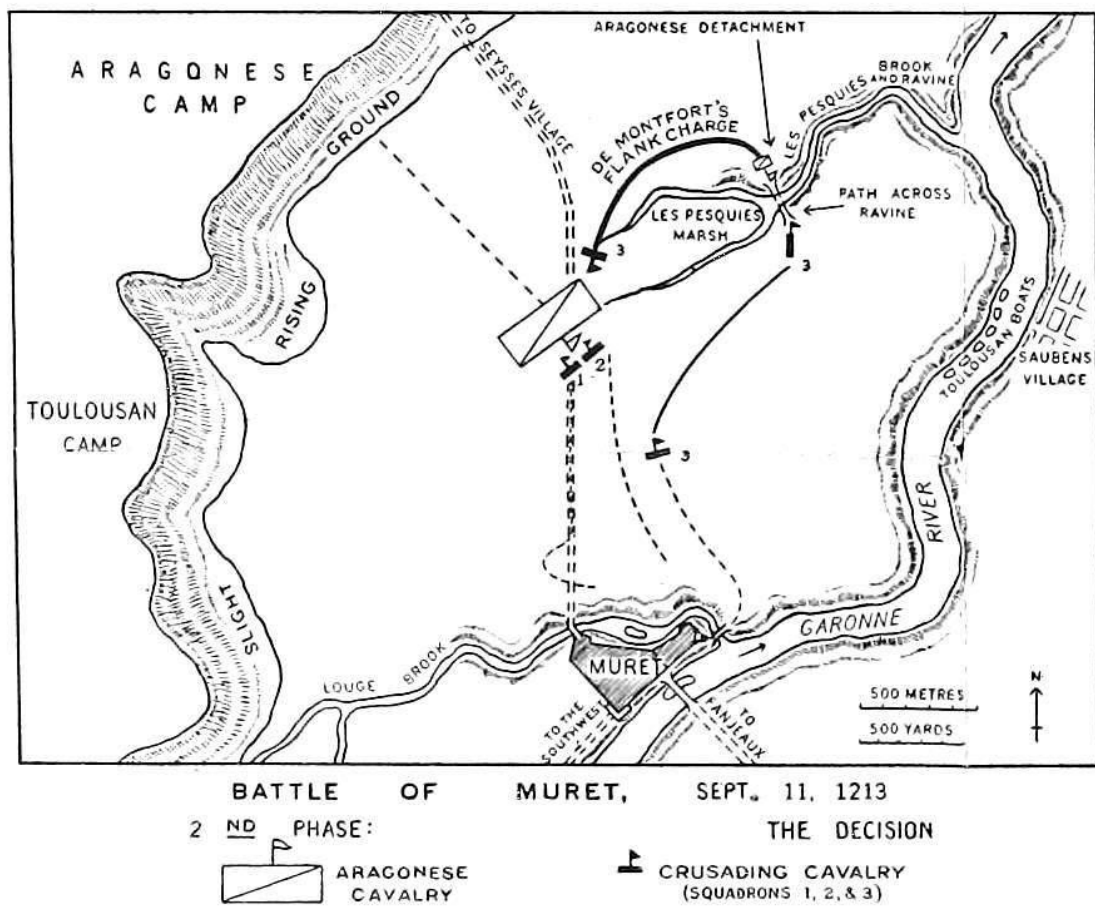
1ST PHASE: DE MONTFORT'S SORTIE AND SURPRISE OF FOIX

ALLIED CAVALRY
 ALLIED INFANTRY
 CRUSADING CAVALRY (SQUADRONS 1, 2, & 3)

CATAPULTS

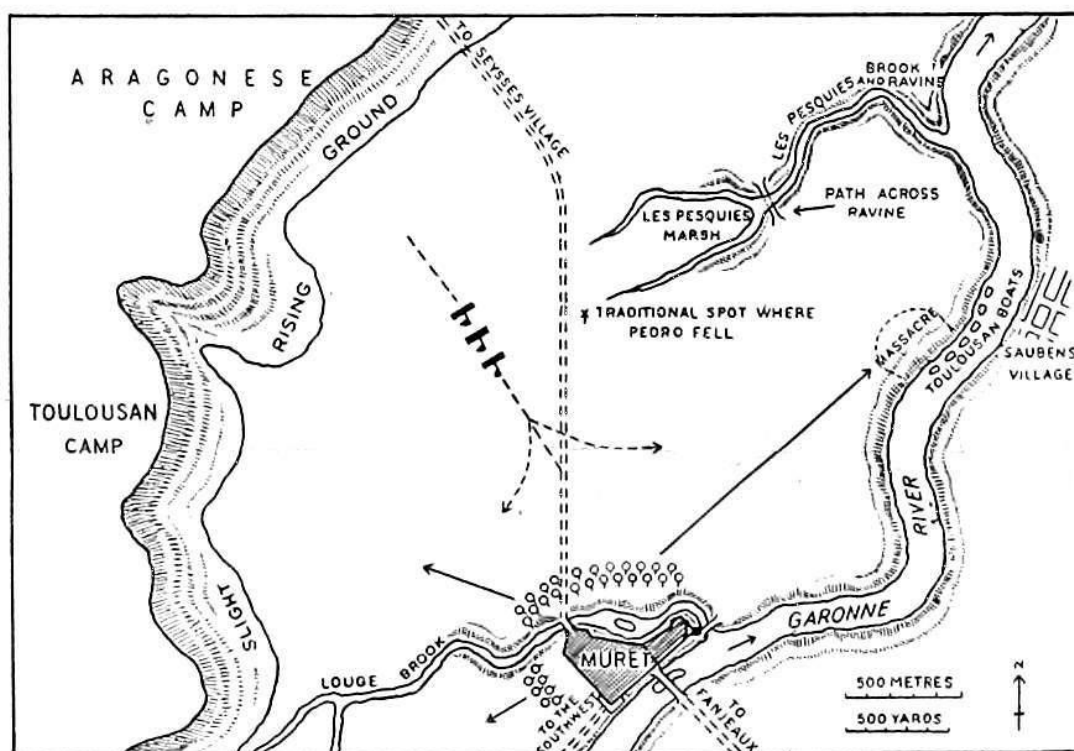
БИТВА ПРИ МУРЕТЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 1213 Г.

1-Я ФАЗА: ВЫЛАЗКА ДЕ МОНФОРА И НЕОЖИДАННЫЙ УДАР ПО ФУА



БИТВА ПРИ МУРЕТЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 1213 ГОДА

2-Й ЭТАП: РЕШЕНИЕ

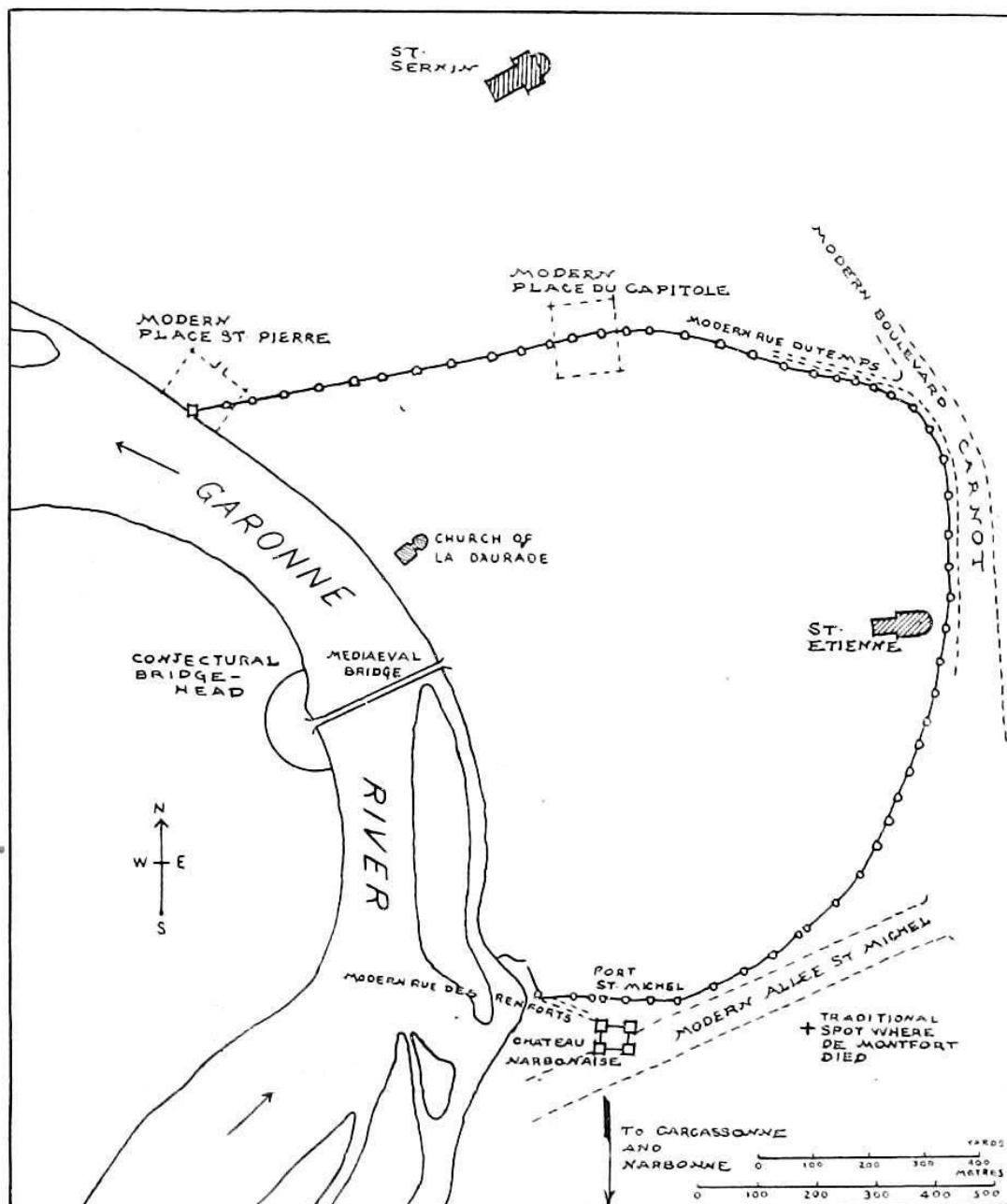


BATTLE OF MURET, SEPT 11, 1213

3 RD PHASE: DE MONTFORT, RETURNING FROM PURSUIT, ROUTS
THE TOULOUSAN MILITIA INFANTRY ATTACKING THE TOWN
 ○○○○○ TOULOUSAN INFANTRY ⚔ CRUSADING CAVALRY

БИТВА ПРИ МУРЕТЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 1213 ГОДА

3-Й ЭТАП: ДЕ МОНФОР, ВОЗВРАЩАЯСЬ ПОСЛЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, РАЗБИВАЕТ ПЕХОТУ
ТУЛУЗСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ, АТАКУЮЩУЮ ГОРОД



APPROXIMATE RESTORATION
OF TOULOUSE IN 1217 — 1218
TO ILLUSTRATE ITS SIEGE BY DE MONTFORT
(MODERN STREETS IN DOTTED LINES)

ПРИМЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТУЛУЗЫ В 1217-1218 ГОДАХ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЕЕ ОСАДЫ
ДЕ МОНФОРМ

(СОВРЕМЕННЫЕ УЛИЦЫ ВЫДЕЛЕНЫ ПУНКТИРОМ)

Примечания транскриптора

- стр. i Добавлен период после: Тулуза в 1217-1218 гг. для иллюстрации ее осады де Монфором
- стр. ii Изменено: Отец Астрюк, куратор церкви Святого Винсента в Каркассоне на: Отец Астрюк, куратор церкви Святого Винсента, Каркассон
- стр. xii Убрано лишнее) из: Фландрия в начале XVIII века).

- стр. 27 Заменено: которое обычно называли альбигойством
на: которое обычно называли альбигойством
- стр. 29 Заменено: осушение страны между Севеннами
на: осушение страны между Севеннами
- стр. 46 Добавлена цитата после: всеобщая веротерпимость Валентиниана в IV веке.
- стр. 67 Заменено: эти люди предавались крайнему аскетизму,
на: эти люди предавались крайнему аскетизму,
- стр. 60 Добавлена точка после: Plon-Nourrit Paris, 1913. Pp. 362-3, перевод автора
- стр. 63 Заменено: пошли против еретиков, не предпринимая никаких действий
на: пошел против еретиков, не предпринимая никаких действий
- рг 63 Заменено: Другой великий хронический политический спор,
на: Другой великий хронический политический спор,
- стр. 83 Заменено: были "еретиками" на смертном одре
на: были "еретиками" на смертном одре
- стр. 95 Заменено: летописец Петр де Во-Кернай Раймонд
на: летописец Питер де Во-Кернай Раймонд
- стр. 117 Заменено: рассказ о помощи, оказанной некими приближенными
на: рассказ о помощи, оказанной некими приближенными
- стр. 120 Заменено: Средиземноморский конец Пиренеев
на: Средиземноморский конец Пиренеев
- стр. 129 Изменено: Памье, Фуа и верхний Арьеж.
на: Памье, Фуа и верхний Арьеж.
- стр. 144 Изменено: Де Монфорд послал рыцаря
на: Де Монфор послал рыцаря
- стр. 150 Изменено: Гаронна течет на северо-восток
на: Гаронна течет на северо-восток
- стр. 153 Заменено: Тулузцы были вне зоны легкого выстрела из лука
на: Тулузены были вне зоны легкой стрельбы из лука
- стр. 156 Заменено: Вильгельм д'Энконтр и Вильгельм де Баррас
на: Вильгельм д'Энконтр и Вильгельм де Баррас
- стр. 158 Заменено: его рыцарский энтузиазм, обменивая
на: его рыцарский энтузиазм при обмене
- стр. 164 Изменено: Куркон уговаривал выйти на поле боя
на: Куркон убедил выйти на поле боя
- стр. 167 Замена запятой на точку после: "французов", что казалось разумным
сделать его беззащитным
- стр. 171 Заменено: клясться в почтении к своему повелителю
на: поклясться в почтении своему повелителю
- стр. 173 Изменено: После этого обмена любезностями в Нарбонне де Монфорд
на: После этого обмена комплиментами в Нарбонне, де Монфор
- стр. 176 Удалено повторяющееся слово из: Ги и его люди закончили тем, что
- стр. 185 Заменено: Людовик сразу же приступил к работе
на: Людовик незамедлительно приступил к работе

- pg 185 Убрано дополнительное время из: службу у некоторых дворян, не стремившихся к экспедиции.
- стр. 192 Изменено: северофранцузы, пришедшие осаждать
на: северофранцузы, пришедшие захватить
- стр. 215 Заменено: спуститься к нам относительно вальденсов, арнальдистов
на: спуститесь к нам относительно вальденсов, арнольдистов
- стр. 254 Добавлена точка после: Riverside Press: Кембридж, 1913
- стр. 256 Добавлена точка после: John Lane and Co
- pg 257 Заменено: "Averroes et l'Averroisme", Ernest Renan. Calmann Levy
на: "Averroes et l'Averroisme," Ernest Renan. Кальманн Леви